

Ницше 1856–1868

# Юный Ницше

1856–1868



Автобиографические материалы  
Избранные письма  
Из ранних работ



ЮНЫЙ

Юный Ницше

1856–1868



Автобиографические материалы

Избранные письма

Из ранних работ

*К 170-летию со дня рождения Фридриха Ницше*

*Перевод с немецкого, составление,  
вступительная статья и примечания  
В.М. Бакусева*

Москва

Культурная революция

2014

ББК 87.3

Н 70

*Составление, перевод, комментарии и предисловие*

В.М. Бакусев

**Ницше, Фридрих.**

Н 70 Юный Ницше: Автобиографические материалы. Избранные письма. Из ранних работ. 1856–1868 / Сост., пер. с нем. В.М. Бакусева. – М.: Культурная революция, 2014. – 304 с.  
ISBN 978-5-902764-43-4

В книгу вошли автобиографические материалы, избранные письма и ранние работы периода 1856–1868 гг. немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900). Почти все эти тексты публикуются на русском языке впервые.

Для широкого круга читателей.

*Издано при поддержке Д. Фьюче и сайта [www.nietzsche.ru](http://www.nietzsche.ru)*

*На фотографии (ок. 1864 г.), использованной в оформлении переплета, – Ф. Ницше вместе со школьным товарищем во дворе гимназии Пфорта.*

© В. Бакусев, составление, перевод, предисловие, 2014

© И. Бернштейн, оформление, 2014

© Культурная революция, 2014

# содержание

Юный Ницше

*Как начинают становиться собой*

*(В. Бакусов) ...5*

## Автобиографические материалы 1856–1868 ...16

Из моей жизни ...21

I. Годы юности 1844–1858 ...22

О музыке ...44

Взгляд назад ...49

Моя жизнь ...50

1859 ...52

Юбилей Шиллера в Пфорте ...89

1860 ...91

Моя каникулярная поездка ...93

1861 ...104

Мой жизненный путь [I] ...105

Мой жизненный путь [II] ...107

Мой жизненный путь [III] ...109

Письмо к другу, в котором я рекомендую ему для чтения  
моего любимого поэта ...113

1862 ...117

Хроника «Германии» ...118

Моя литературная деятельность,  
а также музыкальная. 1862 ...121

На каникулы ...127

1863 ...129
Моя жизнь ...130
Моя музыкальная деятельность в году 1863-м ...134
1864 ...136
О настроениях ...137
Моя жизнь ...141
Новогоднее сновидение ...144
Концерты и театры зимой 1864/65 в Бонне ...146
1866 ...148
1867 ...154
Ретроспектива двух моих лейпцигских лет ...158
1868 ...181

## Избранные письма ...188

## Из ранних работ ...258

Фатум и история ...259
[О сущности музыки I, II, III] ...265
Свобода воли и фатум ...269
О Шопенгауэре ...272

## Примечания ...281

# Юный Ницше

## *Как начинают становиться собой*

Такой Ницше, какого читатель застанет в этой книге, до сих пор оставался за горизонтом собраний своих сочинений и иных публикаций на русском языке, всегда начинавших осваивать его самое раннее с 1869 года (и то лишь в последнее время, а обычно – с 1871 г., года «Рождения трагедии»). Нет такого Ницше и в знаменитом классическом *Kritische Studienausgabe* Дж. Колли и М. Монтинари. Он нашелся только в старом издании Карла Шлехты (Friedrich Nietzsche. Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlehta. München, 1954), а кое-что – и в еще более старом (Friedrich Nietzsches Werke. Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Bände 1–5. C. H. Beck'sche Verlag-sbuchhandlung. München, 1934–1940), но нынче, конечно, благодаря новым информационным возможностям широко и удобно доступен любому из тех, кто читает по-немецки или хотя бы по-английски.

И что же это за Ницше? Обложка книги, которую держит в руках читатель, отвечает – это *юный Ницше, 1856–1868*. А именно: то, что в эти годы он писал о себе (автобиографические заметки, дневники и т.д.), что писал другим, тоже во многом о себе (избранные письма\*) и что записывал как результаты собственного мышления (избранные ранние работы). Если первое представлено здесь в полном объеме, то второе являет лишь малую часть писем Ницше этого периода – на мой взгляд, наиболее интересных в отношении внутренней биографии их автора, да и подробностей внешней (жаль, что запланирован-

---

\* Некоторые из этих писем уже публиковались в переводе (с купюрами) И. А. Эбаноидзе в издании: *Письма Фридриха Ницше*. Составление и перевод Игоря Эбаноидзе. М., Культурная революция, 2007. Корпус писем этого периода, опубликованных в названном издании, больше, чем в данной книге, но и в сумме те и другие не исчерпывают всего эпистолярного наследия юного Ницше.

ный объем книги не дал возможности добавить еще письма). Третье тоже не охватывает всех работ, написанных Ницше для себя (не говоря уже о вовсе отсутствующих здесь его официальных учебно-научных работах, только упоминаемых в тексте им самим). Также и они кажутся мне наиболее характерными (в смысле «характера») из сохранившихся работ этого времени. Итак, судя по всему, эту книгу возьмет в руки читатель, вовсе незнакомый не только с ее содержанием, но – еще совсем недавно – даже с тем фактом, что оно существует.

Но прежде всего: что значит «юный Ницше»? Это далеко не так очевидно, как может казаться. Отделять ли «юность» от Ницше, беря за критерий юность вообще? Или в приложении к Ницше у этого понятия есть свой, особенный смысл? Неотъемлемый от этого конкретного человека, и только от него? Если человек в двенадцать лет садится писать дневник – это более или менее нормально; такое часто бывало главным образом во времена культуры, в образованной среде: дети просто подражали взрослым. Правда, *этот* мальчик собирается «передать памяти все то, что волнует душу и радостью, и печалью, дабы и спустя годы вспоминать о жизни и делах этого времени, и особенно о моих собственных», и чувствуется, что сказанное незаемно и уже потому звучит необычно. Но если в четырнадцать лет подросток пишет уже *автобиографию* – сочинение под названием «Из моей жизни», ставит после заглавия римскую единицу (а, значит, на уме у него есть и следующие цифры), к ней приписывает «Годы юности» и даже датирует эту юность уже прожитыми годами (а дальше –?); если начинает с рефлексии и саморефлексии, нацеленной на «постепенное развитие разума и души», а затем приступает к форменной автобиографии, больше ориентированной на самописание и самосознание, чем на «факты», – то это уже, конечно, крайне необычно.

Это, безусловно, *тоже* юность, но какая-то *не такая*. Конечно, она – в любом случае юность; чем же еще может быть жизнь 12-ти, 14-ти, 16-тилетнего человека? Ведь юность, как известно, – это (в числе всего прочего: незрелости ума, неопытности, душевной и умственной неуклюжести и т.п.) по преимуществу свежие, наивные иллюзии, особенно в модусе надежд, и очаро-

ванность ими. Их, по всей видимости, бывших очень похожими на общепринятые, нетрудно найти у Ницше – и в том возрасте, которым он представлен в этой книге, и даже в более позднем. Известно и то, что такое взросление: это освобождение от иллюзий. Обычно оно происходит само собой – большинство иллюзий просто тускнеет и отваливается под напором нужд «практической» жизни и все большей «социализации индивида», а уж если какие и останутся, то лишь в виде давних привычек. Но есть и необычный способ избавления от них – их ощущение или осознание в качестве иллюзий, уже не пленительных, а пленяющих, держащих в плену и рабстве, и слепые или зрячие попытки *освободиться* от них. Длиться это освобождение может долго, очень долго, а часто так и не доходит до конца.

Ницше определил для себя, что предел юности – двадцатичетырехлетний возраст, причем сделал это, «только переступив названный возрастной рубеж». То, что я выразил здесь, пользуясь оборотом «как известно», т.е. очень стандартно, он сам выразил очень нестандартно, неожиданно, *с другой стороны*: «...важнейшее в жизни человека происходит к двадцати четырем годам, пусть даже то самое, что делает его жизнь достойной жизни, раскроется только потом. Ведь примерно до этого возраста из всех событий и переживаний, полученных в жизни и мышлении, молодой человек выхватывает только типическое – и потом уже никогда больше ему не выбраться из мира этих типов. А когда позднее этот идеализирующий взгляд гаснет, мы оказываемся во власти того мира типов, который переходит к нам по наследству как завещание нашей юности». (Под *типами*, в греческом смысле слова, здесь имеются в виду отпечатки, штампы, стереотипы.)

А что же это такое, «важнейшее в жизни человека», которое «происходит к двадцати четырем годам»? Ах, ну да, конеч-

---

\* Мы, люди обычные, распределили бы годы не так, а, скорее всего, примерно так: подросток, 12–15 лет; юноша, 16–20 лет; молодой человек, 20–24 года. Кстати, как удачно, что критерий окончания юности, заданный самим Ницше и потому безропотно принятый мною, не позволил «пропасть» ни одному году из написанного им! Все существующие «ПСС» немедля подхватывают то, на чем я здесь остановился – 1868, и несутся дальше: 1869–1888.



но, – к этому моменту (а на самом деле и раньше) «в общих чертах складывается характер» человека, и человек более или менее «находит свое место в жизни» (в этой фразе в кавычках – не цитаты из Ницше). Иными словами, входит в колею «типов», сойти с которой, как правило, уже никогда не захочет, не сможет или не посмеет. Это ли имел в виду Ницше? Нет, нет и нет: он уже знал, что то и другое *почти всегда* – дело случая, т.е. обстоятельств, среды, воспитания и пр., а колея, в которую при этом и поэтому попадает человек, – дело дальнейшей непреклонности «фатума», здесь – подслеповатого или, чаще, вовсе слепого.

Это «важнейшее» Ницше искал и находил только в себе – а «к двадцати четырем годам» нашел и осознал. Оно – то, что составляет *тайный нерв* его жизни и этой книги. К счастью, я могу назвать этот нерв хорошо известными словами самого Ницше, а именно подзаголовком его итоговой книги «Се человек»: «Как становятся самим собой». Назвать эту *врожденную тайну* я могу, а вот объяснить ее... куда сложнее. Дело не столько в том, что у юного Ницше не по годам развитый ум, уже не лишенный таких взрослых качеств, как интроспекция и самокритика, ум, очень склонный и способный к самопознанию, хотя еще, увы, далеко не свободный от обычных иллюзий, банальностей и избитых мест (которые мне как-то стыдно называть по имени), присущих, правда, не только юности, но и остальным возрастам, – а в том, *какого сорта* этот ум, а точнее, какого сорта душа, породившая его. Об этом можно сказать только очень коротко: его душа была сделана совсем из *другого теста*, чем почти все остальные человеческие души.

Почему, как это вышло? Влияние среды мы сразу же отвергнем – в ту пору в Германии было великое множество точно таких же, в смысле среды, образования и воспитания, пасторских сынков, но все они были – в сравнении с Ницше – из обычного человеческого «теста». Раннее сиротство? Оно сказалось, да, и сам сирота заметил это довольно рано. Но ведь и сирот среди пасторских сынков было, наверное, не так уж мало! Нет, этот путь не годится. Мало того, я вообще не вижу возможности ответить на вопрос: «Почему из *другого теста* оказывается слеплен вот именно этот человек, а не другие?». Такой вопрос всег-

да обречен наткаться на принципиальную тайну личности: ведь личность (в отличие от индивида) невозможно свести ни к чему общепризнанному, известному. Можно только попытаться установить неотъемлемые черты личности вообще. Поэтому остается только одно – задаться вопросом «Что это за другое тесто и чем оно отличается от обычного?».

Тут я сразу хочу сделать одну важную оговорку: речь идет не о простой индивидуальной, «экземплификационной» уникальности Ницше как человека-индивида – таковую можно довести до абсурда, вроде количества волос на его голове. Такого рода уникальностью обладает решительно каждый, но в отношении нашего вопроса она ровно ничего не значит. Речь идет о другой уникальности – уникальности человеческого *типа* (в пределах которого Ницше, конечно, в свою очередь, уникален как конкретная личность), о «мозге иного сорта» («Вот он.. вот его голова, содержащая мозг иного сорта, чем синтетический студень, расфасованный в окружающие его черепа». В. Набоков, «Бледный огонь»), о другом тесте. Неотъемлемые черты, или атрибуты, или, еще лучше, отличительные признаки этого *теста*, из которого в ходе самостановления возникают личности, можно познать и назвать. Это *аристократическая автономность, убежденное одиночество и творчество*. Есть и другие, но их рассмотрение, равно как и подробная характеристика индивида, завели бы нас слишком далеко, поэтому я ограничусь здесь лишь названными, главнейшими.

Процесс самостановления, ведущий к возникновению личности – в отличие от процесса индивидуации, порождающего обыкновенного индивида, – начинается, а точнее, может начаться там, где кончается индивидуация: в автономизации уже готового индивида. Индивидуация, правда, тоже невозможна без некоторого обособления индивида, который, чтобы быть им и действовать самостоятельно, должен получить свой «личный значок» (инструментальное сознание и ощущение «я», фор-

---

\* За неимением другого, лучшего, я использую этот термин в своем, особенном смысле – коротко говоря, как обозначение высшей (или просто более высокой) ступени человеческого существа, *очеловечения человека*.

мальное самосознание) и постоянно ощущать: «Я не тот, что остальные, хотя в принципе такой же, как они, и обязан быть таким же, как они (а они – такими же, как я)». Это отличие одного экземпляра от всех прочих, куска теста, отрезанного ножом *природы* от общей массы и получившего «идентификационную бирку» (черты лица, размер, имя, внешность, вкусы и предпочтения, характер одного из немногих типов), а в ходе своей «эксплуатации», т.е. жизни, наделяемого якобы неповторимыми царапинами, вмятинами и потертостями житейского опыта и различных обстоятельств, мнимую (а в каком-то «материальном» смысле, конечно, настоящую) неповторимость которых он сам и другие принимают за «своеобразие его личности». *Индивид по своей природе – существо коллективное*, в своих существенных чертах детерминированное биологически и социально, а, значит, бессознательное (его инструментальное «я-сознание» носит – в сравнении с личностью – потенциальный характер). Его индивидуальное «качество» – добротность или гниль отдельных экземпляров – с этой точки зрения второстепенны: они все сделаны из одного теста «социальных животных». Интеллектуальный уровень тоже вторичен: ср., например, феноменологию типа ученого у Ницше («Шопенгауэр как воспитатель», 6). О гениальности на уровне индивида будет сказано ниже.

Совсем другое дело – автономия личности. Здесь речь идет о *самобытии*. Сущность самобытия – постоянное и все большее высвобождение чего-то в человеке из коллективности; это «что-то» и есть пресловутое *иное тесто* – основа личности. Никто, возможно, не бывает сделан из *иного теста* сразу, от природы, хотя очевидно, что есть врожденная предрасположенность к переходу в другое качество (этот инстинкт, правда, дремлет в каждом человеке, который может пробудить его в себе или оставить спящим): самостановление личности – это трансмутация *обычного теста в иное*, коллективного, биосоциального начала души в личностное, а, стало быть, рост объема, глубины и силы сознания без разрыва его теперь уже осознанной связи с бессознательным как почвой. Такое сознание обращено прежде всего на себя, а уже затем и вовне, – ведь ему предстоит высвободиться из собственной коллективности, из внутренней и даже

врожденной, изначальной обусловленности всякого человеческого экземпляра коллективными установками, нормами, вкусами, чувствами, мнениями и т.д., иными словами, от собственного внутреннего плебейства – «социализированности».

Автономия личности выражается во все большем *иммунитете личности к «влияниям среды»* – социальной, национальной, семейной, групповой и даже индивидуальной, т.е. отдельных личностей с лидерскими качествами, в независимости и в конечном счете в свободе личности от любого рода обусловленности. (В отличие от личности, индивид легко и естественно поддается таким «гипнотическим» для него влияниям коллектива в целом и отдельных, более сильных индивидов в частности и полностью поглощается и поработается ими; в результате в нормальном случае он достигает «социальной адаптации».) Правда, когда речь идет о детстве и юности, этот иммунитет не так уж очевиден, что прямо-таки бросается в глаза при чтении наших текстов: но можно заметить, что «влияния» (о которых юный Ницше так много размышлял) в его случае все-таки всегда оставались на поверхности, не затрагивая ядро личности нашего героя, а когда он из честности пытался им поддаваться, тонуть в них, какая-то сила (а именно, сила самостановления) неизменно выталкивала его на поверхность (так было, например, с верой в Бога, с членством в студенческой корпорации). Недаром у Ницше они, эти влияния, всегда производят впечатление натужности и неестественности и рано или поздно разоблачают и исчерпывают себя.

Автономизация в ходе самостановления личности с необходимостью порождает у захваченного ею человека чувство, или, по-ницшевски, *пафос дистанции* – осознанное и вполне добровольное *одиночество*. Отличие личности от индивида в этом смысле – нечто само собой разумеющееся: одиночество для последнего смерти подобно, ведь индивид лишен самобытия и сам по себе, без коллектива в его внешнем и внутреннем качестве, не существует; ему позарез нужны опора, поддержка, одобрение и любовь других индивидов – без одобрения других, без *признания со стороны других* он «пропадет», т.е. катастрофически ощутит свою ничтожность. Поэтому он всегда – добровольная «жертва» внутренней, психической, а, значит, и внешней, со-

циальной коллективности. Психологическая зависимость индивида от коллектива нерушима, потому что желанна первым сверх всякой меры.

Личность же непременно *нуждается* в одиночестве; это ее естественная атмосфера, воздух, которым она дышит. Такое добровольное и убежденное, несгибаемое одиночество как стратегия жизни<sup>7</sup> вовсе не означает, что личность – это непременно человек необщительный, замкнутый, мрачный, а то и, чего доброго, «асоциальный» и вообще плохо адаптированный к «среде», и пример юного Ницше говорит о том, что это совсем не так (а пример зрелого и позднего Ницше только подтверждает это – ср., например, рассказ-характеристику теолога Юлиуса Ка́фтана, встречавшегося с ним в августе 1888-го). Одинокая и свободная личность вступает в общение другого рода и «теста», чем индивид: она не нуждается ни в самоутверждении, ни в подтверждении своего существования путем признания со стороны других, поскольку сама утверждает свое бытие; если уж она вступает в общение, то для обогащения и роста своего и другого самобытия. На уровне личности тоже есть коллективность, но – опять-таки из *другого теста*: свободы от биосоциальной обусловленности.

Конечно, на пути трансмутации индивида в личность встречаются свои девиации и патологии, часто ведущие к неудаче самостановления – например, сознание собственного превосходства над другими, а потому и собственной значительности, без соответствующих достижений (на уровне индивида этому часто соответствует потребность в самоутверждении – всегда за счет других и в глазах других). К таким девиациям склоняется, а точнее, совращает (к сожалению) некоторых людей есте-

---

<sup>7</sup> Тот, кто не обладает соответствующим опытом, рискует на основании вышесказанного спутать сущностные черты личности с *индивидуализмом* как мишенью для критики со стороны «сознательного» коллективизма. Я хочу предотвратить подобную путаницу, сказав, что этот индивидуализм (который в коллективистской идеологии непременно и не случайно характеризовался как «буржуазный») – разумеется, атрибут *индивида*, а не личности, и на уровне индивида представляет собой слабое и неверное, чаще всего девиантное предвосхищение *некоторых сторон* самостановления личности.

ственный для самостановящегося *аристократизм* – ощущение неравенства типов людей (а именно, типа индивида и типа личности, какие бы не слишком адекватные и даже обидные названия им ни давались: *герой и толпа, раб и господин* и т.д.). Личность, и наиболее интенсивно – именно начинающая личность, познает себя как самобытие, а подавляющее большинство других – индивидов – как бытие несамодостаточное и потому ущербное, низшее. Это познание служит для нее основанием сначала, а именно в юности, как можно сильнее дистанцироваться от ущербности индивида в жизни, а, главное, от коллективного начала в себе самом, а потом, в зрелости, посвятить себя попыткам помощи индивидам в переходе от низшего уровня на более высокий. Первое иногда сопровождается чувством презрения и пессимизмом (в таком случае то, что держит в руках читатель, как и ницшевский «Заратустра», будет «книгой ни для кого»), второе – своего рода любви (тогда эта книга – «для всех») или, может быть, глубокой озабоченности, реализуемой через *творчество* (в качестве примера этого второго см. «Вагнер в Байрейте» Ницше).

На подлинное же творчество способна только личность, ведь она свободна от жесткой заданности, обусловленности со стороны всего коллективного, и внутреннего, и внешнего. Индивид в силу той же заданности способен лишь на «техническое» творчество. С этим связан и вопрос о «гениальности», неизбежный со стороны читателя, раз речь идет о Ницше. Разумеется, Ницше – гений, т.е. открыватель глобально-нового. Но его гениальность – иной природы, сделана из *иного теста*, чем гениальность большинства из тех, кого принято считать гениями, а именно гениальных математиков, физиков и т.д., людей (по большей части индивидов), необычайно развивших в себе какую-то одну способность. В нем гениальность интеллекта неотделима от гениальности души – гениальность самобытия, возвысившегося до уровня бытия всеобщего.

Поэтому начало самостановления Ницше – это и начало его гениальности. А ее главный импульс – как раз в разбирательстве личности с коллективностью. Достигнув зрелости и не теряя этого импульса, гениальность Ницше выразилась в его грандиозном разбирательстве с человечеством как состо-

ящим из индивидов в попытках помочь ему избавиться от этой слабости. Эта книжка вместе с корпусом сочинений Ницше даст цельную картину его личности, покажет, как эта личность по мере своего самостановления сбросила *личину* приличного, благовоспитанного, христианского – одним словом, хорошо «социализированного» мальчика, чтобы обнаружить *изначально* заложенную в нем *подлинную сущность* «свободного ума» и «драконобойцы эпохи», а потом снова скрыть себя под другой личиной – всемирно-исторического бунтаря, провокатора и хулигана (якобы «Антихриста» и «циника»), жестокими истинами, обманом и оскорблениями стремившегося отогнать человечество от состояния болезни, низости и разложения в сторону высоты, здоровья и цветения.

Я не уверен в том, что многие поймут коротко, лишь в самых общих чертах описанное мной самостановление личности<sup>7</sup>, а оно, по-моему, выражает главное в текстах юного Ницше (мало того, я думаю, что без его понимания будет как минимум односторонним и понимание Ницше вообще). Скорее, понявших это будет очень немного – не столько из-за краткости изложения, сколько из-за редкости и неизвестности предмета (т.е. явлений и соответствующих понятий личности в отличие от индивида и ее, личности, самостановления). Зато, если уж такие найдутся, то получают неоценимое сокровище – единственный (или, может быть, наиболее явственный и сильный) такого рода пример того, *как начинают становиться собой*. Пример же того, как продолжают и до чего доводят этот процесс, общеизвестен – это все остальное творчество Ницше. А если кто-то ехидно усмехнется, имея в виду финальное безумие того, кто отождествил себя с «Дионисом, распятым», то, значит, он фатально промахнулся: на этом уровне и безумие – другого сорта, безумие добровольной жертвы.

Что же касается других, куда более многочисленных читателей, желающих получить в свои руки что-то не столь туманное, а, напротив, нечто вполне конкретное, позитивное, полез-

---

<sup>7</sup> Подробнее см. об этом в моей книге: *Лестница в бездну. Ницше и европейская психическая матрица*. М., Культурная революция, 2012.

ное, «интересное», то я могу обещать им, что они его получат в полной мере. Они получают изысканное лакомство – много разного Ницше: ребенка, играющего в солдатики и другие увлекательные игры, и молодого, очень серьезного ученого; спортсмена и сновидца; студента-корпоранта и чуть ли не бродячего артиста; нежного сына и брата и сурового к себе солдата; верного друга и одинокого мечтателя, поэта, музыканта; старательного гимназиста и завятого театрала; организатора науки и начинающего педагога; путешественника, талантливого наблюдателя жизни и книжного червя. Они узнают Ницше в унынии и веселье, в различных, серьезных и легкомысленных, житейских ситуациях, его отношение к самым разным людям, знаменитым и совсем неизвестным, увидят природу, дороги, города и деревни Средней Германии, некоторые события тогдашней общественной жизни его юными глазами. Смогут ли они, отталкиваясь от этой картины, получить представление не просто об «индивидуальном характере», а о личности того, кто дал эту картину?

*Вадим Бакусев*



автобиографические  
материалы  
1856–1868

*Наумбург, 26 декабря 1856*

Я наконец принял решение писать дневник, в котором можно предать памяти все то, что волнует душу и радостью, и печалью, дабы и спустя годы вспоминать о жизни и делах этого времени, и особенно о моих собственных. И пусть это решение останется непреклонным, даже встретив на своем пути немалые препятствия. А теперь приступаю.

Нынче у нас в разгаре рождественские радости. Мы их ждали, дождались, вкусили их, а теперь они вот-вот снова останутся у нас за спиной. Ведь уже второй день праздников. И все же один рождественский вечер как бы испускает лучезарное сияние какого-то отрадного чувства, в то время как навстречу ему мощными шагами своего предназначения уже поспешает второй. Но я хочу изобразить начало рождественских радостей вместе с началом моих каникул. Мы покинули школу; впереди были все каникулы, а с ними и прекраснейший из всех праздников. Уже какое-то время нам запрещено заходить в некоторые места. Все таинственно окутала пелена тумана, чтобы тем сильнее потом ее прорвали радостные солнечные лучи Христова праздника. Рождественские гуси закулены; все почти только о них и толкуют; я чуть не задрожал от радости, вспомнив об этом ликующей душой, и побежал в гости к моему приятелю Густаву Кругу<sup>1</sup>. Мы с ним дали волю своим чувствам, предвкушая, какие чудесные подарки готовит нам завтрашний день. Так этот день и прошел в ожидании вещей.

И вот он настал!

Я проснулся, когда в мою спальню уже проник свет дня. Мою душу переполняло множество чувств! Ведь это был тот

самый день, в конце которого когда-то в Вифлееме мир узнал величайшее благо; к тому же в этот день мама каждый год заваливает меня подарками. День тянулся со скоростью улитки; с почты должны были доставить пакеты, и нас со всей таинственностью изгнали из комнаты в сад. Ах, что там творилось в это время? Потом я пошел на урок музыки – я хожу на них раз в неделю по средам. Последний раз я играл *Sonata facile* Бетховена<sup>2</sup>, а сейчас должен играть вариации. Но вот уже начало смеркаться. Мама<sup>3</sup> сказала мне и моей сестре Элизабет<sup>4</sup>: «Почти все уже готово». То-то мы обрадовались! Тут пришла тетушка; мы приветствовали ее криками ликования, а лучше сказать – ревом, от которого затрясся весь дом. С тетушкой вместе пришла ее служанка, которая еще успела помочь в приготовлениях. Наконец перед самой раздачей подарков пришла жена пастора Харсайма со своим сыном. И тут, к нашему неопишуемому блаженству, мама открывает дверь! Нас обдает сиянием елочки, а под ней – целая куча подарков! Я не подскочил, а подлетел к ней – и, как это ни странно, оказался прямо на своем месте. Тут я увидел очень красивую книгу (хотя там их было две, и мне надо было выбирать), а именно, «Сказания древнего мира» с великим множеством нарядных картинок. Обнаружил я и один конёк: как же так, только один? Ну и смеялись бы все надо мной, если бы я попробовал пристегнуть один конёк сразу к двум ногам! Вот это было бы странное дело! Ну-ка, а что это там еще лежит рядышком так незаметно? «Неужто я такой маленький, такой незначительный, что ты на меня и не посмотришь?» – сказал вдруг какой-то толстый фолиант, содержащий двенадцать четырехручных симфоний Гайдна<sup>5</sup>. Меня пронзил ужас блаженства, словно молния – облако; вот уж и вправду исполнилось мое огромное желание, самое сильное! Рядышком я разглядел и второй конёк, а присмотревшись, вдруг увидел еще и пару панталон. Тогда я окинул взглядом стол со всеми моими подарками и стал спрашивать, кто что подарил. Кто подарил мне это великое множество ног? Но мне сказали только, что это был некто неизвестный, который знает меня лишь по имени. Потом мы принялись за чай и кексы, а когда гости разошлись и нас сразила усталость, улеглись спать.

Я условился с Вильгельмом Пиндером<sup>7</sup> прогуляться до Лейша, и мы собрались отправиться в путь в ближайшее воскресенье. (Им было 19-е июля.) – В семь утра мы вышли из Яковлевых ворот. Погода была для нас самой что ни на есть подходящей, потому что стало куда прохладнее, чем в предыдущие дни. Кроме того, пыльному шоссе мы предпочли проселочную дорогу, идущую вдоль так называемых гуситских шанцев. Потом мы шли мимо гипсового карьера, где сделали привал. Отсюда мы увидели Лейш, лежавший на возвышенности, и первая наша цель была достигнута. Мы вошли в лес; здесь все еще было таким свежим, и на всех ветках сверкала роса, пели птицы, а перезвон колоколов, звавших в церкви, чудесно звучал в ушах, то слабее, то сильнее. Не менее прекрасным был и вид оттуда, ведь Лейш находится уже довольно высоко над Наумбургом. Вокруг нас по всему горизонту протянулась сплошная цепь холмов, заключая в своей середине Наумбург, верхушки башен которого сияли на солнце. Отсюда мы тронулись дальше, чтобы попасть в долину Ветау, а потом двинуться домой через частные сады. Вскоре мы заметили темную полосу холмов – она постепенно росла, пока, наконец, мы не увидели перед собой долину Ветау. Окружающие ее холмы покрыты лесом, а за ними поднимается еще одна голубая цепь холмов. Мы спустились в долину, к пруду.

### ШЁНБУРГ

Эта крепость, выстроенная Людвигом Прыгуном<sup>8</sup>, лежит на берегу Заале и недалеко от Гозека. Когда проходишь через деревню того же названия, она показывается во всем своем величии и силе. Высоко вздымающаяся башня с ее закругленной верхушкой, бастионы, круто вздымающиеся со скал, живо напоминают средневековые, и, наверное, никакая другая местность не подходит для разбойничьего замка так хорошо, как эта; потому что один его бок омывает Заале, другой защищен отвесными склонами. Мы поднялись к крепости по дороге, еще

окруженной по сторонам остатками стен, и вошли во двор, одна половина которого нынче превращена в сад. Еще там есть очень глубокий источник, над которым построена будка. Этот сад отделен от замкового двора стеной и соединен с ним воротами в ней. Если выглянуть в оконные проемы, увидишь перед собой чудеснейшую местность: перед нами расстилается широкий луг, и Заале тянется через него, подобно серебряному ободу, через холмы, окруженные виноградниками. На заднем плане лежит Наумбург, окутанный серой пеленой, в стороне от него – Гозек, место, очень важное при закладке крепости. – Тут находится еще древнее крепостное подземелье, над которым обитатели крепости разбили маленькие сады. – Потом нам захотелось еще подняться на башню замка. Пройдя сквозь очень тесный вход, по которому можно судить о толщине стен, попадаешь в темное помещение башни. Четыре лестницы<sup>9</sup> с очень широкими перекладинами ведут к такому же количеству лестничных площадок, и на первой из них еще сохранился древний камин. Добравшись до верха, оказываешься перед панорамой, растянувшейся, к изумлению, вплоть до Вайсенфельса. Здесь мы имели возвышенное удовольствие смотреть на солнечный закат. Солнце садилось медленно; его последние лучи позлатили башни Наумбурга и Гозека. Все вокруг утихло. От реки поднялись серые полосы тумана, голоса птиц смолкли, селянин вернулся в свою родную хижину и ищет отдыха после дневных трудов, ибо солнце попрощалось с миром, уступив свое место ночи. Мы тоже покинули прекрасный замок, попрощались с его зубцами и уступили место луне, пролившей свое сияние на замок.

# ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

# I. Годы юности

## 1844–1858

Человек, став взрослым, обыкновенно вспоминает лишь самые заметные моменты из своего раннего детства. Я, правда, еще не взрослый, я только что вышел из детства и возраста мальчиков, но сколь многое уже исчезло из моей памяти, а та малость, что я знаю о своем детстве, сохранилась, вероятно, лишь благодаря семейной традиции. Вереница лет пролетает мимо моего взора, подобно смутному сновидению. Поэтому я не в состоянии связывать события первых десяти лет моей жизни с датами. Но все же кое-что моя душа видит ясно и живо, и именно это, вместе с темным и смутным, я хочу соединить в одну картину. Ведь это всегда поучительно – наблюдать постепенное развитие разума и души, а в нем – всемогущее водительство Бога! –

Я родился в Рёккене близ Лютцена 15 октября 1844 года и в крещении получил имя Фридрих Вильгельм. Мой отец<sup>10</sup> был проповедником в этой деревне, а заодно в соседних деревнях Михлиц и Ботфельд. Законченный портрет сельского священника! Наделенный умом и чувством, украшенный всеми добродетелями христианина, он вел тихую, простую, но счастливую жизнь и был уважаем и любим всеми, кто его знал. Его приятные манеры и веселый нрав вносили прекрасное в множество собраний, куда он бывал приглашен, и всюду привлекали к нему сердца сразу, как только он появлялся. Часы досуга он заполнял изящными науками и музыкой. Он добился значительного умения в фортепианной игре, особенно в вольных вариациях...

Деревня Рёккен находится в получасе езды от Лютцена, прямо у проселочной дороги. Нет, наверное, ни одного путешественника, держащего мимо нее свой путь, который не бросил бы на нее приятный взгляд. Ведь как она прелестна с

окружающими ее зарослями и прудами! Прежде всего в глаза бросается поросшая мохом башня ее кирхи. Я, кажется, еще могу припомнить, как однажды шел с милым моим отцом из Лютцена в Рёккен и как на поддороге колокола принялись возвышающими душу звуками возвещать начало праздника Пасхи. Эти звуки часто раздаются во мне снова, и тогда печаль уносит меня к далекому и милому отчому дому. Как живо стоит еще перед моими глазами тамошний погост! Как часто, увидев старую-престарую покойницкую, я задавал вопросы о гробах и черных вуалях, о старых могильных надписях и надгробиях! Но если душа моя не даст пропасть ни одному образу, то меньше всего я забуду, конечно, уютный пасторский дом. Ибо его очертания врезаны в мою душу мощным резцом. Жилой дом был выстроен лишь в 1820-м году и потому сохранил очень приятный вид. Несколько ступенек вели к первому этажу. Я храню в памяти рабочий кабинет в верхнем этаже. Ряды книг, среди которых было несколько альбомов, все эти свитки делали кабинет одним из моих излюбленных мест. За домом располагались фруктовый сад и газоны. По весне они обычно частью уходили под воду, которая тогда заливала и погреб. Перед домом расстилался двор с сараем и конюшней, а за ним цветник. Почти все время я проводил в беседках и на скамейках. За зеленым забором лежали четыре пруда, окруженные зарослями ив. Для меня величайшим удовольствием было ходить среди этих вод и смотреть, как на зеркальной глади играют солнечные лучи и быстрые рыбки. Я обязан упомянуть еще кое о чем, что всегда переполняло меня тайным благоговением. В мрачной ризнице церкви с одного края стояло сверхчеловеческое изваяние св. Георга, искусно вырезанное кем-то из камня. Величественный вид, страшное оружие и таинственный полумрак всегда заставляли меня смотреть на него с робостью. Некогда, как гласит легенда, его глаза засверкали ужасным огнем, и все посмотревшие на него были охвачены ужасом. — Направо от погоста в уютной тиши располагаются крестьянские дома и сады. Мир и согласие царили в каждой хижине, а диким страстям там не было места. Вообще жители редко покидали деревню, разве что в ярмарочные дни, когда веселые толпы парней и женщин двигались в оживленный Лютцен и



дивились на людскую толчею и сверкающие товары. А вообще-то Лютцен – городишко маленький и простой, глядя на который, не скажешь, что он имеет всемирно-историческое значение. Дважды здесь разыгрались чудовищные битвы, и почва тут пропиталась кровью почти всех европейских народов<sup>11</sup>. Здесь воздвигнуты памятники воинской чести, красноречиво возвещающие славу павших героев. – В часе езды от Рёккена лежит Позерна, знаменитая тем, что тут родился Зойме<sup>12</sup>, этот истинно патриотически настроенный человек и поэт. Его дом, увы, не сохранился. С 1813 года он представлял собой руины, и только в наше время какой-то новый владелец выстроил на этом месте большой красивый дом. – Расположенная в трех четвертях часа пути деревня Зёссен интересна недавно раскопанным курганом. – В то время как мы в Рёккене жили тихо и мирно, почти все нации Европы испытывали сильные волнения. Повсюду уже задолго до того накапливалось горячее; достаточно было только искры, чтобы разгорелся всеобщий пожар. – И вот издалека, со стороны Франции, раздались первые звуки оружия и боевая песнь. Чудовищная февральская революция с ужасающей скоростью валом покатилась из Парижа. Лозунг «свобода, равенство, братство» зазвучал во всех странах, люди презренные и уважаемые схватились за оружие – за и против короля. Парижская революционная битва находит себе подражание в большинстве прусских городов. И все-таки еще долго народным чаянием оставалась «немецкая республика», хотя оно и было быстро подавлено. До Рёккена эти возмущения не доходили; но я еще могу вспомнить, как по проселочной дороге катились телеги с ликующими шайками и развевающимися флагами. В это роковое время у меня появился братец, в крещении названный Карлом Людвигом Йозефом, – прелестный ребенок. До той поры нам всегда светило счастье и радость, наша жизнь мирно текла, ничем не омраченная, как светлый летний день; но теперь сгустились черные тучи, за сверкали молнии, и над нашей головой раздались губительные раскаты «небес». В сентябре 1848 года мой милый отец внезапно стал душевнобольным. Но все мы, и он вместе с нами, надеялись на скорое выздоровление. Всякий раз, когда ему становилось лучше, он просил снова допустить его к проповеди

и к занятиям с конфирмующимися. Ибо его деятельный дух не мог пребывать в праздности. Многие врачи старались распознать суть болезни, но тщетно. Тогда мы пригласили в Рёккен знаменитого врача Опольцера, который тогда был в Лейпциге. Этот превосходный человек сразу понял, где гнездится болезнь. К нашему всеобщему ужасу он определил ее как размягчение мозга, еще не безнадежное, но очень угрожающее. Моему милочному отцу приходилось терпеть чудовищные боли, но болезнь отступать не хотела, а усиливалась день ото дня. Под конец он даже ослеп, и оставшиеся на его долю страдания ему пришлось претерпеть в вечном мраке. Его болезнь продолжалась до июля 1849 года; в это время подошел день избавления. 26 июля он погрузился в глубокое забытие и приходил в себя лишь иногда. Его последними словами были: «Френцхен – Френцхен – по-дойди – мама – слышишь – слышишь – О Господи» – Затем он тихо и блаженно скончался. †††† 27 июля 1849 года. Проснувшись утром, я услышал вокруг себя громкие рыдания и всхлипывания. Милая мама в слезах вошла в комнату и воскликнула, причитая: «О Боже! Мой добрый Людвиг умер!» Я был, правда, еще очень мал и неопытен, но уже имел какое-то представление о смерти; мысль о том, что я больше никогда не увижу любимого отца, пронзила меня, и я горько заплакал.

Последовавшие затем дни прошли в слезах и подготовке к погребению. Боже мой! Я стал сиротой, а милая моя мама – вдовой! – – – 2 августа бранные останки моего дорогого отца были преданы земле. Община приняла решение обнести могилу камнем. В час пополудни при звоне всех колоколов началась торжественная церемония. Ах, этот глухой звон никогда не перестанет звучать в моих ушах, и никогда мне не позабыть печально льющуюся мелодию песни «Иисус – вера моя»! Под сводами церкви раздались звуки органа. Объявилось великое множество родных и близких, здесь были почти все пасторы и учителя округа. Господин пастор Виммер произнес речь с амвона, господин суперинтендент Вильке – у гроба, а господин пастор Освальт – благословение. Потом гроб спустили в могилу, глухо отзвучали слова священника, и дорогой отец был навсегда отнят у всех нас, безмерно скорбящих. Земля утратила одну верующую душу, небо обрело душу созерцающую. –

Когда древо лишается своей верхушки, листья вянут и опадают, а птицы улетают из его ветвей. Наша семья лишилась своего главы, радость ушла из наших душ, и глубокая скорбь поселилась в нас. Но едва немного зажили наши раны, как нас поразило новое горе. – В то время приснилось мне как-то раз, будто я слышу, как в церкви играет орган, словно при погребении. Когда я увидел, в чем тут дело, крышка одного гроба поднялась, и оттуда вышел мой отец в саване. Он быстро вошел в церковь и вскоре вернулся с маленьким ребенком в руках. Гроб открылся, отец спустился в него, и крышка снова опустилась. Тут же смолк гул органа, и я проснулся. – Следующей ночью маленькому Йозефу внезапно стало плохо, у него начались судороги и он умер спустя несколько часов. Чудовищна была наша боль. Мой сон сбылся точь-в-точь. Даже маленькое тело было вложено в руки отца. – В этом двойном горе нашим единственным упованием и единственной опорой был Господь Бог. Случилось это в конце января 1850 года. – – –

Подходил момент нашего расставания с милым сердцу Рёккенем. Я еще помню последний день и последнюю ночь нашей жизни там. Вечером я еще играл с несколькими детьми, понимая, что это в последний раз. Звук вечернего благовеста печально пронесся над полями, бледный мрак растекся над землею, в небесах засияли луна и искрящиеся звезды. Долго спать я не мог; еще ночью, в половине первого, я снова вышел на двор. Там стояло несколько нагруженных телег, слабый свет фонаря еле освещал закоулки двора. Мне казалось просто невероятным, что домом может стать какое-то другое место. Расстаться с деревней, где на твою долю выпали радость и горе, где остаются дорогие могилы отца и маленького брата, где все жители всегда проявляли к тебе любовь и дружеские чувства, – как же это было тяжело! Едва день осветил поля, повозка выкатилась на проселочную дорогу и повезла нас к Наумбургу, где нас ждала новая родина. – Прощай же навек, милый отчий дом!

– Бабушка с тетей Розалией и служанкой ехали впереди, а мы печально, даже очень печально следовали за ними. В Наумбурге нас ждали дядя Дексель, тетя Рикхен и Лина. Квартира, которую нам подыскали, располагалась на Нойгассе и принад-

лежала железнодорожному экспедитору Отто. Нам, так долго жившим в деревне, жизнь в городе казалась ужасной. Поэтому мы избегали мрачных улиц и искали простора, подобно птице, вылетевшей из клетки. Ибо не чем другим <как клеткой> казались нам тогда горожане. Впервые увидев городской сад, я с детской радостью закричал: «Вот это да! Одни рождественские елочки!» Вообще в первое время все казалось мне новым и незнакомым. Величайшее изумление вызывали у меня огромные церкви и здания, ярмарочная площадь с ратушей и фонтаном, необычно большие скопления людей. Потом, как я заметил, меня изумляло, что люди часто не были друг с другом знакомы; ведь в тихой деревне все друг друга знали. Но что мне было неприятнее всего, так это длинные замощенные улицы. Дорога к моим теткам, казалось мне, занимает чуть ли не час времени. — Впрочем, я очень быстро приспособился к городской жизни, в доме я перезнакомился со всеми в первые же пять минут. Наверху, в маленькой мансарде, жил каретный мастер со своей женой, порядочные пожилые люди. К ним наверх и был мой первый поход в гости, и старинная утварь, картины и сама комната произвели на меня глубокое впечатление. Позже меня как ученика представили директору начальной школы. Сперва я, наверное, выглядел растерянным среди множества детей, но поскольку папа и господин школьный учитель уже немного занимались со мной, быстро стал делать успехи. Но уже тогда начал проявляться мой характер. В начале жизни я увидел столько горя и печали, что не был таким веселым и буйным, какими обычно бывают дети. Одноклассники привыкли дразнить меня из-за моей серьезности. Однако это происходило не только в начальной школе, но и потом, в основной школе и даже в гимназии. С самого детства я искал уединения и лучше всего чувствовал себя там, где без помех мог оставаться наедине с собой. А бывало это обыкновенно в вольном храме природы, и здесь я находил себе истинную отраду. Потому и гроза всегда казалась мне прекрасной; раскаты грома и яркие сполохи молний только усиливали во мне страх Божий. — Вскоре я познакомился и с теми, которые потом стали моими друзьями, — Вильгельмом Пиндером и Густавом Кругом. Но настоящая дружба между нами возникла, лишь когда

я пошел в основную школу кандидата Вебера<sup>13</sup>. Вообще, настоящая дружба завязывается только благодаря одинаковым радостям и печалям; ибо там, где события жизни одного соприкасаются с событиями жизни другого, устанавливается связь и между душами, а чем теснее связь внешняя, тем крепче и внутренняя. —

Господин кандидат Вебер, учитель добросовестный и христиански настроенный, о нашей дружбе знал, но разлучить нас никогда не пытался. Здесь был заложен краеугольный камень всего нашего будущего образования. Ибо наряду с отличными уроками закона Божия мы получили и первые познания в латыни и греческом. Мы не были перегружены домашними заданиями и потому могли уделять время заботе о своем телесном развитии. Летом мы часто ходили на прогулки по окрестностям. Мы, например, посетили прелестно расположенные Шёнбург, замок Гозек, Фрейбург, затем также Рудельсбург и Залек, и обыкновенно в сопровождении всего класса. Такие совместные прогулки всегда несут в себе что-то уводящее печаль; звучат патриотические песни, все играют в веселые игры, а если путь идет через лес, то украшают себя листьями и ветками. Замки оглашались буйным шумом пирующих — на ум мне приходили пиры древних рыцарей. Во дворах и на крепостных стенах мы устраивали рыцарские поединки, и получались слабые подражания величественной эпохе средневековья. Потом мы поднимались на высокие башни и сторожевые вышки, смотрели на позлащенную закатным сиянием долину и, когда туманы опускались на луга, с громкими кликами возвращались в родные места. Каждую весну мы отмечали праздник, который для нас играл роль праздника вишен<sup>14</sup>. А именно, мы отправлялись в Росбах, деревушку поблизости от Наумбурга, где две птицы ждали наших арбалетов. Там мы истово стреляли, господин кандидат Вебер раздавал призы, и кругом царили радость и ликование. В соседнем лесу мы играли в разбойников и жандармов, причем очень натуралистично, колотя друг друга на совесть, пока господин кандидат не призывал нас к возвращению домой. — В это время всеобщее внимание с боязливыми опасениями было направлено на осложнения в отношениях между Турцией и Россией. Русские быстро заняли

турецкие дунайские княжества, Молдавию и Валахию и, угрожая, противостояли Порте<sup>15</sup>. Турки, вероятно, были совершенно необходимы для сохранения европейского равновесия; поэтому за них вступились Австрия, Пруссия и западные державы. Но все посреднические старания четырех великих держав не возымели желаемого действия на императора Николая. Война русских и турок продолжалась, пока, наконец, Англия и Франция не вооружили армию и флот, послав их Порте на подмогу. Театр военных действий переместился в Крым, и огромное войско осадило Севастополь, где стояла великая русская армия под командованием Меншикова. – Для нас это было настоящим подарком: мы сразу приняли сторону русских и яростно вызывали на бой всякого друга турок. У нас были оловянные солдаты и ящики с кубиками, и мы не прекращали разыгрывать эту осаду и сражения. Из земли мы делали оборонительные валы, и каждый находил все новые способы хорошенько их укрепить. Каждый делал себе маленькие книжечки, которые мы называли «боевыми реестрами», заказывали свинцовые пули и приумножали свои войска новыми закупками. Нередко выкапывали мы себе и бассейны согласно плану Севастопольской бухты, точно воспроизводили укрепления, а выкопанные ямки заполняли водой. Мы заготавливали целую кучу пуль из смолы, серы и селитры, потом поджигали их и метали в бумажные кораблики. Скоро зажигались яркие огни, умножавшие наше рвение, и поистине это было прекрасно, когда сквозь тьму, поскольку наши игры часто затягивались до вечера, свистали пули. Под конец обыкновенно в огне исчезали и флот, и все бомбы, причем пламя нередко достигало в высоту двух футов. Для меня то были счастливые дни, которые я проводил не только с друзьями, но и дома с сестрой. С нею мы тоже строили из кубиков укрепления, и большой опыт в этом деле научил меня всем хитростям их возведения. Конечно, мы занимались все, что только могли найти в военных науках, так что я приобрел немало познаний в этой области. Наши собрания пополнялись как лексиконами, так и совсем новыми военными книгами, мы уже было собрались написать вместе какой-нибудь большой военный словарь, уже строили широчайшие планы на этот счет, как – но я не хочу забегать вперед; мне следует

рассказать еще о многом, что было в те времена. Как-то раз, когда я гостил в Поблесе<sup>16</sup> у бабушки с дедушкой, от директора сиротского дома в Галле пришло предложение принять меня в число тамошних сирот. Дедушка из Поблеса и бабушка из Наумбурга это одобряли безусловно, но мама моя все-таки не смогла на это решиться и написала об этом господину директору. Но кое-что я тут получил – а именно, печать галленского сиротского дома для моей коллекции печатей. Такая коллекция была почти у любого школьника моих лет, и все приумножали ее, как только могли. В это же время я начал писать стихи. В таких первых стихах обыкновенно изображают картины природы. Ведь каждое юное сердце волнуют величественные образы, и каждое их этих слов страстно стремится стать стихами! Первым материалом для них были ввергающие в трепет морские приключения, грозы с молниями. У меня не было никаких образцов, я и представить себе не мог, как подражают какому-нибудь поэту, и творил стихи так, как подсказывала мне душа. Конечно, тогда получались и очень слабые строки, и почти в каждом стихотворении бывали стилистические шероховатости, но все-таки этот первый период был мне куда как милее второго, о котором я скажу позже. Вообще у меня всегда была мысль написать маленькую книгу и читать ее про себя. Это маленькое тщеславное желание я все еще сохраняю; но тогда оно оставалось лишь намерением, и редко я делал какой-нибудь почин. Поскольку я не слишком хорошо владел рифмой и стихосложением, а вперед подвигался медленно, я писал стихи без рифм, и многие из этих стихов у меня сохранились. В одном я хотел изобразить бренность счастья – там у меня некий странник спит на руинах Карфагена. И бог сновидений разыгрывает в его душе картины былого счастья этого города. Затем следовали перипетии судьбы и наконец он пробуждался. У меня имеется еще много стихотворений той поры, но ни в одном из них нет и искры поэзии. Благодаря ежегодным выставкам картин мы получили и введение в живопись. Так в юности люди обыкновенно любят подражать всему, что им нравится. Этот дух подражания особенно силен у детей; они с большей легкостью способны представить себе все что угодно, но <представляют себе> только то, к чему у них есть особенная тяга. Конечно,

тот юноша, который презирает какого-то поэта или писателя, навряд ли станет подражать их манере и слогу. И разве не будет эта черта еще более явной у детей, ведь их суждения еще неточны, а разум незрел? – Но я пока что только назвал своих друзей по имени, не более того. А сейчас хочу рассказать о них подробнее, ведь их радости и горести так тесно сплетены наперед с моими. – Одного из них звали Густав Круг, или, по полному имени, Клеменс Феликс Густав Круг, а родился он 16 ноября. Он был сыном апелляционного советника Круга из Наумбурга, великого знатока музыки и виртуоза. Он даже написал множество превосходных музыкальных сочинений, среди которых есть несколько конкурсных сонат и квартетов. Его высокая, внушительная фигура, его серьезное, одухотворенное лицо, его общепризнанные способности – все это производило на меня глубокое впечатление. У него было изумительное фортепиано, настолько меня восхищавшее, что часто я останавливался перед его домом, вслушиваясь в возвышающие душу мелодии Бетховена. Он был хорошо знаком с Мендельсоном-Бартольди, а также с братьями Мюллер, теми знаменитыми виртуозами-скрипачами, послушать которых и мне однажды выпало счастье. В этом доме нередко собирался избранный круг любителей музыки, и почти всякий виртуоз, желавший выступить в Наумбурге, старался получить рекомендации от господина советника Круга. Вот в какой семье был воспитан Густав.

Разумеется, он с самого детства приобщался к дарам музыки. Например, он очень быстро обучился игре на скрипке, ибо не щадил усилий, чтобы достичь здесь сноровки. Впоследствии музыка сделалась для него настолько необходимой, что, по-моему, если бы ее у него отняли, его лишили бы половины души. – Как часто мы вместе разглядывали ноты, высказывали друг другу свои мнения, репетировали то и это, играли друг для друга! Но и помимо этого, например, в играх с фортификациями, мы были лучшими друзьями; он был яростным защитником русских и проявлял самый живой интерес к ходу осады Севастополя. С этой целью мы раздобыли себе книги и карты и взаимно приумножали наши сведения. В наших играх с фортификациями он стойко держал оборону, и хоть немного



потеснить его удавалось редко. Он был во всем наделен большим упорством; если уж он затевал что-нибудь, что ему нравилось, то не успокаивался, пока не добивался своего. Проявлялось это главным образом в переписывании нот и в аранжировке. Между тем это упрямство иногда заходило слишком далеко; так и получалось, что он не хотел расставаться с однажды усвоенным мнением, и убеждать его в том, что он не прав, было напрасно. И еще – он казался чуть ли не чрезмерно гордым, поскольку никогда не занимался вещами обыкновенными. Но все-таки я очень его любил, и он всегда отвечал мне той же дружбой. Мы почти всегда сидели за одной партией – красноречивое свидетельство тому, что в познаниях мы были наравне... – Второго моего друга зовут Эдуард Вильгельм Пиндер, он родился 6 июля 1844-го. Его отец занимал должность советника королевского апелляционного суда в Наумбурге и был одухотворенной личностью. Его изысканные манеры делали его желанным во всяком обществе, но весьма уважали его и за христианское благочестие. Богословы, съезжавшиеся в Наумбург по случаю какого-нибудь праздника, собирались для бесед обыкновенно у него. Был он и председателем миссионерских и благотворительных обществ – и своей деятельной любовью добивался большего, чем многие проповедники. Равным образом он неустанно пекся об украшении Наумбурга, снискав себе на этом поприще всеобщую известность и почет. В семейной жизни он всегда был примерным хозяином, но также с образцовой ответственностью исполнял свой служебный долг. А потом, на досуге, он старался знакомиться сам и знакомил всю семью с наиболее значительными явлениями в области литературы и искусства, и его верный подход, выражавшийся в глубокомысленных замечаниях, позволял предстать их красотам в правильном освещении. – Но поскольку Вильгельм по природе всегда отличался очень слабым здоровьем, его родители постоянно со страхом о нем заботились, и, разумеется, с ним нужно было проявлять большую предусмотрительность. Однако, несмотря на все телесные немощи, тем бодрее шагал вперед его дух. Мы почти всегда работали вместе, и потому наши мысли и идеи были очень схожи. Мы всегда вместе гуляли и ходили в походы и друг без друга жить не могли. По-

сколько Вильгельм был более нежным, чем Густав, более того, – его антиподом, мне оказалось очень полезным общение с обоими. Суждения он всегда выносил с осторожностью; но, сделав это, спокойно шел выбранным путем и не успокаивался, пока не добивался поставленной цели. В школе его прилежание всегда было образцовым, и учителя всегда его уважали. А если порой казалось, будто к некоторым предметам он не проявляет особенного интереса, то в заблуждение тут вводило только одно – что он не демонстрировал своего интереса вовне так уж ревностно и бурно. Но внутри все было, наверное, еще глубже, чем у Густава. Его деликатное поведение по отношению ко мне и ко всем, с кем он соприкасался, делало его близким каждому и, по сути, ни в ком он не вызывал ненависти. Позднее, когда возрос наш интерес к поэзии, мы сделались совершенно необходимы друг другу, и тогда уж в наших беседах никогда не бывало недостатка в темах. Мы обменивались мнениями о поэтах и писателях, о прочитанных произведениях, о новых явлениях в области литературы, строили совместные планы, давали друг другу задания выучивать стихи наизусть и не успокаивались, пока не открывали друг другу душу вполне. – Вот какие у меня были друзья, и дружба наша постоянно росла вместе с годами. Безусловно, есть что-то возвышенное, благородное в том, чтобы иметь настоящих друзей, и Бог, дав нам наперсников, идущих с нами вместе к одной цели, значительно украсил этим нашу жизнь. А особенно я должен восхвалять Господа Бога за то, что без них я, наверное, никогда не почувствовал бы себя в Наумбурге своим. А так, приобретя себе здесь настоящих друзей, я ощутил, что мне дорога жизнь и тут и что для меня было бы большим огорчением, если бы мне пришлось покинуть это место. Ибо мы трое были поистине неразлучны, кроме как во время каникул, когда я обыкновенно уезжал с мамой и сестрой. Тогда мы обычно останавливались в Поблесе; но однажды мы по желанию дорогих тетушек из Флауэна провели несколько недель там. Пребывание там всегда бывало очень приятным, потому что в числе тамошних наших родственников есть богатые фабриканты. Да и вообще Плауэн – весьма приятный город, он состоит почти исключительно из новопостроенных домов и выглядит внушительно,

потому что они сплошь крыты шифером. Ибо когда великий пожар обратил в пепел три четверти города, всюду тотчас начали строить заново, и Плауэн восстал из пепла еще краше, чем был. Вспоминается мне еще и пребывание в Нирмсдорфе, где пастором был мой дорогой покойный ныне дядюшка. Я, кажется, так и вижу, как луна вечером льет свои лучи на мою кровать, а за окном в серебристом сиянии лежит золотой луг<sup>17</sup>; так и слышу, как тетя Аугуста произнесла:

«Луна взошла, и блещут звезды золотые» и т.д.

Ах, это время мне никогда не забыть!

Теперь я скажу и о втором периоде моего стихотворчества, а потом мы поглядим на кое-что в Наумбурге. Если мои первые опыты в поэзии были беспомощны и неуклюжи по форме и содержанию, то теперь я попытался говорить на языке более нарядном и лучезарном. Но нарядность обернулась украшательством, а переливчатый язык – бессодержательными фигурами речи. И при всем при том не было самого главного – мыслей. Поэтому, конечно, даже первый период стоит неизмеримо выше, чем второй, но отсюда видно, что человека, пока он еще не обрел твердую почву под ногами, бросает из крайности в крайность, и он находит себе покой лишь на золотом среднем пути. –

Ну вот, я написал достаточно, теперь давайте немного осмотрим город. – Сначала войдем в него через прелестные Яковлевы ворота. Если мы теперь спустимся по красивой, широкой улице с ее старинными домами, то окажемся на рыночной площади. И вот прямо перед тобой стоит ратуша! Как же она велика! Как широка! Четыре ее фасада образуют как бы четыре улицы, а темные очертания ее башенки вырисовываются в воздухе. На этот темно-серый цвет, на эти старинные эркеры я всегда мог смотреть только с почтением. А теперь обрати свой взгляд направо – там, посерединке, стоит зеленый дом! Это жилище Пиндеров! Здесь живет семья советника Круга, здесь живет госпожа бабушка Пиндер, достопочтенная владелица дома. В нем, говорят, в свое время квартировал Фридрих Великий, а также и Наполеон, и от того времени тут остался большой орел. (Прав-

да, это световая вывеска! Не надо думать, будто это птица! Ибо Наполеон и так был подобен бумажному орлу. Когда убрали стоящие за ним светильники, он сделался жалкой бумагой и был задвинут в угол. —) Слева от ратуши ты увидишь высокую, почтенную городскую церковь. А перед нею — глянц-ка: что это за убогое строение! Эх, снести бы его — разве оно не портит весь вид на храм Божий? — За церковью стоит королевский окружной суд, двумя высокими фронтонами выходящий на площадь. Пройдем мимо церкви; в другой раз у нас будет больше времени пристальнее осмотреть ее. Пройдемся по Пристергассе! Прямо в начале этой улицы стоит городская школа для мальчиков. Нынче она пребывает поистине в цветущем состоянии, которому обязана, конечно, прежде всего своему директору, превосходному доктору Ноймюллеру. К ней вплотную примыкает резиденция суперинтендента. Но поскольку почтенный господин суперинтендент уже год как был приглашен перейти отсюда в Айсleben и приглашению последовал, то его место не занято, и мы с нетерпением ждем нового главу духовного управления, господина суперинтендента Хаммера. К этому зданию примыкают остальные квартиры духовных — они идут до самого промежутка между домами, после которого начинаются владения нашего хозяина. Через большую подворотню мы попадаем во двор с многочисленными постройками внутри и наконец подходим к жилому дому, своим фасадом образующему угол Нойгассе. Пройдем по этой улице дальше вниз и сразу же увидим высокий, красивый дом бургомистра Раша. В конце улицы расположено внушительное жилище председателя<sup>18</sup>, которое сейчас занимает господин пастор Кох. Справа от него стоит прелестный дом, в который я заходил так часто и из которого возвращался, всякий раз еще немного обогащенный познаниями. Это и есть основная школа Вебера. Этот замечательный человек служит пастором в находящейся поблизости церкви св. Отмара, но, несмотря на это, сохраняет за собой и школу, которая, однако, теперь перемещена как раз в здание его ведомства. — Но пойдем дальше! Перед этими домами вплоть до Соляных ворот тянутся газоны и группы деревьев. Карательные помещения по обеим сторонам украшены простыми дорическими колоннами и выглядят внушительно. Несколько

дальше вверх по улице виднеются два тоже очень приятных на вид дома. Оба выстроены лишь совсем недавно. Они образуют начало Соляной улицы. Оставим их стоять, где они стоят, и продолжим свой прежний путь – тут мы попадаем на Липовую улицу, середина которой представляет собой аллею, засаженную липами. В своем центре она постепенно возвышается и дальше образует перекресток улиц Штайнвег и Херренгассе. О последней из них с ее темными старинными зданиями я еще расскажу, потому что здесь квартира советника Пиндера. Здесь же расположен и книжный магазин Домриха. Я расскажу еще о части ратуши, выходящей на эту улицу, так как в ней часто давались концерты и балы. – Ну, теперь мы увидели достаточно, а об остальном – в другой раз.

В праздник Вознесения я ходил в городскую церковь и слушал там возвышенный хор из «Мессии» – «Аллилуйя». Мне так и хотелось начать подпевать, мне казалось, будто это ликующая песнь ангелов, под звук которой Иисус Христос ведет верующих к небесам. У меня тотчас возникла непреклонная решимость и самому сочинить нечто похожее. Я приступил к делу, как только вернулся из церкви, и как ребенок радовался каждому аккорду, раздававшемуся под моими руками. А поскольку я не прекращал заниматься в течение нескольких лет, то многому тут научился, несколько овладев игрой с листа посредством заучивания мелодий. В этом же и причина того, почему мне не жаль множества исписанных листов нотной бумаги. Благодаря этому же мною овладела неистребимая ненависть ко всей современной музыке и ко всему, что не было классическим. Моцарт и Гайдн, Шуберт и Мендельсон, Бетховен и Бах – вот столпы, на которых только и зиждутся немецкая музыка и я. Тогда я услышал и множество ораторий. Глубоко проникновенный «Реквием» был первой из них; как пробрали меня до глубины души слова «*Dies irae, dies illa*»<sup>19</sup>! А этот поистине небесный «Бенедиктус»<sup>20</sup>!! – Репетиции я посещал очень часто. Поскольку реквием обыкновенно исполнялся в день поминовения усопших, происходило это в туманные осенние вечера. Потом я сидел в священном полумраке соборной церкви и вслушивался в величественные мелодии. Здесь я обязан упомянуть о великолепном музык-директоре

Веттиге, музыканте отличнейшем в качестве и дирижера, и композитора. Он неизменно держал в образцовом порядке свою маленькую капеллу, он прекрасно обучил хоры певческого общества, да и помимо этого слыл лучшим учителем в Наумбурге. Немалую лепту в улучшение музыкальных исполнений внесла и его супруга, в прошлом оперная певица. Кроме него, у нас в Наумбурге было еще два дирижера – Отто Клаудиус, некогда дирижер мужского хорового общества, хороший композитор, но при этом в высшей степени тщеславный и надутый человек, и Фукель, руководивший городским хором. – Помимо этого, я слушал еще «Иуду Маккавея» Генделя, но главным образом «Сотворение <мира>» Гайдна. Кроме того, я был еще на исполнении изящного, тонкого «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Что за чудная увертюра! Мне казалось, будто воздушные хороводы эльфов танцуют в осиянной луною серебристой ночи. Но буду рассказывать дальше, потому что теперь наступила важная для меня эпоха. – Я стал гимназистом!! – Мы были представлены господину директору Фёрчу, любезному, добродушному человеку, подверглись небольшому экзамену и были определены в квинту<sup>21</sup>. Помню, с какой робостью я впервые пересек маленькие ворота, через которые вошел в здание школы. Меж тем все представлялось нам в куда более ужасном виде, и падение этой иллюзии дало желанный результат. Классным руководителем квинты был господин доктор Опиц, из-за своих характерных черт прозывавшийся также «доктором Ое!», «Косоглазом» и «Поэтом». Отсюда такой стих:

*Opitz terribili sonitu! will er wohl! dixit!*<sup>22</sup>

Но помимо этого, он всегда стремился умножить наши познания, у него и у самого были отличные познания, однако совсем не было дара объяснять школьнику непонятное. Но что меня особенно мучило, так это поистине жалкие уроки закона Божия, продолжавшиеся, правда, только до терции. Однако должен еще заметить: едва я сделался квинтианцем, как появилось уже что-то вроде квинтианской спеси. Характерно, что, стоило нам немного продвинуться и достичь более высокой ступени, как нам захотелось увидеть в своем характере что-то

солидное. Заметнее всего это проявляется у терцианцев. Они думают, будто уже приняты в число высших классов, и многие находят свою привилегию в том, что разгуливают с сигарой и тростью, дабы отличиться от себе подобных. Я до сих пор не могу представить себе, что истинное наслаждение в этом может видеть кто-нибудь, кроме мальчишки; то и другое для меня – не более чем пустое тщеславие. – До той поры наша жизнь в Наумбурге текла, ничем не замутненная, словно чистый ручей. Но вдруг его струи снова померкли, вся природа затрепетала от грозы, вздулись от ливня и с шумом понеслись темные потоки. – Моя дорогая тетушка Аугуста уже в Рёккене всегда была очень больна, но в Наумбурге ее хворь усилилась в ужасающей степени. Множество врачей так и не смогло найти причину болезни, но все были уверены в том, что изменения затронули легкие. Множество лекарств ничуть не помогло, и дорогая тетушка неудержимо угасала. Но вот пришли самые жаркие дни лета, и дяде Эдмунду из Поблеса было угодно взять меня с собой к бабушке и дедушке. Я попрощался со всеми, в том числе и с дорогой тетушкой Аугустой. Хорошо помню, как она плакала, и я вместе с нею. Я видел ее тогда в последний раз. † Однажды в Поблес прибыл письмоносец с письмом. Я ждал известий с некоторым страхом. Услышав начало письма, я бросился вон и горько зарыдал. – Когда два дня спустя я прибыл в Наумбург, ее уже похоронили. † Врачи, которые ее вскрывали, заявили, что конец ее жизни положила черная болезнь<sup>23</sup>. Говорят, одно легкое было поражено полностью. – Удивительно, что тетушка умерла как раз тогда, когда меня там не было, и сестра моя тоже отсутствовала, а через восемь месяцев умерла бабушка. Эта милая, достопочтенная матрона, уже похоронившая нескольких своих детей, сильно переживала последнюю смерть. Она часто восклицала с глубокой скорбью: «Аугуста, моя Аугуста!» – Немного времени спустя и она последовала за ней. – Когда схоронили господина советника Хунгера, которому было восемьдесят два года, она с печалью произнесла: «Скоро, скоро мы свидимся!» Через восемь месяцев после смерти тетушки Аугусты, как-то раз утром, ей тоже внезапно стало плохо. Мало-помалу она погружалась в тихий сон, но мы все не слишком надеялись, что ее дорогая нам жизнь продлится.

Мама тотчас послала за Лизой, которая была тогда в Поблесе. Приехав вечером, та уже не застала нашу дорогую бабушку в живых. Она тихо отошла в мир иной в два часа пополудни. Только Господь Бог ведаёт, как сильно я тогда плакал. – Поскольку в Наумбурге все высоко чтит и любил её, гроб её был весь изукрашен венками и крестами. – Примечательная черта человеческого сердца состоит в том, что, пережив большую утрату, мы не стараемся позабыть о ней, а как раз так часто, как только можем, являем её своей душе. И нам кажется, будто, часто рассказывая себе об этом, мы черпаем изрядную долю утешения своему горю. – Я ещё не сказал, что как раз в это время меня перевели в квартиру. Здесь нашим классным был господин доктор Зильбер, человек, которого я особенно сильно любил как учителя. Его остроумная, свободная речь, его всюду проявляющаяся информированность, которую он вполне основательно приобрёл во всех областях человеческого знания, очень выгодно отличали его от Опица. Был у него и талант, напрочь отсутствовавший у того, – приковывать внимание учеников. Он и дал нам первые уроки греческого, которые, само собой разумеется, оказались для нас очень трудными. Стихи также давались мне тяжёлым трудом, хотя я занимался ими с большой охотой. Вообще первое время нам приходилось очень много работать, и я вспоминаю, что часто работал до одиннадцати, до двенадцати часов (дело было зимой), а вставать надо было уже в пять утра. В это время я жил уже на новой квартире. После смерти бабушки мы почли более разумным разделить, и тетя Розалия переехала в одну квартиру, а мы в другую. Её мы нашли в доме у жены пастора Харсайма, работающей и очень исполнительной учительницы в городской школе для девочек. К прелестному жилому дому вплотную примыкает просторный сад с множеством лиственных и фруктовых деревьев. Когда мы туда въехали, были каникулы, совпадавшие с самыми жаркими днями лета<sup>24</sup>. В первый раз в новой квартире было испытано и новое фортепиано, поскольку его купили лишь за два дня до этого, а старое взяла себе тетя Розалия. Сразу за воротами сада высится церковь Марии Магдалины, в которой пастором служит господин Рихтер. Не так давно она была заново отделана и украшена очень красивыми фресками.



Вид из наших окон открывается очень приятный. Густая, тенистая аллея, дальше – виноградники Шпехцарта<sup>25</sup>, а направо – старинные ворота и башня Марии. Главным образом осенью, когда порывы ветра срывают с деревьев листву, нам отлично видны огни и разнообразные фейерверки и слышны радостные крики, хлопанье и стрельба виноделов. А летом, по утрам, мы наслаждаемся чудесной полковой музыкой. Тут я вспомнил еще кое-что из впечатлений, полученных на старой квартире. Еще Наумбург почтил своим визитом наш дорогой король<sup>26</sup>. Для этого были сделаны большие приготовления. Вся учащаяся молодежь украсилась черными и белыми бантами и с нетерпением ждала прибытия Отца отечества. Мы тоже выстроились на рыночной площади в половине одиннадцатого утра. Постепенно все мы оказались залиты дождем, небо омрачилось, а король не соизволил прибыть. Часы пробили двенадцать, король не прибыл; многих детей охватил голод. Снова пошел дождь, и все улицы превратились в грязь. Пробыло час пополудни, нетерпение достигло предела. Наконец в два часа внезапно зазвонили колокола, небо сквозь слезы улыбнулось сверху вниз, на радостно волнующуюся толпу. Тут мы услышали грохот карет, и город сотрясло громогласное «ура». Мы с ликованием замахали шапками и завопили во все горло. (Все население Наумбурга, согласно роду занятий, расположилось со знаменами и в праздничном платье вдоль улиц от Яковлевых ворот до Херренштрассе.) Веселый ветерок колыхал бесчисленные флаги, свисавшие с крыш, звонили все колокола, огромная человеческая масса кричала и бушевала, буквально подталкивая кареты к собору. В нишах его здания было расставлено большое количество девушек в белых платьях и с цветочными венками на головах. Здесь король вышел из кареты, похвалил приготовления и удалился в подготовленное для него жилое помещение. Вечером весь город был иллюминирован. Улицы были переполнены огромным количеством людей. Пирамиды из венков у ратуши и перед собором были сверху донизу усеяны площадками. Дома были изукрашены множеством вывесок с вензелями. На соборной площади был устроен фейерверк, и темный собор время от времени призрачно озарялся им. На следующее утро прошли маневры у Ветау. Я не упустил случая

побывать там. Я впервые видел нечто подобное и тогда сильно этим интересовался, поэтому мне очень понравились быстрые повороты, атаки и отступления. Еще я должен упомянуть, что король осмотрел наш прекрасный собор<sup>27</sup>, а позже прислал для него два новых витража, которые, впрочем, сильно уступают древним. – И еще кое-что: однажды ко мне пришел Густав и с возбужденным выражением лица сообщил, что Севастополь пал. Когда все сомнения в этом развеялись, вся наша ярость во внезапном порыве гнева обрушилась на русских – «за то, что они не обороняли Малахов курган лучше»<sup>28</sup>. Короче говоря, мы были крайне раздосадованы. – Мы очень скоро пообвыкли на новой квартире. Правда, в каникулы мы всегда старались куда-нибудь съездить. Обыкновенно в Поблес: милый, серьезный, но в то же время светлый дедушка, столь дружелюбные бабушка, дядя и тетя, вообще истинно немецкая задушевность, царившая в этом доме, все вновь притягивали нас к себе, заставляя нас крепко полюбить эти места. Больше всего мне нравилось бывать в дедушкином рабочем кабинете, а рыться в старых книгах и тетрадях было для меня величайшим наслаждением. Поездки в Шёнефельд под Лейпцигом тоже были мне в некоторых отношениях очень приятными. А в особенности – потому что я каждый день ходил в Лейпциг, разыскивая там магазины книг и нот, а также осматривая достопримечательности, например, Ауэрбаховский погребок, и делал все это с большой охотой. Вообще было чудесно бродить вот так без всякой цели, не зная улиц, куда глаза глядят. А потом прекрасный парк, гостеприимный сад, баня – разве все это не прекрасно? Были мы один раз и в Дойчентале – деревушке близ Галле. Чуть ли не каждый день ездили мы купаться на Соленое озеро близ Айслебена. Какое это было наслаждение – отдаваться теплой летней воде! Я понял это лучше, когда потом научился плавать. Предать себя на волю волн, без усилий скользить по мягким струям – разве можно выдумать что-нибудь более чудесное? К тому же я считаю плавание не только приятным, но и весьма полезным в опасности, а также весьма укрепляющим и освежающим для тела. Надобно постоянно рекомендовать его юношам. Зимой его место занимает катание на коньках. Скользить окрыленными стопами по ледяной гла-

ди – в этом есть прямо-таки что-то неземное. А если при этом еще льет свои серебряные лучи луна, то такие вечера на льду подобны сказочным ночам. Кругом беззвучная тишина, прерываемая лишь треском льда и звонкими криками конькобежцев – есть в этом что-то величественное, чего мы напрасно ищем летними ночами. И все-таки Рождество остается самым блаженным праздником в году. Я уже давно с поистине безмерной радостью ждал его, но в последние дни я едва сдерживал нетерпенье. Уходила минута за минутой, но никогда во весь год дни не казались мне такими долгими. Было поразительно, что однажды, будучи прямо-таки пронзен тоской <по Рождеству>, я тотчас написал себе рождественскую открытку и благодаря этому буквально переместился в то мгновение, когда открылись двери и навстречу нам засияла ярко освещенная елочка. В маленькой записке я написал об этом: «Елочка, верхушка которой украшена ангелом, – как прекрасно она стоит перед нами, намекая на родословное древо Христа, вершиной коего был сам Господь. Как светло сияет множество свечей, символически представляя просветление людей, произведенное Рождеством Господа! Как соблазнительно смеются нам в лицо краснощекие яблоки, напоминая об изгнании из Рая! А вот, при корне древа, – Иисус-младенец в яслях, окруженный Иосифом, Марией и поклоняющимися пастухами! И какой полный глубокого доверия взгляд бросают они на младенца! И нам тоже надо целиком и полностью положиться на Господа!»

— — — День рождения, если и не столь великолепен, то все-таки похож. Но почему <в другие праздники> мы не переполнены радостью так, как во время Рождества? Во-первых, в них совсем нет того высокого смысла, который поднимает его над всеми остальными праздниками. А, во-вторых, оно касается не только нас одних, но всего человечества вообще, бедных и богатых, малых и великих, низких и высоких. И как раз эта всеобщая радость усиливает наше собственное настроение. Ведь об этом можно поговорить со всеми, ведь все люди словно разделяют совместное упование. И потом, надо еще учесть, что он, можно сказать, составляет высшую точку года, и не забыть, что в ночные часы, как и вообще по вечерам, душа бывает более впечатлительной, и, наконец, – не забыть о той совершенно бес-

подобной торжественности, с которой справляется этот праздник. День рождения – праздник больше семейный, Рождество же – праздник всего христианского человечества. Но все-таки я очень люблю свой день рождения. Поскольку он совпадает с днем рождения нашего дорого короля, по утрам меня уже будит военная музыка. После окончания церемонии раздачи подарков мы держим путь в церковь<sup>29</sup>. Даже если проповедь не в моем вкусе, я все же извлекаю из нее самое ценное и применяю его к себе. Потом мы собираемся на большой школьный праздник. После скучной, как всегда, речи кого-нибудь из учителей собственные сочинения читают и некоторые школьники, в награду получая несколько книг. В завершение звучит еще какая-нибудь задушевная, патриотическая песня, после чего директор *concilium dimissit*<sup>\*</sup>. А уж тогда для меня начиналось время веселья. Ко мне приходили друзья, и мы отрадно проводили послеобеденные часы. – Прежде чем рассмотреть третий период моего стихотворчества, хочу сперва еще добавить свои мысли о музыке (в изречениях).

---

<sup>\*</sup> Распускает собрание (*лат.*).

## О музыке

Бог дал нам музыку, чтобы, *во-первых*, вести нас через нее выше. Музыка соединяет в себе все качества – она умеет создавать возвышенное настроение, она умеет развлекать, она умеет нас развеселить, своими нежными, печальными звуками она в состоянии даже смягчить самый грубый нрав. Но главное ее предназначение состоит в том, что она направляет наши мысли к высокому, что она возвышает, даже потрясает нас. Это – цель главным образом музыки церковной. Между тем приходится сожалеть о том, что этот жанр музыки все больше отдалается от своей главной задачи. Сюда относятся и хоралы. Но нынче попадаются хоралы, поразительно отличающиеся своей монотонной мелодикой от силы и выразительности старых хоралов. А кроме того, она просветляет и душу, изгоняя мрачные мысли. Кто не почувствует тихой, ясной умиротворенности духа, слушая простые мелодии Гайдна! Искусство музыки часто обращается к душе в звуках более проникновенно, чем поэзия в словах, и затрагивает в нас самые потайные уголки души. Однако все, что ни дарует нам Бог, может обернуться для нас благом, лишь если мы станем пользоваться им правильно и мудро. Так пение возвышает наш дух, ведя его к благу и истине. Но если музыку используют лишь для развлечения или для того, чтобы показать себя, то она становится греховной и губительной. Тем не менее именно это встречается так часто, мало того, почти вся современная музыка несет на себе эту печать. Другое поистине печальное явление – старание многих нынешних композиторов писать темно. Но как раз подобные неестественные места, возможно, восхитительные для знатоков, оставляют холодным здравый человеческий слух. Как можно более выпукло показать подобные необычные места – этому придает значение главным образом так называемая музыка будущего какого-нибудь Листа или Берлиоза. – А

еще музыка дает приятное времяпрепровождение и хранит от скуки всякого, кому это нужно. Всех, кто ее презирает, следует считать серыми, звероподобными тварями. Да будет этот великолепнейший дар Божий моим спутником на всем моем жизненном пути, и я могу считать себя счастливым за то, что полюбил ее. Пропоем же вечную благодарность Господу, дарующему нам это прекрасное наслаждение! – –

В третий период моего стихотворчества я попытался объединить первый и второй, т.е. соединить очарование с выразительностью. Насколько мне это удалось, я не могу еще определить и сам. Этот период начался 2 февраля 1858 года. Ведь это день рождения моей дорогой матушки. Я всегда преподносил ей в этот день маленькое собрание стихотворений. А отныне я вознамерился приобрести больше опыта в поэзии и, если будет получаться, писать каждый вечер по стихотворению. Я делал так на протяжении примерно двух недель, и всякий раз мне доставляло большую радость снова видеть перед собою новый продукт творчества. А однажды я попробовал писать как можно более просто, но вскорости оставил это занятие. Ведь если хочешь написать совершенное стихотворение, то оно, конечно, должно выйти как можно более простым, но в каждом его слове должна быть истинная поэзия. Бессодержательное стихотворение, набитое пустыми фразами и образами, подобно краснощекому, но червивому яблоку. В поэтическом тексте совсем не должно быть общих мест, ибо частое употребление избитых фраз свидетельствует об уме, не способном на собственное творчество. Вообще, при написании произведения следует принимать во внимание преимущественно мысли; стилистические небрежности более простительны, нежели путанные идеи. Образцом тут могут послужить стихи Гёте с их лучезарно-ясными и глубокими мыслями. – Юность, у которой еще нет собственных мыслей, старается спрятать свою идейную пустоту за блестящим, затейливым стилем. Не уподобляется ли тут поэзия современной музыке? Отсюда тоже может скоро вырасти какая-нибудь «поэзия будущего». Поэты станут выражаться самыми странными образами; путанные мысли будут подтверждать темными, но звучащими возвышенно доказательствами; одним словом,

будут писать произведения в стиле «Фауста» (второй его части), разве что без мыслей, присущих этому творению. Dixi'!!

Теперь я хочу привести список моих стихов.

1855–56

1. I-я Песнь ко дню рождения «Я приношу тебе»<sup>30</sup>
2. Шторм. «Гнетущая»
3. Элегия. «Молча в сумерках вечерних»
4. Набег. «В десять вечера»
5. Спасение. «Тихо склонилась»
6. Детские годы Кира. «Астиаг, который»
7. Кораблекрушение. «Плывет суденышко»
8. Гроза. «Внезапный ливень»
9. II. «Превратность судьбы»
10. Мессенские войны. «Тучи черные»
11. Андромеда. «Кто еще не»
12. Кекропс. «На большом далеком»
13. Вечерняя песнь
14. Поход аргонавтов

1857

15. III-я Песнь ко дню рождения. «Дай нам Господь»
16. Альфонсо в 5-ти песнях. «На <стенах?> замка»
17. Дриопа. «О погляди на голубое озеро»
18. Хорал. «Иисус, твои жестокие страдания»

Дополнение к I и II

19. Леонид и Телакей. «Я сообщить спешу»
20. Рингграф. «Рингграф, владелец»
21. В ночи. «На море»
22. Боги Олимпа. «На богов поглядите»
23. Севастополь. «На южной стороне»

---

<sup>30</sup> Я высказался (*лат.*), т.е. «таково мое мнение».

24. На день рождения. «С радостью великой»
25. Зима, в 5-ти песнях. «Идет»
26. Гроза. «В душном воздухе»
27. В Пфорту. «Близ Наумбурга в»
28. Куда? «Вы, птички в небесах»
29. Буря на море. «Глухо близится гроза»
30. Жаворонок. «Когда вершушки гор»
31. К туману. «Образ странный»
32. Хочу быть там. «Там, откуда»
33. Праздник Пасхи. «Я лежал на мягком»
34. Жалоба соловья. «Сквозь сумрак»
35. Утром. «Златая пурпура кайма»<sup>31</sup>
36. Охота. «Из замка скачет»
37. Fata morgana. «Когда я в одиночестве»
38. Шёнбург. «Стоит на крутых»
39. На льду. «Эльфы в сияньи лунном»
40. Прощание Гектора. «О Гектор, слышишь»
41. Два жаворонка. «Двух жаворонков слышал я»
42. Праматерь. «И вот – мне не дает пройти»
43. Медея. «Уж море переплыл Ясон»
44. Конрадин. «Пред вратами Неаполя»
45. Барбаросса. «Старый Барбаросса дремлет»
46. Летом. «Когда приходит лето»

– Это еще не все. Я записал сюда только избранные, но есть еще много более старых, о которых я еще хорошо помню, но больше ими не владею<sup>32</sup>. А еще я вместе с Вильгельмом написал две маленьких пьесы. Одна из них называется «Боги Олимпа». Мы ее как-то раз поставили, и хотя она не совсем удалась, все-таки доставила нам большое удовольствие. Большую роль тут сыграли серебряные и золотые панцири, щиты и шлемы, а также роскошные, раздобытые отовсюду костюмы богинь<sup>33</sup>. Другая пьеса называлась «Оркадаль»<sup>34</sup> – трагедия или, скорее, история с рыцарями и привидениями, вся скроенная из банкетов, поединков, убийств, призраков и чудесных знаменений. Мы уже все для нее подготовили, я сочинил бешеную



четырёхручную увертюру, но мало-помалу весь план рассыпался. То же случилось и со следующей пьесой, «Завоевание Трои», которая была доведена до второго акта и состояла из перебранок между богами. Я разработал множество таких планов, даже одного романа, «Смерть и гибель», когда в последнем семестре кварты перестал ходить в школу из-за головных болей. Тогда я каждый день поздним утром ходил по Шпехцарту и придумывал множество всяких вещей, которые, однако, редко доводил до осуществленья. Мой друг Вильгельм Пиндер незадолго до того тоже серьезно заболел, и по этой причине его отвезли на морской курорт Херингсдорф. Так что в это время я оказался совсем один, потому что у Густава из-за школы было слишком мало времени, чтобы ходить ко мне. Потом я снова пошел в школу, вместе с Вильгельмом, который в ту пору уже вернулся домой, и, сравнительно хорошо выдержав экзамен, был переведен в терцию. И вот я дошел до конца второго отрезка моей жизни; позволю себе бросить назад еще несколько взглядов на тринадцать протекших лет. В новой книге<sup>35</sup> я начну описывать и мою жизнь в терции. — —

## Взгляд назад

Я пережил уже так много всего. Радостного и печального, веселого и омрачающего, но Господь во всем надежно руководил мною, как отец – своим слабым дитятей. Он послал мне уже много скорбей, но во всем я с почтением признаю Его величественную власть, которая устрояет все наилучшим образом. Я принял для себя твердое решение навсегда посвятить себя служению Ему. Дай мне Бог силу и крепость, чтобы я мог осуществить мое намеренье, и да хранит Он меня на путях моей жизни. По-детски доверяю я милости Божией: Он упасет нас всех, дабы не омрачило нас несчастье. Да свершится святая воля Его! Я с радостью приму все, что Он даст: счастье и беду, бедность и богатство, и с отвагой взгляну в лицо самой смерти, которая некогда соединит нас всех для вечной радости и блаженства. Господи Боже, да сияет над нами лик Твой во веки веков! Аминь!

Вот я и закончил свою первую тетрадь и с удовольствием пролистываю ее назад. Я писал ее с великой радостью и при этом не уставал. Есть в этом нечто исключительно отрадное – позже вглядываться в свои первые годы, чтобы различить, как в это время возникала твоя душа. Я рассказывал здесь всё по правде, без поэзии<sup>36</sup> и поэтических прикрас. Если я подчас добавлял что-то лишнее, мало того, если я еще добавлю что-то лишнее, то величина моего труда<sup>37</sup> извинит меня за это. Ах, если б мне удалось написать еще много таких книжечек!

Жизнь есть зеркало.  
Распознать себя в нем –  
Это, мне кажется, самое важное  
Из всех наших стремлений!<sup>38</sup>

*Написано между 18 августа и 1 сентября 1858*

# Моя жизнь

Самая ранняя пора моей юности протекла тихо и ничем не омраченно, словно окружив меня мягким шепотом сладкого сновидения. Тишина и покой, разлитые над жилищем пастора, оставили в моей душе глубокие, неизгладимые следы, да ведь люди и всегда считают, что первые впечатления, воспринятые душой, непреходящи. Но затем небеса внезапно омрачились; мой дорогой отец тяжело и неизлечимо заболел. Так вдруг на место веселого, лучезарного душевного мира, тихого семейного счастья пришли страх и напряженное ожиданье. Наконец, спустя долгое время, произошло непоправимое – мой отец скончался! Даже теперь мысль об этом заставляет меня глубоко страдать; а тогда я еще не понимал всей чудовищной важности этого события так, как сейчас. – Когда дерево лишается своей верхушки, оно выглядит безотрадным и печальным. Ветви бессильно никнут к земле; птички улетают с засохших сучьев, и вся активная жизнь исчезает. Разве не это же случилось с нашей семьей? Ушла всякая радость, и место ее заняли боль и скорбь. – Спустя полгода мы покинули тихую деревню; я был теперь без отца и без родины. Правда, Наумбург предоставил нам новое жилище; Господь и здесь дал нам много своей любви и попечения; но мои чувства всегда устремляются к родному отчему дому, и на крылах тоски я часто улетаю туда, где некогда тихо расцвело мое первое счастье. –

В Наумбурге-то и начался новый этап моего жизненного пути. Здесь обрел я своих дорогих друзей П. и К., благодаря которым Наумбург навсегда стал для меня милым и родным. Хотя и тут нашу семью постигли несчастья, во всем была видна благословляющая рука Господа. Пройдя подготовку в основной школе, я был принят в соборную гимназию. Здесь надежные учителя неустанно старались приумножать и поощрять наши знания. Но я от всего сердца полюбил это заведение еще

и потому, что ученики там принимали друг в друге живое участие. Мне было там по-настоящему хорошо, и я охотно остался бы там учиться до самого университета, если бы мудрое попечение Господа не решило иначе. Ибо внезапно нам было предложено вакантное место в Пфорте. Так Отец небесный поведет меня своей рукою и здесь. —

1859

Porta coeli locus appellatus est, quem nunc habito. In regione, jucunda et montibus circumdata sita et variis rebus insignis, amara est primis annis a me. Sed tempora mutantur; quae cupiebam, vera facta sunt et in hac regione, quam aspectu tantum cognovi, per sexennium moror<sup>39</sup>.

Пфорта, 6 февраля 1859

### В ЙЕНЕ

Мои каникулы начались, к несчастью, с двух болезней, из-за которых я все никак не мог выехать. Когда же я кое-как от них оправился, я принялся всерьез раздумывать о том, как мне лучше всего провести свои каникулы. Уехать я хотел в любом случае, но вот куда, мне было неясно; я ведь хотел съездить в гости к родным, с которыми я еще не был, можно сказать, знаком. Наконец мне пришло в голову, что я еще почти не знаю своего дядюшку, господина обербургомистра, которого я мельком видел однажды несколько лет тому назад. Планы сложились быстро, и уже на другой день я сел в поезд, а по прибытии в Апольду сразу пересел в омнибус до Йены. Солнце горело на обитых кожей сиденьях, будто мы сидели на чем-то ржавом. Наконец дорога свернула в промежуток между двух гряд холмов, один из которых был обильно покрыт хлебами, а другой, голый и пустынный, являл печальную картину запустения. Наконец мы увидели вдали башни города, а над ними верхушки двух гор. Наконец экипаж остановился перед дядюшкиным жилищем, и тетюшка весьма любвеобильно приветствовала меня, поскольку дяди не было – он ушел по делам. Тем же вечером я немного ознакомился с городскими окрестностями, парками и садами. На следующий день мы все вместе посетили дере-

вухку Лихтенхайн, известную своим добрым пивом. Поскольку в этом месте любят бывать йенские студенты, все местные жители всегда готовы к встрече гостей. То же самое и в Цигенхайне, деревушке, особенно известной благодаря Лисьей Башне. Об этом остатке древней крепости сложено много народных сказаний; самые известные из них следующие: ...

Одно из самых красивых мест в Йене – Куницбург, который мы не преминули посетить. Сначала мы долго шли по берегу Заале и наконец пришли к деревне Куниц. Тут мы спросили дорогу, и нам показали более короткую, но гораздо более трудную. Она стоила нам невероятных усилий, особенно когда мы вдруг потеряли тропинку, и нам пришлось карабкаться вверх наудачу. Возбравшись на самый верх, мы смогли насладиться прекрасным зрелищем заката. – – –

Есть много интересного и в самой Йене. Назову только великолепную водолечебницу, которой и я часто пользовался. Затем, на всех домах, где жили знаменитые люди (а их было много), прибиты таблички с их именами. Мне доставляло большое удовольствие разыскивать [имена] великих вождей нашей нации, таких, как Лютер, Гёте, Шиллер, Клопшток, Винкельман и многие другие.

## ПФОРТА

*6 августа 1859 г.*

Против ностальгии (согласно проф. Буддензигу<sup>40</sup>)

1. Если мы хотим научиться чему-то дельному, нельзя все время оставаться дома.
2. Этого не желают дорогие родители; посему мы покоряемся воле родителей.
3. Наши близкие – в воле Божьей; их мысли всегда с нами.
4. Когда мы прилежно трудимся, мрачные мысли уходят.
5. Если все это не помогает, молись Господу Богу.

– Когда сегодня вечером проф. Штайнхардт вспоминал о наших выпускниках, он упомянул и о грозящей опасности войны,

которая вскоре может каждого из нас вырвать из мирных условий и из хода карьеры. Но они просто были призваны на службу в Наумбурге и потому потеряли шесть дней из своих каникул. —

— Когда я был в Йене, я первым узнал содержание телеграфной депеши о заключении мира<sup>41</sup>. Но все-таки это не было настоящим ликованием по поводу мира; были опасения, что лев отступил, дабы набраться сил для нового прыжка<sup>42</sup>. —

— Сегодня мы снова купались сами по себе. Вода была необычно мелкой; можно было разгуливать по Заале вдоль и поперек. Она была еще и необычно теплой. —

— Плавать я еще не пробовал; всё боюсь осрамиться. —

— Мой дядюшка Эдмунд переведен в Корензен, деревню в Нижнем Гарце близ Випры и Мансфельда. Буду очень рад как-нибудь его там навестить. Но, к сожалению, мама через полтора месяца тоже поедет туда, чтобы налаживать дяде хозяйство, и вернется только к Рождеству. Тогда я больше не смогу по воскресеньям ездить в Альмрих<sup>43</sup>. Правда, в Альмрих часто будет ездить мадам Лаубшер. Она по рождению швейцарка, дает в Наумбурге частные уроки и содержит пансион для девиц. Ее муж — француз, человек прекрасного нрава, но замкнутый, так что в обществе его можно было бы счесть почти невнимательным, если бы он иногда, задавая бьющие прямо в точку, даже остроумные вопросы, не внушал противоположное. —

### *7 августа*

— Сегодня первое воскресенье, которое я снова провожу в Пфорте. Но вот что странно: у меня нет подлинного воскресного душевного покоя. —

— Сегодня еду в Альмрих, где будут мама и Лиза. Вообще-то это место — только для тех, кто уже в приме; но если туда прибывают родители, то они не могут запретить это сыновьям<sup>44</sup>. Остальные обычно ездят в Кёзен: как правило, в кондитерскую Хемерлинга. Правда, есть и много таких, которые отдыхают по воскресеньям в лесу. —

— Мой старший товарищ<sup>45</sup> Кремер обычно ездит в Альмрих вместе со мной и встречается с мамой. Человек он очень лю-



безный и нравится мне больше всех остальных старшеклассников. Перед отбытием на летний жар я записался в его журнале и навсегда попрощался с ним, но теперь он все-таки снова тут. –

– Через несколько месяцев день моего рождения; я еще не определился, каких подарков себе попросить. Или книги Гауди<sup>6</sup>, Клейста, или «Тристрама Шенди» Стерна. –

Кремер не смог поехать в Альмрих; поэтому я поехал туда один. Там я встретился с милой мамой, Лизой, дядей Оскаром, господином ф. Бушем, а потом прибыло еще множество наумбургских гимназистов-старшеклассников. Когда я передал неверный слух о числе наумбургских выпускников, положение которых ненадежно, один отозвался: «Как будто пфортенцам больше и говорить не о чем!» И подобным образом они постоянно поддевали Пфурту. Я на все это молчал; молчание – тоже ответ, и пусть они видят, что в Пфорте я научился молчать. –

– Не представляю себе, что будет со мной в несколько дней каникул Михайлова дня<sup>7</sup>. Мамы дома нет, и я, видимо, буду ночевать дома, а столоваться у теток. –

– Сегодня жара была не такая сильная, как обычно. –

### *8 августа*

– Сегодня на уроках много зубрежки, поэтому день скверный. Во-первых, надо зубрить по истории – от Пелопонесских войн до Александра. Во-вторых, греческую грамматику и, в-третьих, по географии – обо всех частях Земли, кроме Европы и Австралии. Ну, вперед!

– Зубрежка по истории благополучно миновала или, скорее, вообще не прошла, потому что вместо нее был диктант о походе Александра. – Эх, если бы так же и со всем остальным! –

– В два часа. Так у нас и вышло. Вот радость-то! В Пфорте есть один весьма похвальный обычай: если жара больше 24 градусов<sup>8</sup>, послеобеденные занятия отменяются, и весь *coetus*<sup>\*</sup> идет купаться, что на семинарском жаргоне называется общей

---

\* Собрание (*лат.*); все ученики.

помывкой. Сегодня так и было. Жара давит; тяжело даже в школьном саду. От двух до четырех у нас самостоятельные занятия, а в пять мы идем купаться. Какое это блаженство – освежиться сегодня в волнах! –

– Сейчас было бы, конечно, приятнее, если бы праздновали Пасху, но еще намного лучше – Михайлов день. Хотя весенняя природа и не слишком к нам благосклонна, потому что мы не можем себе позволить столько вольностей, как летом, все-таки зимой, в свой черед, можно больше работать, а потом, когда в Пфорте возвращается пора блеска и цветения, нам становится доступно множество всяких приятностей. Как подумая хотя бы о множестве привилегий старших перед новичками летом, в игре в кегли или в классе, так начинаю желать, чтобы уже снова настал Михайлов день. –

– Я решил сам купить себе на день рожденья «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», а «Дон-Кихота» попросить в подарок. Рассчитываю, что нужные деньги, двадцать зильбергрошей, будут у меня через полтора месяца. –

### *9 августа*

Сейчас я попытаюсь набросать картину самой обычной жизни в Пфорте, ведь больше рассказывать, в общем-то, и нечего или почти нечего. – Итак: в четыре утра спальня открывается, и каждый теперь может вставать, когда захочет. Но в пять должны вставать все – по звону обычного школьного колокола, и надзиратели спальни громко кричат: «Вставать, вставать, собираться и выходить!» и наказывают тех, кому трудно расстаться с подушкой. Потом все одеваются как можно быстрее и легче, и спешат в умывальню, чтобы успеть занять себе место до того, как там станет не протолкнуться. Через десять минут после короткого времени, отведенного для вставания и одевания, все снова расходятся по комнатам, где каждый уже одевается как следует. В двадцать пять минут шестого раздается первый колокол к молитве, а по второму уже нужно быть в молитвенном зале. Здесь, до прихода учителя, надзиратели призывают всех успокоиться, запрещают разговоры и побуждают усесться стар-

шеклассников, которые обычно запаздывают. Потом в сопровождении ассистента появляется учитель, и надзиратели рапортуют, насколько полны их скамьи. Затем начинает играть орган и после короткой прелюдии раздается утренний гимн. Затем учитель читает какое-нибудь место из Нового Завета, а иногда еще и духовную песнь, произносит «Отче наш», последний стих которого хором завершает все собрание. Потом все расходятся по комнатам, где их поджидают кружки с теплым молоком и булочки. Ровно в шесть утра колокол созывает всех в классы. Каждый берет свои книги, идет и остается в классе до семи. Затем следуют самостоятельные занятия, или повторительные часы, как их называют. Потом – лекции до десяти, за ними – снова самостоятельные занятия и наконец классные занятия до двенадцати. В конце каждой лекции или занятия звонит колокол. Ровно в двенадцать все разносят свои книги по комнатам и с салфетками поспевают в обходную галерею<sup>9</sup>.

*10 августа*

– Я должен добавить еще кое-что о вчерашнем дне и потому не могу продолжить свое описание. –

Снова настала чудовищная жара, но только без общей помывки. Даже не ходили купаться. Во время послеобеденных лекций было необычайно душно. Наконец в полшестого все небо заволочло тучами. Вскоре глухо загрохотал гром, засверкали яркие молнии, и потоки дождя устремились к истомленной земле. Эта гроза шла еще долго, хотя и не слишком сильно. Дождь шел даже после стола, в то время, когда ученики обычно гуляют по школьному саду, так что всем пришлось остаться в здании школы. Но так неудобно, как этим вечером, мне еще не было со дней летнего жара. Я затосковал по Наумбургу, по моим друзьям, с которыми мог бы приятно проводить время в такие часы, а здесь у меня никого не было! Все здание школы показалось мне таким пустым, таким печальным, а разлившийся повсюду мрак вызывал перед глазами только счастливые картины каникул! О Рождество, о Рождество, как до тебя еще далеко-далеко!!

Сегодня утром значительно прохладнее, чем во все дни до этого. Небо сулит дождь; мне снова не очень-то уютно; я заранее радуюсь воскресенью, но неделя течет необычайно медленно. Все верно: пасмурная погода пробуждает пасмурные мысли, мрачное небо омрачает душу, и когда плачет небо, мои глаза тоже льют слезы. Ах, в моей душе пробуждается горькое ощущение осени. Вспоминается один день в прошлом году, когда я еще был в Наумбурге. Я гулял тогда один у Марииных ворот; ветер выглаживал жнивье опустевших полей, листья желтыми пятнами падали на землю, и меня пронзала такая тоска: цветущая весна, пылающее лето ушли, ушли! Ушли навсегда! Скоро белый снег укроет саваном умирающую природу!

Листва облетает с деревьев,  
Добыча буйных ветров;  
Жизнь с ее грезами  
Превращается в пепел и пыль!

*11 августа*

– И сегодня солнце все еще не может пробиться сквозь пелену тумана и облаков; сегодня – день домашних занятий, или, согласно старому обычаю, лишний час для сна. День, чтобы выспаться. И вот с семи утра до двенадцати у нас самостоятельные занятия, с двух до пяти – снова, а с пяти до семи – время для прогулок в школьном саду. Такие дни годятся преимущественно для более длительных личных занятий. А уроков вообще не бывает. –

– Странно, насколько активна фантазия в сновидениях; мне, а ночью я всегда сплю с резинками на ногах, приснилось, будто вокруг моих ног обвились две змеи и я тотчас хватаю одну за голову. Тут я просыпаюсь и чувствую, что держу в руке подвязку от чулка. –

– Вчера я сочинил маленькое стихотворение, через мысли о родине думая о том, как, наверное, хорошо тому, у кого нет родины. – Вот оно:

Иисуса Христа, нашего Господа, за все блага Твои, Тебя, живущего и царствующего в вечности. Аминь. – Засим следует какая-нибудь строка из гимна.

*13 августа*

– Вот и вторая суббота, как я тут; я уже снова провел тут больше, чем целую неделю – но время тянется для меня, словно вечность. Неделя проф. Штайнхардта прошла; миновало одно из самых приятных времен, в особенности для старшеклассников. –

– Наши выпускники работают очень напряженно, потому что на следующей неделе они начинают писать<sup>50</sup>. Я желаю им большой удачи в этом важном деле. –

– Я и на этой неделе пробовал плавать и сделался скромным пловцом. Дай Бог, чтобы при сегодняшнем заплыве со мной ничего не стряслось. –

– Сегодня в полдень разыгралась сильная гроза с обильными потоками дождя, из-за чего заплыв был отменен. –

На предпоследнем уроке, а это была лекция господина доктора Беккера, в самом конце кто-то принялся сильно шуметь и топтать ногами. Господин доктор был в бешенстве и потребовал, чтобы злодеи сознались ему до десяти часов. Но поскольку никто не явился, он вызвал к себе некоторых учеников и стал их допрашивать. Однако он почти ничего не узнал. Но на сегодня, на шесть часов пополудни, мы назначили собрание всех старших. Я хочу разобраться в том, что тут возможны три случая, а именно, во-первых, что наказание примет на себя весь класс, если зачинщиков шума так-таки и не выдадут. Но поскольку последнее а) не имеет места, во-вторых, из-за этой проделки весь класс может получить плохую репутацию, то это не пройдет. Во-вторых, если злодеев назовут другие, то это будет а) очень неприятно и позорно для каждого ученика, б) привело бы к большим недоразумениям и пререканиям. Поэтому остается только третий случай – что зачинщики беспорядка откроются сами, благодаря чему а) будет спасена честь всего класса, б) наказание со стороны учителей будет более мягким, а прощение –

более скорым, поскольку все дело будет истолковано как ребячество и глупость и поставлено в вину лишь некоторым, в то время как если наказание примет на себя весь класс, то примет его как знак сильного оппозиционного духа во всем классе!! –

*14 августа*

– Дело слушалось возле кегельбана. Собралось довольно много народу, а результатом было то, что либо девятеро должны признаться добровольно, либо будут открыты свидетелями. После ужина синод был продолжен, и в конце концов пятнадцать человек отправились к доктору Беккеру и сознались. Боюсь, однако, что все это сильно запоздало, потому что тот уже успел доложить о деле ректору и профессору Бухбиндеру. Естественно, все участники предстали перед синодом.

– Сегодня уже второе воскресенье, которое я снова провожу в Пфорте. Сегодня после обеда я еду в Альмрих с Браунами. –

– Летнее воскресенье проходит следующим образом: мы встаем в шесть утра, а без четверти семь – молитва. Затем прогулка по школьному саду до восьми. А потом самостоятельные занятия, которые заканчиваются колоколом, зовущим в церковь. Потом мы строимся в галерее и идем в церковь, где надзирает дежурный священник. Вслед за этим до двенадцати – снова прогулка по школьному саду, и то же – после обеда, состоящего из супа, фрикасе, жаркого и салата, до часа молитвы, начинающегося в половине второго. До трех часов надо снова заниматься, до четырех можно погулять в школьном саду, а сразу после полдника начинается вожденная прогулка до шести часов. Время до семи заполнено часом занятий. Потом день, как обычно, заканчивается едой, прогулкой по школьному саду и молитвой. –

– За последнее время я многое прочел; например, в двух отношениях меня сильно увлек Людвиг Рельштаб – страшной напряженностью и роскошным описанием. Последнее из «На Ориноко»<sup>51</sup>, изображавшее опасности в первобытных лесах Америки, было прямо-таки захватывающим. Очень привлекли меня

и сочинения Гауди, в особенности истинно южный, дышащий жаром «Римский поход»<sup>52</sup>. Эти цветные картины, умные замечания подобно плющу обвиваются вокруг колонн и обветшалых сводов меланхолии. Из его стихов меня в особенности притягивают «Песни императора»<sup>53</sup>; хотя они возвеличивают предмет, достойный ненависти, и возносят его до звезд, я все же причисляю их к лучшим стихам, воспевающим умерших героев. В особенности поражает воодушевление и жар в песнях плакучих ив. —

*15 августа*

— Я встречался в Альмрихе с мамой, дядей и Лизой. Было очень мило. Мама, увы, через месяц уже уедет. Поэтому я уже послал в Наумбург мои пожелания <относительно подарков> ко дню рождения. Они таковы: «Дон Кихот», книга стихов, биография Платена<sup>54</sup>, пирожки, орехи, виноград. Доброте и благодеяниям, разумеется, не было границ.

— Что касается того, что произошло у нас в классе, сегодня утром доктор Беккер несколько раз потребовал, чтобы зачинщик признался сам. Беккер казался сильно расстроенным. Тот, кто подстрекал к беспорядкам в классе других, теперь известен: он признался добровольно. В субботу дело будет доложено синоду, а последствия могут быть серьезными. —

Если присмотреться к школьной жизни, то она представляется непрерывно длящимся действием, неизменно вызывающим живой интерес, хотя все события всегда повторяются. Особенно важны разнообразные случаи. Обычно говорят: школьные годы — трудные годы, но этого мало — это еще и годы, чреватые тяжелыми последствиями на всю жизнь, еще и годы, тяжело дающиеся юности, потому что свежему уму приходится замкнуться в тесных рамках, но эти рамки тесны как раз для тех, кому школьные годы даются тяжело, и часто это поистине пустые годы. Вот поэтому очень важно хорошо их использовать; тут главное, чтобы человек равномерно формировался во всех науках, искусствах, способностях, и притом так, чтобы тело и дух шли рука об руку. Надо сильно остерегаться односторон-

ности в учебе. Всех писателей надо читать по многим причинам; не только ради грамматики и синтаксиса, стиля, нет, еще и ради исторического содержания, умственных воззрений; даже греческих и латинских поэтов надо бы изучать одновременно с немецкими классиками, сравнивая образ их мысли. Таким же образом и историей надо бы заниматься заодно с географией, математикой – с физикой и музыкой; тогда из древа истины вырастут прекрасные плоды, воодушевленные одним духом, освещенные одним солнцем. –

*16 августа*

– Наши выпускники сегодня приступают к письменным экзаменам; они испытывают большое напряжение. Мне и нравится, и не нравится думать об этих мгновениях, когда этими последними усилиями и рисками словно откупаешься от уз школы. –

– Вчера мы снова ходили купаться; я впервые надел купальную шапочку, отличительный признак пловца. Ох, и не знаю, выдержу ли я <общий> заплыв. Пожелаю же себе удачи!

– Когда вечером я прихожу в спальню, луна обычно светит на мою кровать. При этом меня охватывает совершенно необычное ощущение странности. Верно говорят, что луна связана с человеческой душой соответствием; лунная ночь гораздо больше возбуждает нервы, чем самые теплые лучи солнца. Кто не знает этого чудесного стихотворения Гейне – «Цветок лотоса»? –

Сегодня мы встали вскоре после без четверти пять. Денница целовала далекие горы и играла в листьях дубов. Когда я смотрю на пурпурно-огненное утреннее солнце, на душе у меня всегда несказанно хорошо; в это время огненная царица<sup>55</sup> дня уступает власть юному дню. Но когда вечереет, душа моя печалится. Гляжу на облака из роз, гляжу на тихо плывущие в воздухе розы, слышу соловьев, испускающих робкие вздохи из лилейных гирлянд, – и со скорбью восклицаю «sic transit gloria mundi»!<sup>1</sup> –

---

<sup>1</sup>Так проходит слава мирская (*лат.*).



– В уме я всегда созерцаю неизмеримую вселенную; как чудесна и величественна земля и как она велика, ведь ни один человек не может знать ее во всех местах, но каково же у меня на душе, стоит лишь мне посмотреть на неисчислимые звезды, на солнце, и кто поручится мне в том, что этот огромный небосвод со всеми его светилами – лишь малая часть вселенной, а где же ее пределы? А мы, жалкие люди, мы хотим понять ее Творца, но сами не имеем представления о его творениях! –

Своего «Тристрама Шенди» я получу, видимо, только на следующей неделе. Я поручил Лизе доставить мне его как можно скорее: я так и жажду свести с ним знакомство. –

*17 августа*

– Ах, не надо, не надо! Сердце, ты хочешь выскочить из моей груди? – Господи, зачем ты дал мне такое сердце, что я ликую вместе с природой и сам радуюсь? Это невыносимо; уж солнце не шлет больше теплые лучи; поля безвидны и пусты, и голодные птицы собираются улететь на зиму. На зиму! – Как тесно граничат радость и горе, но как сокрушителен переход от одного к другому. Ах, не надо, не надо! – Птицы тянутся по небу прочь, в далекие края, и летит за ними в скорби и тоске душа моя. Мир, когда же ты устанешь, где ты встанешь нерушимо? Все, что зреет, расцветает, – исчезает, мчится мимо. Ты выпарываешь розы из прелестной ткани мая; и меня сорви ты тоже – жизнь, что только расцветает! Ты связал меня с собою непреодолимой силой. О природа, жгучей болью сердце ты мое накрыла. Роз последних увяданье заставляет слезы лить; с ними я живу и гибну, с ними вновь я буду жить! Ведь навеки не угаснет этой жизни милый сон; и когда-нибудь, с весною, снова мне приснится он!<sup>56</sup> –

– Сегодня, наконец, состоится долгожданный заплыв. Я с нетерпением жду, чем он кончится. –

– Сейчас у нас по истории поход Александра Великого. Этот герой привлекает меня необычайно; эпизоды из его жизни можно использовать для великолепных трагедий. Назову хотя бы заговор Филоты. Этот молодой человек – один из не-

многих, кто высказывался перед Александром откровенно и с истинным мужеством. Солдаты его бояться, потому что он строг и не терпит, чтобы верх брала та азиатская пышность, которой первым предался сам царь. Его гордость не допускает, чтобы персы стояли на одной ноге с македонцами, и он вступает в пререкания с Александром, сыном Юпитера, властелином Азии, в честь которого ежедневно возжигаются алтари и раболепные льстецы курят незаслуженный фимиам. Александр начинает ненавидеть его, а тот, подстрекаемый убийством Клита, впадает в сильный гнев, роняет неосторожные слова и платится за это жизнью. Чтобы избавиться от подозрений, Александр посылает в Экбатаны тайных убийц умертвить Пармения. Вавилон, Вавилон, месть остается за тобою! Умрет и он сам! –

*18 августа*

– Заплыв и впрямь состоялся вчера. Мы стройными рядами вышли из ворот под веселую музыку, и это было славно. На всех были красные купальные шапочки, что являло взору наблюдателя чудесный вид. Но для нас, юных пловцов, оказалось большой неожиданностью, что начало дистанции было куда ниже по течению Заале, из-за чего мы все пали духом; но, увидев, как издали подходят взрослые пловцы, и услышав музыку, забыли свой страх и прыгнули в реку; поплыли в том же порядке, в каком маршем вышли из ворот. В общем, все прошло хорошо; я старался изо всех сил, хотя дна нигде не нащупал. А часто плыл и на спине. Когда мы наконец финишировали, нам раздали нашу одежду, которая ехала в лодке вслед за нами. Мы быстро оделись и в том же порядке маршем пошли в Пфурту. Все было поистине великолепно. –

– Сегодня необычно пасмурно, да и дождь был уже сильный. Когда мы встали без четверти пять, было еще совершенно темно. Сегодня наши выпускники пишут работы по немецкому. Я от души желаю им успеха. –

Продолжение рассказа о распорядке дня в Пфорте. Сразу после еды кто-нибудь относит яства и приборы дежурного по столовой к нему в комнату, а потом мы бежим в школьный сад.

До половины второго в комнатах появляться запрещено, за это инспекторы строго наказывают. Сначала мы глядим, нет ли посылки или письма, которые ежедневно доставляет пфортенский почтальон, или на карманные деньги покупаем фрукты у торговки. Потом играем в кегли в школьном саду или гуляем. А летом еще и часто гоняем мяч. Без четверти два колокол зовет на занятия в классы, и нужно быть на месте не позже, чем через пять минут. Занятия кончаются без десяти четыре. Сразу потом – полдник, где нам дают булочки с маслом или сливовым джемом, сливки, фрукты и т. п. Затем кто-нибудь из старших товарищей ведет урок, на котором мы пишем контрольные работы по греческому, латыни или математике. В пять – малая перемена, а потом до семи часов – самостоятельные занятия. Затем ужин, который, в общем, ничем не отличается от обеда.

Понедельник. Пятница. Суп, бутерброд, сыр.

Вторник. Суббота. Суп, картошка, сливочное масло.

Среда. Суп, колбаса, картофельное пюре или маринованные огурцы.

Четверг. Суп, омлет, сливовый кисель, бутерброд.

Воскресенье. Суп, рисовый мусс, бутерброд – селедка, салат, бутерброд – яйца, салат, бутерброд или что-нибудь еще.

*19 августа*

– Потом мы снова можем пойти в школьный сад до половины девятого. Затем – вечерняя молитва, а в девять – в кровать. Все старшие, у которых из-за контрольного урока с нами пропал час, могут не ложиться до десяти. Так обычно проходит день в Пфорте. –

– Вчера к нам в класс пришел господин ректор Петер и произнес длинную осудительную речь по поводу того топанья. Помимо всего прочего он сказал: «Неужели вы совершенно забыли, кто вы такие и какой великой благодарностью обязаны нашему институту и его преподавателям? Вы должны радовать нас послушанием и покорностью, а вместо этого огорчаете нас таким поведением! А ведь это очень плохо характеризует весь класс; вина лежит не только на непосредственных исполните-

лях, но и на духе зла, царящем в классе вообще». Потом он сказал еще несколько очень пугающих слов о весьма строгих наказаниях и тому подобных вещах. –

– Вчера вечером я был у проф. Корсена вместе с шестью другими учениками. Было, как обычно, весело и интересно. Ходить туда мне всегда доставляет большое удовольствие. –

– Начиная со вторника я каждый день жду посылки с письмом, но каждый день напрасно! Не понимаю, почему мама задерживает ее! –

– Сегодня снова можно поспать подольше – это день самостоятельных занятий, и всегда очень приятно, что мне предстоит сделать что-то порядочное. Вот сегодня вечером мы должны сдать работу по немецкому. Здесь, в Пфорте, я несколько отстал в немецком. В Наумбурге мы уже писали сочинения и описания характеров, а здесь должны придумывать истории к пословицам и т. п. –

– Нашим выпускникам завтра предстоит написать еще работу по математике; после этого они все закончат, и им останется только ждать устного экзамена. Надеюсь, что все они справятся.

– Хотя чудесная картина каникул уже почти исчезла из моих глаз, эта неделя пролетела для меня очень быстро. В следующий понедельник, наверное, будет прогулка на холмы; маму я уже на нее пригласил. –

Все живое исчезает:  
Вот и роза отцветает,  
Хочешь ли однажды увидеть,  
Как она в блаженстве воскресает? –

*20 августа*

– Наконец подошла столь роковая для нашего класса суббота; я горю желанием узнать, чем кончится дел̄о. –

– Вчера вечером меня внезапно охватила какая-то необычная страсть путешествовать, причем странным образом – без денег. Мне кажется, что, удовлетворяя все свои потребности,

человек живет далеко не так интересно, как когда доверяется своей удаче и не думает о завтрашнем дне. Естественно, для непредвиденных случаев нужно что-то припрятать. Я с большим удовольствием использовал бы для такой прогулки дни Михайлова праздника. По-моему, они обеспечили бы мне много всяких забав. Вот так бродить без дела и без цели<sup>87</sup>, остановиться в первом попавшемся приюте, пережить пару приключений – что может быть чудесней! –

– Сегодня утром я написал еще одно письмо маме и пригласил ее на день похода в холмы. Она хочет взять с собой мадам Лаубшер и пансионерок. Я еще ничего не написал Вильгельму, а он мне; не будет же он на меня сердиться. –

– Вчера мы снова ходили купаться, Заале была прохладна и немного обмелела. Я как следует поупражнялся в плавании брассом и неплохо в нем преуспел. –

– В «Странствующем портняжке» Гауди есть все-таки прекрасный юмор. Как точно охарактеризована Италия во всех ее слабых сторонах, как превосходно – практичные чада Берлина! –

– Господин проф. Буддензиг рассказал нам сегодня кое-что о еврейской поэзии. Ее главная особенность – параллелизация образных звеньев, и иногда она даже пользуется рифмой. В качестве образца последней он привел нам восьмой псалом. –

Я теперь почти совсем не пишу стихи, а те немногие, что пишу, обычно выходят немного слишком обычными. В Пфортге я написал сначала «Майскую песнь», потом «Майское солнце», «В лесу», «Лебедь», «Возвращение» I, II, «На чужбине» и, наконец, «Без родины». Конечно, это очень немного за такое долгое время. Но я хочу когда-нибудь снова начать писать по одному в день, чтобы потом они нашли себе место и в этой книге. – Когда же поэтическая жилка станет настолько щедрой? Эта мысль очень меня беспокоит. –

*21 августа*

– Вчера я получил письмо, из которого следует, что по воскресеньям мне не нужно ходить в Альмрих; поэтому я буду хо-

дять в Кёзен<sup>58</sup>, в гости к господину советнику Тайхману. Это милые пожилые люди, с которыми я познакомился еще в Наумбурге. —

— Злодеи из нашего класса наказаны, в общем, мягко, зачинщик посажен за последнюю парту, на него наложено ограничение, относящееся, кстати, и к остальным участникам: все они будут гулять на час меньше обычного. —

— Вчера вечером инспектор уличил двух третьеклассников в курении прямо за партой и сообщил в инспекторскую. Из них один был участником недавнего дела. Другой обнаружил признаки курения и тоже был уличен. Он оказался предводителем того самого топанья в классе! —

— Со вчерашнего дня я — действительный член хора, чему несказанно рад. Теперь я пою в церкви, могу участвовать в певческих шествиях и вкушаю все радости и горести хориста. —

— Наши выпускники закончили письменный экзамен. Надеюсь, все они сдали его успешно. —

— Сегодня я читал «Дон-Кихота», и он мне очень нравится; но у меня все-таки есть сомнения, желать ли его себе. —

— Погода очень неустойчивая, и это очень тревожно особенно из-за похода на холмы. Ну, надо надеяться на лучшее! —

— Я не пошел в Кёзен, а немного погулял по лесу. Мы сначала собирали фрукты, а потом с удовольствием рассказывали друг другу разные истории; кстати, я пришел к мысли использовать Михайловы дни для прогулки. А именно, следующим образом: в первый день я позову Вильгельма прийти в Пфурту пораньше, потом пойду с ним на Кошку<sup>59</sup>, где мы отведаем куницбургского омлета, а потом снова пустимся в путь через Рудельсбург и Залек и вернемся после полудня. Действительно, прекрасная мысль; поделюсь ею с Вильгельмом. После каникул я ему еще так ничего и не написал. — —

*22 августа*

Ну вот, лучшие надежды и сбылись. Мы провели очень приятный день на холмах, который я и хочу описать более подробно. Встав поутру, я тотчас поглядел на небо. И оно, разу-

меется, не сулило ничего особенно хорошего. Горизонт заволкло много толстых облаков. До полудня был обычный учебный день. Но тут, когда небо посветлело, все натянули на себя одежду и в два часа собрались на Фюрстенплац, причем отрядами по комнатам. После проведенной переключки процессия, с музыкантами и певцами впереди, прошла перед правым фасадом здания школы. Мы в сопровождении инструментов спели «Горную песнь», а потом, с школьным знаменем впереди, пошли маршем вверх, на холмы<sup>60</sup>. Остановились, дойдя до широкого плато. Здесь-то и разбил свою палатку кондитер Фурхт, и его товар шел нарасхват. Зефир исчез с прилавка в мгновение ока. Мы расположились прямо у кромки леса и всласть наговорились о забавах младшеклассников на холмах. Тут наконец кто-то сказал мне, что мама с Лизой прибыли. Вот это было чудесно. Сначала мы пили кофе с пирожными, а потом стали разговаривать. Позже подошли мадам Лаубшер с пансионерками. Между тем уже начались танцы, и они довольно много плясали вместе со всеми. Вообще было довольно много дам, хотя почти каждый раз они не приходили на холмы из-за порядочного дождя. Потом собрался хор, и были спеты очень приятные песни, например «Вечерняя песнь», затем «Ура, Германия, ура» и «Прощай, зеленая листва». Потом снова танцевали до половины седьмого. И вот настал конец веселью, я от души попрощался со всеми своими и поблагодарил, и мы поклассно пошли маршем назад, вниз, к зданию школы. Торжественным маршем дошли до сада старшеклассников, а потом все разошлись. У учеников средних классов вечером был еще бал в танцевальном зале. Так закончился самый прекрасный за многие годы поход на холмы. —

### *23 августа*

— Сегодня все мы еще немного усталые после вчерашнего; ведь такие радости и удовольствия всегда отнимают какие-то силы. Но зато остается прекрасное воспоминание. —

— Хочу рассказать еще об одном событии во время вчерашнего похода. Когда на обратном пути Пфорта оказывается как

раз под нами, классы выстраиваются друг под другом, и префект командует «ура» сначала в честь короля, затем – принца Прусского, затем – выпускников, затем – альма матер с преподавателями и наконец – всех учеников. В честь последних раздалось четыре, пять, шесть криков ура – тогда, наконец, проф. Бухбиндер со смехом вскричал: «Ну и как же долго вы собираетесь жить?» –

– Мадам Лаубшер любезно пригласила меня почаще приходить в Альмрих, когда не сможет приходить мама. Я, конечно, не раз воспользуюсь ее приглашением. –

Сейчас я нахожусь в странном затруднении. У меня тут в Пфорте есть два брата, состоящих со мною в некотором родстве. – Старшего весь соetus в известной мере презирует, все над ним подтрунивают и посмеиваются. Но он настойчиво хочет, чтобы меня отдали под надзор ему, поскольку в следующем семестре у меня еще не будет старшего товарища. Зато другой брат, человек вполне приятный, веселый и порядочный, когда я рассказал ему о том брате, заявил, что я могу попроситься и к нему; понятно, мне нужно решить, кто из них мне больше по нраву. Тут я оказываюсь в новом затруднении: ведь в любом случае я обижу одного из них. Тогда уж в любом случае самое лучшее – не идти ни к одному. –

– Осень всегда напоминает мне о моем будущем положении в мире; ведь тогда юность должна будет принести плоды. Но для меня ужасна мысль только наслаждаться тем, что дадут приложенные некогда усилия. Моя душа должна стоять в вечной весне, ведь как только минует розовая пора цветенья, минует и моя жизнь. Как мне тяжело будет без земной весны, но насколько же горше жить в согласии с той мыслью!

*24 августа*

– Вчера я вдруг еще раз перечитал «Разбойников»; при этом на душе у меня всякий раз становится как нельзя более странно. Характеры кажутся мне чуть ли не сверхчеловеческими, сдается, что видишь перед собой борьбу титанов против религии и добродетели, но небесное всемогущество все же



добивается в ней бесконечно трагической победы. Напоследок устрашает отчаяние кромешного грешника, которое ужасающе приумножают слова патера. В голову мне не пришло ничего более нового, кроме того, что Шиллер ссылается тут на какое-то место из какого-то своего юношеского стихотворения. —

— Третий акт, явление второе —

Шварц: «Великолепно заходит там солнце!»

Моор: «Так умирает герой — это достойно поклонения!»

-----

«Когда я был мальчишкой, я носился с мыслью жить, как оно, умереть, как оно!»

Сравним с этим стихотворение:

«Солнце закончило свой путь, подобно герою»<sup>61</sup>, и т. д.

Отсюда тоже видно, что многие свои идеи, многие свои замыслы Шиллер воплотил в образе Карла Моора. —

Сразу после обеда мы вышли из Пфорты и собрались у солеварни в Дэвисонсхалле. Около трех мы пришли в Бухенхалле. Это чудеснейшее место в лесу, что-то вроде амфитеатра со скамейками<sup>62</sup>. Хор и другие музыканты заняли самое высокое место. Внизу были воздвигнуты алтарь и кафедра, очень торжественно украшенные цветами. Сначала спели «Пребудь же милостью своей», потом проф. Буддензиг провел литургию; мы спели еще несколько мотетов; затем на кафедру взошел диакон Линк из Экартсберги и прочел очень красивую, вдохновенную проповедь. Затем торжество закончилось множеством хоровых пьес. —

Было огромное стечение народа, сюда сошлись почти все курортники. В половине пятого мы вернулись в Пфурту и сразу отправились купаться. Заале чудесно нагрелась, и мы довольно долго не выходили из воды. Я снова много раз пробовал плавать брассом. И вообще, хорошо бы скоро снова пришло письмо от мамы! Я совсем ничего не знаю, что там у них происходит! Вот бы завтра, в четверг!

– Пока что я повидал еще очень мало; лучи солнца еще не очень горячи; над землей льется осенняя прохлада. – Мы писали в классе контрольную; я жадно жду результата. –

– Мама сказала, что на Рождество я, наверное, поеду в Корензен, потому что к тому времени она, может быть, еще не вернется. Правда, это было бы очень приятно. Особенно я радуюсь поездке. Если будет не слишком холодно, я поеду до Галле, а потом пушусь в дорогу до Дойченталя. Там я заеду в гости к господину пастору, которого я однажды уже видел, оттуда – в Лангенбоген, поприветствовать своего старого знакомого – Соленое озеро. Потом путь мой лежит в Айслебен, в лютеровские места. А оттуда – в Мансфельд, где меня будут ждать мама и дядя. Я очень этому радуюсь. –

– Сегодня после обеда с Азии начались большие повторительные занятия по географии. Тяжелое это дело, скорее бы уж все кончилось. Я и вообще-то всегда побаиваюсь географии.

– Все закончилось хорошо. Я отделался от географии. Вильгельм, кстати, мне написал; с моим планом он согласен и даже предпочитает небольшой пеший поход. –

Мое стихотворение за четвертый класс «Возвращение домой» получило оценку Па<sup>63</sup>. Вторая часть такая:

## II

I. Приглушенный колокольный звон

Несется над полями.

Он с несомненностью возвещает мне,

Что, кажется, еще никто

Не нашел на этом свете

Родины и счастья обладать родиной:

Едва оторвавшись от земли,

Мы снова возвращаемся к земле. –

II. Когда вот так звонят колокола,

На ум мне приходит,

Что все мы еще

Бредем к своей вечной родине.  
Блажен, кто постоянно  
Вырывается из пут земных  
И поет песни родины  
О таком блаженстве!

– За контрольную по латыни я получил Па. Сегодня мы писали контрольную по математике, и я напряженно жду результата; я знаю, как все делать, но правильно ли все решил, это другое дело. –

Нынче после полудня жара снова поднялась до 24 градусов. Лекции отменили, и мы все пошли купаться. Вода была чудесна. –

Сегодня я рассказывать больше ничего не буду. Потому что хочу вставить сюда свое стихотворение «Возвращение домой».

### «Возвращение домой»

Тот давний день, когда я уезжал отсюда,  
Был днем страданий;  
Теперь, когда я возвратился,  
На душе еще тяжелее.  
Надежда всего моего странствия  
Рухнула в одно мгновенье!  
О, злосчастный час!  
О, роковой день!

Я много плакал  
Над могилою отца,  
И несколько горьких слезинок  
Упало на надгробный камень.  
На душе стало так безотраднo и печально  
В родном отчем доме,  
Что я часто уходил  
В дремучий лес. –

Под его сенью  
Я забывал всю скорбь,  
И в тихих грезах

Покой сошел в мое сердце.  
Когда я дремал в тени дубов,  
Мне явились блаженство расцвета юности,  
Розы и пение жаворонка.

*27 августа*

– Ну вот, вчера после обеда снова был общий сплав. И каждый раз лодки оказываются перегружены.

Сейчас я читаю «Историю литературы» Клетке<sup>64</sup>, и главным образом меня интересует жизнь Жан-Поля. Отрывки из его книг, которые я прочел, необычайно притягательны для меня благодаря богатой, бьющей через край манере изложения, изысканным мыслям и сатирическому остроумию. Думаю, когда-нибудь, в зрелые годы моей жизни, Жан-Поль станет моим любимым писателем. –

– Сейчас я немного фантастически приукрашу кое-какие эпизоды из моей жизни. Первым будет такой.

## I. Кое-что о летних каникулах

Дни летнего жара! Эти слова ласкают слух всякого томящегося по свободе *alumnus portensis*<sup>\*</sup>, Эльдорадо, что, к нашей отраде, позволяет нам пересечь на парусах великий океан учебного семестра. Какое это блаженство – услышать наконец клич «Земля!»: ликуя, все венчают цветами корабль своего бытия и украшают гирляндами старые милые комнаты, гирляндами, на каждой листке которых написано «надежда». Кому под силу хотя бы только описать переполняющее нас чувство, это гордое сознание, поднимающее нас до звезд! Не вздыхая и сетуя, вырываемся мы из объятий *альма матер*, нет, напротив, на душе у нас так вольно и радостно, как у жаворонка, взлетающего в море пламени и погружающего свои крылья в волнующийся пурпурный жар. Но какая же это свобода? Лишь пять недель нам дано вздымать свои крылья над горами и долами, в вечные

---

<sup>\*</sup> Питомца Пфорты (*лат.*).

дали, а потом непререкаемый приказ зовет нас назад, в старые, мрачные стены. –

Когда улыбчивая весна рассыпает свой переполненный рог изобилия над лугами, когда солнце горячее обнимает землю, появляются на свет и растут чада весны, встряхивают в утреннем тепле своими золотыми, усыпанными бриллиантами головками и раскрываются, дрожа от блаженства, просветленные радостью. Но вот подымается черная ночь и покрывает вздыхающую землю темными сводами. Могучие порывы ветра, грохочущие раскаты грома сползают по потемневшим стенам, стараясь взломать двери. Огненные молнии извиваются вокруг колонн свода, сверкая вверх по ним, – тогда Гелиос восходит на пурпурный трон и – отступают мрачные силы – светозарная богиня в разноцветном сиянии переходит по усеянному бриллиантами мосту, а над нею простирается пронизанная молниями триумфальная арка, – но прелестные чада весны погрузились в захватывающее созерцание, и по распростертым листьям с триумфом шествует бог. – А потому, о юноша, проводи время своих каникул не в трудах, а в ликующем отдохновении, а уж когда приблизится ненастье и ворчащий голос грома возвестит о конце времени роз, ты попрощаешься с ним, не ропща, – но довольно! – Я не тот, кто без жалоб видит, как уходит весна, и не могу представить себе, что кто-то добровольно вновь наденет на себя оковы. Однако я пришел к выводу: вкушай от жизни то, что она тебе преподносит, и не думай о будущих хлопотах. Во всяком случае, это наивысший человеческий принцип, которому я научился в Пфортте. Когда меня терзали горькие мысли, а на душу давила мучительная ностальгия, когда я с тоской видел уход весны, а мое сердце изнывало в глубочайшей скорби, каждая моя мысль, подобно гирлянде роз, обвивалась вокруг развалин прошлого, и – я – *сбивал кеглю!* – А потому прочь, мысли о расставании с каникулами! В веселье, полным наслаждения жизнью, бросайся в вялую жизнь, чтобы завоевать себе венец наилучшего проведения каникул!

## II.

Солнце уже закатилось, когда мы вышли из потемневшего Галле. Вскоре этот город, который не производит на меня

приятного впечатления, несмотря на свою оживленность, уже лежал за нашей спиной, над нами раскинулось облитое золотистым сиянием небо, где еще пылали уголья, пронизанные розовым светом, а вокруг нас были нивы, на которых покоилось мягкое дыхание вечера. О Вильгельм, воскликнул я, есть ли на свете большее наслаждение, чем вот так, вместе, брести по миру? Любовь между друзьями, доверие между друзьями! Дыханье великолепной летней ночи, аромат цветов и вечерняя заря! Не вздымаются ли твои мысли ввысь, как ликующий жаворонок, не воцаряются ли они на окруженных золотым венцом облаках? Жизнь моя простирается предо мною, как дивный вечерний вид. Как дни группируются передо мной – то в неярком освещении, то в ликующей прозрачности! –

– Тут до нашего слуха донесся резкий вопль: он шел из находившегося поблизости дома скорби. Мы крепче сжали друг другу руки: нам казалось, будто какой-то злой демон коснулся нас своими устрашающими крылами. Нет, нас ничто не разлучит, ничто, кроме вестника смерти. Прочь, нечистые силы! – Даже в этом прекрасном мире есть несчастные. Но что такое несчастье? –

Стало уже совсем темно, облака сгустились и образовали серую, полночную массу. Мы ускорили шаги и замолчали. Нивы становились все темнее, и когда мы наконец вошли в лес, нам стало немного не по себе. Поэтому нам было очень приятно и в то же время чуточку тревожно, когда мы увидели приближавшийся к нам издали свет. Мы собрались с духом и двинулись ему навстречу. Вскоре мы различили черную фигуру: казалось, то был охотник. Ведь за спиной у него висело ружье, а следом за ним шла громко лаявшая собака. Но когда, подойдя ближе, мы разглядели дикие, жуткие черты лица этого человека, мужество снова отказало нам, и мы слабым голосом произнесли «Добрый вечер!» Раздалось ответное приветствие, произнесенное глубоким басом, незнакомец посветил нам в лицо и сказал, останавливая бросавшуюся на нас собаку: «Эй, парни, что это вы делаете в лесу так поздно?» Мы толком не знали, что отвечать, и ответили так: «Идем в Айслебен, и мы думали дойти еще этой ночью». «Н-да, ночь человеку не друг, а идти одним для таких молодых парней...» – тут он за-

молчал, и мы посмотрели ему в лицо, со страхом ожидая дальнейшего.

Но он со смехом воскликнул: «Да не пугайтесь вы, я вас провожу». Хотя сначала мы оробели от его предложения, но его суровое лицо показалось нам уже более дружелюбным, и мы прониклись к нему доверием. Теперь ночь была черна как смоль, даже луна скрылась за низко нависавшими облаками, и фонарь бросал колеблющийся свет на старые деревья-великаны. Мне уж было пришла на ум мысль отправиться в Дойченталь и там остановиться. У меня там был дядя, но я знал, что он просто так меня от себя не отпустит. Наконец я как бы случайно осведомился о нем, и незнакомец, поглядев на меня, сказал: «Вот как, вы знаете этого господина?» Я отвечал: «Да, немного», но когда он в свой черед спросил, почему я не хочу зайти к нему, сказал, что это отнимет время на обратный путь. Однако старик удивленно возразил: «У вас тут поблизости есть знакомые, а вы все равно хотите идти опасными ночными дорогами?» «Опасными?» – переспросил я и с робостью поглядел кругом; но вокруг была ночь, глухая черная ночь. «Вы что, не слышали историй о привидениях в этом лесу? Да и цыганские банды обычно держатся тут». – Я попросил его не говорить больше об этом, и мы в мертвой тишине продолжили свой путь. Наконец мы пришли в лощину, окруженную густыми непроходимыми зарослями. Внезапно наш вожатай поднес ко рту свисток и извлек из него пронзительный звук. Мы в смущении поглядели друг на друга; но вдруг в лесу сталолюдно, кругом замелькали факелы, нас двоих окружили со всех сторон странно закутанные фигуры, я лишился чувств и уже не знал, что со мной происходит<sup>65</sup>. –

### III.

Когда я проснулся, вокруг меня еще витали эти страшные картины, но вскоре верх взяли живительные, светлые настроения – я все еще был в Пфорте, это было последнее утро, а через два часа я уже был в Наумбурге. Луч утреннего солнца сверкнул сквозь окно, и я радостно приветствовал небесный свет, изгнавший мрачные создания ночи. – Вскоре я вышел наружу, к маленьким воротцам, и снова бросил прощальный

взгляд на древние серые здания. — Потом я вступил в зеленый лес. Когда я вступаю в святилище природы, меня всегда поражает чувство: для нас создано все это великолепие, для нас возвышаются величественные тенистые своды, для нас пылает солнце, светит луна, и благодаря этой связи весь мир является мне милым сотоварищем, с которым я могу обмениваться мыслями, и горько оплакиваю его отдаление от меня; но без отдаления не бывает и радостной новой встречи; солнце должно погрузиться в море, чтобы на следующий день снова излить новую жизнь; жизнь наша должна увянуть, чтобы нас вернуло к жизни более высокое, духовное воскресение. —

Когда я прибыл в Наумбург, было много радости и ликования; но после того как миновал первый порыв упоения радостью, мы как следует и подробно поговорили о том, куда бы мне отправиться на каникулы. Наконец мою душу словно пронзило молнией; я подумал, что должен навестить дядюшку, которого еще никогда в жизни не видел, как сообщило мне сновидение. Значит, в Йену, где один родственник занимает пост обербург-гомистра<sup>66</sup>. За несколько дней решение дозрело окончательно, любезное приглашение дяди было получено, и я с быстротой молнии помчался на железную дорогу. Изрыгавшее дым чудо-вище уже стояло на путях, и я успел запрыгнуть в вагон. —

#### IV.

Поезд с шумом полетел, как на крыльях, и прекрасный ландшафт заскользил мимо, словно волшебная картина. Езду по железной дороге я в известной мере люблю; хотя все картины видны только мельком, так ведь и жизнь наша вообще — лишь мгновенный проезд мимо без остановки, и мы бываем счастливы, если она преподносит нам себя вот так, в своем прекрасном цвету. Ехать в конном экипаже по мне — слишком уж не-поэтично; погрузишься в глубочайшие размышления, и вдруг начнется ужасная тряска, так что голова идет кругом. А идешь пешком — возвышенное впечатление часто портят предметы, попадающиеся по пути. — Разглядел я и мою старую Пфурту, но не захотел ехать туда и отложил ее на месяц. Вскоре перед нами показался Рудельсбург: старый Самиель<sup>67</sup> помахал нам



платком, приглашая на экскурсию. Местность там и впрямь чудесна, долина – словно цветочный ковер, по которому вьется серебристая змея. Седые стражи былого угрюмо взирают на новую жизнь, распростертую перед ними. В Апольде я вышел из вагона и пересел в омнибус. К несчастью, он был так переполнен, что я нашел себе место только на козлах. Иногда тут так пекло (потому что солнце обычно пряталось за облаками, но иногда выходило из-за них), оно жгло так сильно, будто хотело нас поджарить. Вот так бывает и с сердцем, которому всевозможные вещи мешают свободно излиться, и тогда оно подчас переполняется, затопляя берега. С горячего шоссе наша дорога свернула в сторону и пошла между двумя скалистыми холмами, характерно контрастирующими друг с другом. Один из них полностью покрыт лесом и лугом, а другой тянется полого, голый и мрачный. Вершина поднимается на целых тысячу футов, а за Йеной Лисья Башня достигает даже двух тысяч. Вскоре мы увидели перед собой Йену с ее башнями и холмами. На душе у меня становится очень уютно всякий раз, как я гляжу на этот маленький, чудесно расположенный университетский город. Я навел справки и нашел дядюшкину квартиру. Милая тетушка встретила меня очень тепло, и я почувствовал себя совсем как дома. Дядюшка, которого я дотоле еще не знал, оказался человеком чрезвычайно любезным и просвещал меня во всем, о чем бы я ни спрашивал. Вообще мне было там так хорошо, так интересно, что я не знаю, где еще мог бы провести каникулы более приятно. В первое утро я отправился с дядюшкой на Хаусберг, на котором расположен Цигенхайм с Лисьей Башней<sup>68</sup>. Там я увидел Йену с ее очень красивой стороны; подо мною тянулась Заале, частично опоясывая город, который со своими узкими улицами и высокими домами являл вид хотя и старинный, но уютный. Потом дядюшке нужно было идти в ратушу, а я еще послонялся по городу, разыскивая жилища знаменитых людей, что доставило мне большое удовольствие. В середине дня мы пошли в купальню и плавали там вдоль по Заале в сопровождении лодки, что оказалось утомительно. После этого пришелся очень кстати прекрасный обед. Во второй половине дня я обычно читал в дядюшкиной библиотеке; там я обнаружил Новалиса (чьи философские идеи

меня интересовали), Гейбеля, Редвица, множество собраний афоризмов, стихотворения Шиллера с комментариями Фихофа и т.д. Вечером дядя вернулся, и мы с ним погуляли по окрестностям. Тут я хочу рассказать сначала о прогулке в Куницбург<sup>69</sup>. Перейдя через луг у Йенсига, мы вскоре увидели древние руины этой крепости на вершине горы. Дорогу мы знали плохо и потому вскоре потеряли ее, и нам пришлось взбираться наверх с невероятным трудом, цепляясь за кусты и побеги. И вот – наконец-то! Пот по мне тек ручьями, и должен признаться, что уставать так сильно мне еще, наверное, никогда не приходилось. Впрочем, все потраченные усилия были вознаграждены сторицей. Солнце как раз садилось, и в долине волновались туманы. Как прекрасно побыть вот так среди руин прошлого! Некогда сквозь эти обветшалые окна отважные рыцари глядели вдаль, отсюда они нападали на купцов, которые беззаботно плыли по Заале. Но смотреть глазами средневекового человека трудно, мы всегда представляем себе жизнь преувеличенно, либо на идеально-романтический лад, либо как полную пены насилия, убийства, грабежа. Когда я думаю об этом, передо мной встают образы мужественных рыцарей, за Бога и честь повергавших в прах всех своих противников, то оглашавших темную ночь сладостными песнями под гитару, то в диком неистовстве рыскавших по миру в поисках опасных приключений. – Но от средневековья мы полностью обратились к современности благодаря знаменитому куницбургскому омлету; современность же полностью вступила в свои права, когда вечером мы улеглись спать, совершенно утомленные и уставшие. –

## V.

Высшей точкой моей жизни в Йене стало, конечно, общение со студентами. Получилось это так. Мой дядюшка, некогда основавший «Тевтонию»<sup>70</sup>, был ее почетным членом. А тут вдруг господин хозяйственный советник выполнил одно старое обещание, выставив четыре бочки, и дядюшка оказался в числе приглашенных на этот праздник. –

– Сейчас я должен прервать дальнейшее изложение, вдогонку добавив кое-что о моей жизни в Пфорте. В воскресенье,

3 сентября, я напряженно занимался с Кремером от послеобеденного времени до восьми часов. В Наумбурге было очень мило и уютно, особенно для Кремера, который удачно сдал свой экзамен. Сдали все, кроме экстерна<sup>71</sup> Ноймана; результаты огласили в прошлую субботу. Кремер рассказал нам, как все дрожали от страха, забыв обо всем хорошем. Потом, в половине двенадцатого, все выпускники пошли в столовую, причем каждый взял с собой двух других или больше. Я тоже удостоился этой чести. Тут помимо всего прочего подавали знаменитые «выпускные» фрикадельки. –

– На днях тетя Эренберг с мамой тоже была [...] <sup>72</sup>. Я провёл ее повсюду. Когда они уезжали, тетя сунула мне в руку талер, что тоже было весьма приятно. –

– В понедельник приходили приглашенные экстерны. Там на полдник подавали по два бокала вина и порядочному куску пирога. Экстерны тоже были в трапезной, честь, которая достаётся им только тут, вместе с лимонадом и «выпускными» фрикадельками. –

– В среду наши выпускники уехали; до этого момента они были «exlex», то есть освобождены от всех цепей школьного распорядка. Тогда они вели очень уютную жизнь. – Когда они уехали, мы, певцы, совершили прогулку в Рудельсбург, чему я был очень рад. В среду из-за этих выпускников у нас был день долгого сна. В девять часов в молельном зале был торжественный акт, во время которого каждый в краткой речи прощался с школой. Думаю, никогда настроение соetus'a не бывает более серьезным, чем в этот день. Тут не видно улыбок на лицах, потому что у каждого выпускника есть среди всех остальных хотя бы один, которому он по-настоящему помог. В час дня прибыли два экипажа спешной почты, запряженные четверками, с двумя форейторами. Все почтальоны были в высоких сапогах и в своей пестрой униформе, они позабавили всех хорошей игрой на рожках и плохими шутками; наконец появились выпускники, позавтракавшие со своими наставниками и попрощавшиеся с ними. Они были сильно возбуждены; все столпились вокруг них, почти все они попрощались, с друзьями и близкими товарищами – поцелуями и объятьями, с друзьями – рукопожатиями. Это было очень захватывающее мгно-

вень; у многих слезы навернулись на глаза, когда отъезжающие еще раз попрощались с coetus'ом, а потом уехали. Проф. Буддензиг тоже был глубоко взволнован уходом своего фамулуса; он сильно плакал. —

Потом, в три часа дня, пошли в Рудельсбург. Дорога и небо были чудесны, а вид с Рудельсбурга на долину решительно очарователен. В этой местности, хотя некоторые на нее и жалуются, меня никогда не охватывает скука. Мы довольно много пели перед толпой незнакомых людей. В половине седьмого мы тронулись в обратный путь. Поскольку вместе с нами шло большое количество дам, пели еще слаще. Господин проф. Корсен был необычайно весел и забавлял всех своим ужасно резким голосом и шуточками. Мы пришли только без четверти восемь — к досаде всех остальных, которые ждали в галерее с семи часов.

В воскресенье я был в Альмрихе, хотя сильный ливень чуть не завернул нас обратно. Мне было тем приятнее, что там я увидел и тетю Иду из Поблеса, которая приехала к маме на несколько дней. Когда мое время вышло, она тоже провожала меня до Пфорты, и мне удалось даже показать ей свою комнату и сад для старшеклассников. —

— Я получил своего «Тристрама Шенди». Сейчас я читаю первый том и перечитываю его раз за разом. Поначалу я почти ничего не понял, мало того, даже пожалел, что купил его. Но теперь он меня увлекает чрезвычайно; я выписываю все мысли, которые меня поражают. Мне еще никогда не встречалось столь всеобъемлющее знание наук, такое анатомирование души. —

Денежные мои обстоятельства сейчас таковы: пятнадцать зильбергрошей<sup>73</sup> из талера пойдут за эту книгу в Наумбург; из остальных я откладываю десять грошей на ту экскурсию в Михайловы дни, на которую я, кстати, попросил еще десять у проф. Буддензига. Сейчас я, кстати, хочу продать несколько ненужных книг. —

— Теперь продолжу описывать свои каникулы. В последней главе я остановился на Йене и как раз собирался изобразить свою встречу с «тевтонами». — Со студентами? Да, да, и притом студентами из союза, пользующегося дурной славой из-за пьян-

ства и дуэлей. *Etsi Plato meus amicus est*<sup>\*</sup>, то есть хотя я пополнию собой университетский городишко, *tamen veritatem ducem sequor*<sup>\*\*</sup>, порядки в Йене довольно дикие, хотя в прежние времена они были, наверное, еще хуже.

– Ты пришел из Йены, руки-ноги целы?  
Значит, ты счастливый, а не смелый. –

Тут я снова написал целую кучу чепухи (которой и вообще много в этой книге). Перечитывая, я вырвал немало страниц. –

– Сейчас мои обстоятельства совсем другие, чем тогда, когда я писал предыдущее. Тогда еще зеленело и цвело позднее лето, а сейчас, увы, – поздняя осень. Тогда я был в младшем отделении терции, теперь передвинулся на ступень выше. Тогда мама и Лиза еще были в Наумбурге, а теперь они уже со времени экскурсии в Михайловы дни в Горенцене<sup>74</sup>, и т. д.

– Миновал день моего рождения, и я стал старше. – Время исчезает, как роза весны, и радость – как пена на ручье. –

Меня охватила сейчас необычайная тяга к познанию, к универсальному образованию; двинуться в этом направлении меня побудил Гумбольдт. Если бы оно оставалось таким же неизменным, как моя склонность к поэзии! –

С раннего детства у меня были свои любимые занятия<sup>75</sup>. Первым были цветы и растения, покров земли. Правда, об этом я знаю только по рассказам. – Потом возникла страсть к зодчеству (разумеется, опиравшаяся главным образом на ящик с кубиками), которую я удовлетворял во всех формах. Я вспоминаю себя еще совсем маленьким, времен жизни возле церкви в Рёкене, – я строил маленькую капеллу. Позднее постройка этого роскошного храма с многими рядами колонн, высоких башен с витыми лестницами, шахт с подземными озерами и внутренним освещением и наконец крепостей, которые в то же время составляли часть моей третьей страсти – к военному делу, – стимулировалась главным образом великой русской войной. Сначала я придумал осадные машины (я написал книжеч-

---

<sup>\*</sup> Платон мне друг... (лат.).

<sup>\*\*</sup>...но истина дороже (лат.).

ку о военных хитростях), раздобыл книги по военному и морскому делу, разработал большие планы оснащения корабля, провел множество битв и осад, где в качестве снарядов в ход шли горящие смоляные шарики, и все это на самом деле служило достижению одной великой цели – разыграть великую битву народов, – но навсегда остановилось на подготовительных мерах. Любовь ко всему, что связано с воинским делом, выразилась и в составлении большого военного энциклопедического словаря; но гибель Севастополя положила этому конец. Но так называемый *théâtre des arts*<sup>\*</sup> повел меня к театральному делу; мы пытались сами что-нибудь сочинить и разыграть на сцене, главным образом олимпийских богов. В это же время у меня появилась склонность к поэзии, уже на девятом году, и каждый год я делал небольшие опыты. На одиннадцатом году впервые выявилась склонность к церковной музыке, а в конце концов и к собственному сочинительству; причину я указал в другом месте; с этого же времени идет и моя любовь к живописи, вызванная ежегодными выставками картин. – Все эти склонности сменяли друг друга не сразу, а взаимно переплетались, поэтому где они начинались и где кончались, определить невозможно. К ним добавляются более поздние интересы к литературе, геологии, астрономии, мифологии, немецкому языку (древневерхнемецкому<sup>76</sup>) и т. д., так что получаются такие группы:

1. Интерес к природе

- а) геология
- б) ботаника
- с) астрономия

2. Интерес к искусству

- а) поэзия
- б) живопись
- с) театр

3. Подражательные навыки

- а) военное дело

---

<sup>\*</sup>Театр искусств (*фр.*).

- b) зодчество
- c) морское дело

4. Главные интересы в области наук

- a) хороший стиль в латыни
- b) мифология
- c) литература
- d) немецкий язык

5. Внутренняя тяга к универсальному образованию включает в себя все это плюс еще много нового

*Языки*

- 1. Еврейский
- 2. Греческий
- 3. Латынь
- 4. Немецкий
- 5. Английский
- 6. Французский и т. д.

*Подражательные навыки*

- 1. Военная наука
- 2. Морская наука
- 3. Знакомство с различными ремеслами и т.д.

*Искусства*

- 1. Математика
- 2. Музыка
- 3. Поэзия
- 4. Живопись
- 5. Пластика
- 6. Химия
- 7. Архитектура и т. д.

*Знания*

- 1. География
- 2. История
- 3. Литература
- 4. Геология
- 5. Естествознание
- 6. Античность и т. д.

*и над всем этим – религия, оплот всякого знания!*

Велика сфера знания,  
бесконечно исследование истины!

# Юбилей Шиллера в Пфорте

8. 12. 1859

Столетний юбилей Шиллера вызвал у всех почитателей этого великого немца желание всенародно отпраздновать этот день. В этом национальном празднике приняли участие не только люди образованные, но и низшие сословия народа. Отсюда слух об этом проник за границы Германии; грандиозная подготовка к этому дню прошла в других странах, даже на других континентах, и потому можно, наверное, утверждать, что еще ни один писатель не вызывал такого всеобщего интереса, как Шиллер. Но каким образом можно отдать поэту более достойные почести, чем исполнением его высоких творений? Что в состоянии воскресить его в нашей памяти больше, чем произведения его собственного духа, зеркало его великого ума? Вот и в этот день на всех сценах ставились только шиллеровские пьесы, в закрытых обществах разыгрывались избранные сцены из его драм, да и почти в каждом доме его чествовали каким-нибудь образом; но все сердца связали одни узы, узы любви и почтения к великому усопшему. Пфорта тоже не захотела отстать от всеобщего стремления: подготовка к этому дню велась уже давно. В среду в торжественно украшенном спортивном зале состоялся пролог к празднику. Тут было большое стечение народа; с уст не сходило имя Шиллера, а глаза были прикованы к его увенчанному лавром бюсту. Сначала старшеклассники читали «Пикколомини», а роль Валленштейна взял на себя господин проф. Коберштейн. – Перед нашими глазами является величественная фигура героя, который отважно преодолевает все жизненные преграды, устремляясь лишь к одной цели, сокрытой в глубинах души, но направляющей все его поступки. А вокруг него – толпа полководцев; одни в трусливом эгоизме пресмыкаются перед героическим величием своего повелителя, другие хранят вер-



ность ему одному и заботятся о его благе, как о своем собственном. От них сильно отличается императорский придворный, искусный во всех уловках и красноречии, но все равно терпящий поражение от властного величия Валленштейна. И только Шиллер мог столь ясными чертами обрисовать нам возвышенный характер этого героя, вознесшегося над своим временем и гордо взирающего вниз на все низменное. —

Вторую часть подготовительного дня заняло представление по «Колоколу» на музыку Ромберга. Силою звуков это благородное произведение перенесло нас во все ситуации и картины жизни, которые развертывает перед нами «Колокол». Нас охватывал страх при виде суматохи пожара, мы сопереживали, слыша печальные жалобные напевы, мы ужасались при звуках диких мелодий революции, наконец наши души вновь успокаивались в мягком пении хоров мира. Едва утихли последние звуки, на сцену вышел господин проф. Коберштейн и завершил подготовительный день исполнением благородного «Эпилога» Гёте. —

На следующий день лекций из-за торжества не было. В десять снова состоялся торжественный акт в спортивном зале, начавшийся исполнением двух шиллеровских хоров — «Товарищи, вперед!» и «Радость, искра Божья». Потом стихи некоторых старшеклассников звучали вперемешку с ариями и балладами, пока, наконец, на сцену не поднялся господин проф. Коберштейн, чтобы прочитать юбилейную речь. Он вызвал в нашем воображении время, в которое появился Шиллер, затем говорил о его литературной значимости для немецкой нации, а закончил той мыслью, что «этот национальный праздник — важное предвестие пробуждающегося национального чувства немцев, и можно связывать с этим торжеством прекрасные надежды на будущее». —

Потом, после торжественного обеда, в три часа начались всеобщие гуляния. Последующие часы каждый провел за чтением творений Шиллера и т. д., пока, наконец, торжества не закончились в десять часов танцами. А старшеклассники еще до поздней ночи развлекались на балу. Утро снова ввело нас в колею обычной жизни, но во всех умах осталась жить высокая, благородная идея, а именно, что манам Шиллера нужно принести достойную памятную жертву. —

1860

Друг мой верный, скажи, почему не писал так давно ты?  
Долго посланий я ждал, считая и дни, и часы.  
Друга письмо – ведь радость сладчайшая в жизни,  
Как для скитальца в глуши – брызжащий влагой родник.  
Весть о здоровье твоём – и та для меня драгоценна:  
Сходной с твоею тропой шел ведь когда-то и я,  
Много и горя, и счастья вкушая с тобою совместно,  
Стала тяжелая ноша в дружбы союзе легка.  
Да, мне известно: школьные годы – тяжелые годы,  
Но не страшила меня тяжесть труда никогда.  
Часто стремилась душа из рабских оков на свободу,  
И в одиночество сердцу хотелось бежать<sup>77</sup>;  
Но и этот гнет облегчает мне верная дружба,  
Что/ нашим душам всегда утешенье и бодрость несет.  
Нет у друзей ничего, что один бы таил от другого;  
Душу раскроют с доверьем друг другу в беседе они.  
Если ж их делит разлука, дали любовь одолеет,  
И, облачившись в письмо, до одиноких дойдет.  
Милый мой! Близок тот день, когда мы увидимся снова  
И долгожданной беседой себя утолим, наконец.  
Но коротка будет радость! Ведь скоро уеду я снова,  
И не в Пфурту свою, где строгость повсюду царит,  
И не под Фихтеля<sup>78</sup> мрачную сень, а в родные пределы!  
Ах, дорогим мне местам отдаю я последний привет!  
Но не разлуке прервать душ неизбывную скрепу,  
*Et manet ad finem longa tenaxque fides!*

*Пфурта, 6 марта 1860*

---

<sup>77</sup> Долгая, крепкая верность пусть будет такой до конца! (*лат.*).

# Моя каникулярная поездка

*Пфорта 1860, дни летнего жара*

Мы поднялись рано, в три часа; утро было прохладным, пасмурным, можно было ждать дождя. Молча шли мы по полям, бросая иногда взгляды назад, на милый дом, оставшийся у нас за спиною. Небо становилось все темнее, тучи – все тяжелее, а когда мы переехали через Заале, упали первые тяжелые капли. Невдалеке завиднелась железная дорога, еще десять минут, и мы на месте. Дождь все сильнее; он стремительными шагами идет вперед.

Приближающийся грохот; и вот поезд, громыхая, подъезжает к нам.

Мы подбегаем, запыхавшись; путевой обходчик дает нам знак поспешить; мы садимся в вагон; поезд трогается. Поразительно – мы промокли до нитки и с головы до ног были в поту, но все обошлось. Мы проезжаем мимо Мерзбургга; в Галле мы останавливаемся. Я был поражен теми изменениями, которые произошли в этом городе всего за несколько лет; приятные, современные дома и лавки всюду, где раньше стояли черные, островерхие строения с высокими крылечками. Маленькое дело, еще задерживавшее дядюшку, скоро была улажено; потом мы направились на почту и записались в пассажиры. Спустя небольшое время подъехал почтовый экипаж, мы сели и понеслись в сторону Айслебена. Небо посветлело. Длинные яркие лучи лежали на широких полях, между ними плыли минометные тени проносащихся облаков. Мы долго смотрели на заведение для душевнобольных, немедленно вызывающее у человека цепочку печальных мыслей. Длинное белое здание странно выделялось на фоне светлой, сочной зелени, окружавшей его со всех сторон. Потом дорога становится более однообразной; там и сям виднеются глухие пустоши, но общую кар-

тину образует постоянное чередование зеленых, белых и желтых полей. Я начал присматриваться к попутчикам. Рядом со мной сидел мужчина, который, казалось, был всем доволен и с добродушной усмешкой кивал на все, что говорил ему сосед. Тот, напротив, пребывал в постоянном возбуждении; поток его речи невозможно было остановить ничем. Он распространялся главным образом о своих имущественных обстоятельствах; человек с деньгами, но без образования. Характерно, что он все время говорил о министре Б... Х..., то и дело сильно нападая на него, но всякий раз добавлял: «Хоть он человек и весьма склонный к мздоимству, этот Б. Х., но зато какой же он ласковый!» А потом обычно сообщал о своих с ним встречах во всех подробностях. Мне это показалось своего рода гордыней, ведь честь вступить в близкие сношения с министром выпадает не каждому. – Когда мы миновали Лангенбоген, местность стала интереснее. Дорога, поднимаясь, начала извиваться, пока наконец, свернув под углом, мы не увидели внезапно перед собой обширную гладь Соленого озера. Вокруг зеленые цепи холмов, виноградники, в сияющих золотом волнах – лесистая коса, которую народ прозвал «чертовым мостом», что основано на легенде, по всей Германии в многообразных вариантах увивающейся вокруг множества мостов и мельниц. Вскоре прелестный вид повторился: справа от нас возникло Сладкое озеро. Прекрасные спокойные воды, маленький, приятный на вид озерный замок, зеленеющие гряды гор – все это плавно перетекало друг в друга, соединяясь в восхитительную картину. Если добавить еще ясное, чистое эхо, которое почтальон будит своими мелодиями, то получится верный снимок окрестностей. –

Теперь перед нами открылась зеленая холмистая местность; тщетно я расспрашивал о Хольццелле, месте обитания дяди Иммермана<sup>7</sup>; никто не смог дать мне сведений об этой арене студенческих выходов, о которых я не могу думать без смеха.

Наконец мы приехали в Айслебен. Мы высадились у почты, отправились в гостиницу и подкрепились там едой и питьем. Рядом с нами за стол сел человек, который, казалось, был завсегдагем гостиницы; вскоре благодаря глупым замечаниям и наглым, бесстыдным речам он завладел беседой, вращавшей-

ся поэтому, разумеется, вокруг совершенно ничтожных предметов. Мы никак не реагировали. Тогда он, чуя рядом с собой духовное лицо, внезапно принялся самым подлым образом нападать на «попов, этих кровопийц народа и т. д.».

В четыре часа мы снова сели на почтовых. Дорога к Мансфельду, правда, все время виляла туда-сюда, так что мы ехали чуть ли не по кругу, но в конце концов привела к цели. Сам замок чудеснейшим образом отреставрирован новым владельцем, господином ф. д. Реке. Мы имели удовольствие ехать вместе с этим «высокородным» господином; он необычайно любезно беседовал с нами. Дядюшка, чьим патроном он является, не может нахвалиться на его христианские принципы. – Мы не остановились и в Мансфельде. Чем ближе к месту, тем живее было мое ожидание. Потом мы пошли пешком; местность становилась все прекрасней. Чем выше мы подымались – а почти весь путь был непрерывным подъемом, – тем теснее обступал нас лес. В нем попадались просветы – в стороне тянулась длинная гора с изумительной зеленью, в долинах плодородные нивы, за ними голубые горные цепи. Наконец вдалеке завиднелась высокая башня. Мы увидели нескольких мужчин, усердно коловших дрова. Вокруг был только густой зеленый лес.

Еще шаг – и вдруг мы оказались в деревне, а через несколько мгновений и в доме милого дядюшки. Старая экономка, уроженка Наумбурга, встретила нас с радостным ликованием. Оба мы немного утомились, но обильный ужин вернул нам силы. С самого начала я чувствовал себя здесь уютно, как нигде. После ужина дядюшка принялся играть на своем эолодиконе<sup>80</sup>. Малиновым звоном разнесся нежный звук, другие последовали за ним в чистейшем благозвучии, и внезапно гармония чудно разрослась. Могучий поток звуков, возвышенных, проникнутых глубочайшим чувством, полился в строгих церковных ладах.

Вечером мы еще спели все вместе духовный гимн, для чего пришла и дядюшкина экономка. Потом дядя провел вечернее богослужение. Этот прекрасный обычай здесь соблюдают неизменно. –

Следующий день я провел в безделье; дядюшка показал мне все свои владенья. Сам дом прост, но просторен, в нем есть множество больших комнат, есть кладовые, кухня, погреб,

чердак. Во дворе много строений, амбар и маленький огород, которые разбил сам дядюшка. Колодец с очень хорошей свежей питьевой водой. На расстоянии нескольких шагов расположен большой плодовый сад, невероятных размеров правильный прямоугольник. Самые разные породы деревьев, плодовые деревья, между ними овощные грядки. Четвертую часть сада занимают цветочные клумбы; маленькая беседка, окруженная кустами, стала моим излюбленным местопребыванием. – Вся жизнь здесь была чрезвычайно уютной и простой. Я часто находился наверху, в большой комнате, в то время как дядя работал внизу. Здесь я нашел прекрасные книги, потом мне прислали еще мои собственные. Я постоянно приятнейшим образом занимался. Много написал и сочинил много музыки. – Много играл я и на восхитительном эолодиконе – это было удовольствие, которым я никогда не пресыщался.

На следующий день перед обедом я получил письмо от моего друга В. Пиндера. Из-за разных обстоятельств он не сможет встретиться со мной в Корбете, но хотел бы подъехать позже, – это сообщение очень меня обрадовало. В надежде найти его после обеда у почты в Мансфельде я пошел за ним. Но я обманулся: он не пришел. И я отправился один назад, через прекрасные леса. –

Это было в субботу. Все утро дядюшка усердно готовился. Я увидел его только перед тем, как идти в церковь. Церковь маленькая, но очень приятно украшенная; прихожан там все время много. Но что за изумительную речь произнес дядюшка! Какая сила была в этой проповеди! Каким убедительным было каждое слово! Я еще помню почти все мысли, которые высказал дядюшка. Он говорил о примирении, основываясь на изречении «неся свой дар к алтарю, прежде примиришься с братом твоим». Был как раз день причастия; сразу после проповеди вперед вышли два чиновника из деревни, люди образованные, но издавна враждовавшие друг с другом, и помирились, подав друг другу руки. Вот это называется успех! После проповеди я еще остался с дядюшкой, потому что было еще крещение. Вниз спустился господин кантор и приветствовал нас. Какой это любезный человек! Длинная прямая фигура, худой, несколько обвисший, но еще очень крепкий, с очень дружелюб-

ным лицом, хранящим выражение покоя и удовлетворенности. И при этом столь скромный, столь тихий, что день ото дня любишь его все больше. Дядюшка пригласил его к нам на обед. После обеда мы посоветовались насчет того, чем заняться дальше. В три часа мы вышли из дома и долго шли по густому зеленому высокоствольному лесу. Что за возвышенные впечатления дарит такая лесная прогулка! Внезапно мы вышли на открытое место; перед нами расстилалась широкая даль. Мы увидели очаровательную картину. Стояли мы на горном склоне, поросшем вереском; перед нами лежали золотые нивы, так называемые Гольдене Ауэ, а ближе четко вырисовывались башни Зангерхаузена. Дальше за ним – горы Киффхойзер, а совсем у горизонта – голубая цепь Тюрингенского Леса. Горы и доли, леса и нивы составляли живой красочный ландшафт. –

Мы пробыли здесь долго. Потом другим путем вернулись домой. –

На следующий день я снова получил письмо от В., которое меня очень порадовало. Дождь, помешавший ему приехать в условленный день, все-таки не отбил у него охоту, и он рассчитывал прибыть после обеда. Мы послали мальчика в Мансфельд, но решили вечером выйти ему навстречу. – На половине пути мы его встретили и очень обрадовались свиданию. Весь день прошел за веселыми разговорами. –

Вторник тоже принес много радости; после обеда мы совершили чудеснейшую прогулку. Сперва сильно пекло солнце; в конце концов с чистого поля мы перешли на свежие сочные луга, а потом – в прохладный лес. Мы сделали привал в хижине углежогов. Постройка меня заинтересовала, потому что я еще не видел ничего подобного. В землю по кругу были вбиты стволы деревьев, концы которых соприкасались, образуя нечто наподобие высокого шатра. На них были навалены земля и дерн, достаточно надежно защищавшие от дождя и ветра. Внутри хижины было несколько скамеек, а вообще она казалась давно необитаемой. Поблизости от нее мы обнаружили и множество мест обжига. Увидеть, как это происходит, у меня не вышло; наверное, для этого было неподходящее время года. –

Наконец мы вышли из леса и оказались на довольно крутом склоне, а перед нами были голубые горы Гарца. Мы осмо-



трели их вершины в подзорную трубу; мне удалось разглядеть крест на Йозефсхёе, потом во всей красоте четко показались Викторсхёе и Брокен. Как хотелось бы перенестись на несколько миль, отделявших нас от этих притягательных мест! Глаза сразу видят место издалека, но дух уже давно там и наслаждается, хотя косное тело не может следовать за ним. –

На следующий день мы наконец увидели прекраснейшее место, какое есть в ближайшей округе, – Раммельсбург<sup>81</sup>. Поскольку милый дядюшка остался дома, чтобы ухаживать за приболевшей экономкой, господин кантор со своей обычной любезностью тотчас вызвался проводить нас. Казалось, погода собирается испортиться. Над нашими головами нависла кипящая, мутная грозовая туча. Но мы не испугались, а стали искать самые короткие пути, чтобы дойти до места как можно скорее. Справа тянулись густо заросшие лесом горные вершины, таявшие в прекрасной синеве, перед нами луговая долина, пересеченная множеством ручейков и примыкавшая к мрачному бору. Мы пошли через нее; путь шел наверх, наконец мы увидели какое-то изящное строенье, которое называлось домиком швейцаров. Мы поспешили к нему, не сводя с него глаз, пока не оказались на его галерее, откуда была видна вся округа. Какое это было восхитительное зрелище! Перед нами на заросшей лесом горе лежал Раммельсбург, а пониже нас, и справа и слева, повсюду горные цепи с густыми борами, один выше другого, – своей зеленью они произвели на меня самое приятное впечатление. За ними – голубые горы Гарца. Нельзя и представить себе более притягательного лесного ландшафта! Изящный контраст гор и долин, старый замок, аромат, исходивший от лесов, наконец синее небо, раскинувшееся над головой так тихо, так покойно! Из долины доносился плеск струй Боде<sup>82</sup> – только он и нарушал тишину, больше не слышалось ни звука; даже самого тихого. Мы полностью погрузились в созерцание; в немом восхищении мы замерли – каким уютным казалось нам лесное уединение<sup>83</sup>! – Наверху, на стенах дома, я обнаружил стихотворную строку, написанную малиновой краской, – казалось, она вся порождена именно таким чувством. Нашел я и имена мамы и Лизы, оставленные здесь ими год тому назад. К ним я добавил и свое. Мы оставались там, наверное, целый

час. Потом господин кантор по нашему желанию повел нас в Раммельсбург. Чтобы не идти обходными тропами, мы пошли напрямик вниз, перебрались через бурный, изобиловавший форелью лесной ручей, и поднялись наверх, на другую сторону. Мы увидели еще несколько групп романтических туристов; тут мы внезапно оказались на краю склона, вызвавшего у нас изумление и ужас, какие вызывает вид шальной лошади. Но самое прелестное зрелище за весь путь ждало нас наверху. Вся долина Бодэ с ее зеленым ковром, зеленые воздушные горные цепи по ее краям, отдельные домики у подножья горы, принадлежащие к Раммельсбургу, ручей, серебристой змейкой струящийся по зелени и где-то вдалеке сливавшийся с лесом и лугами, – все это казалось мне самой восхитительной картиной, какую я когда-либо видел. Мы еще немного отдохнули здесь наверху, а потом двинулись в обратный путь. Господин кантор рассказывал нам самые приятные истории из своей жизни, особенно относящиеся к 1813–1815 годам. Как я огорчился из-за того, что чуть не забыл прелестную историю об одном из шиллевских егерей<sup>84</sup>! Вечером мы снова вместе поужинали, дядюшка был очень весел и рассказал нам много всего смешного.

Ночью немного шел дождь; утром пришел господин суперинтендент фон Бонекау, чтобы ревизовать школу. Мы отправились в сад, где набросились на вишневые деревья, – занятие, которому мы вообще предавались весьма ревностно. Господин суперинтендент позавтракал с нами и пригласил нас ехать с ним в Мансфельд, но дядюшка отказался. После обеда мы отправились к Костяному источнику – он бьет из склона в лесу и выносит наружу маленькие косточки. Мы собрали их множество, и я попытался объяснить их самым странным образом; однако, скорее всего, дело обстоит так, как сказал старый лесничий: что это кости лягушек, которые залезли туда зимой и погибли, а потом струи вымыли их кости из почвы. Дорога была немного сырой. –

На следующий день мы посетили новое место – лесную крепость Грилленбург<sup>85</sup>. Мимо крышки<sup>86</sup> дорога вела через прекрасный еловый лес, потом немного терялась в густом кустарнике, но снова выныривала на солнечной земляничной поляне.

Потом она шла немного вниз, потом снова вверх и наконец мы оказались перед прекрасно расположенной крепостью. Мы тотчас взобрались на высочайшую часть стены и восхитились видом прекрасных лесов, которые расстилались перед нами, являя взору чудесные краски. Справа перспектива была более открытой. У наших ног лежала милая деревушка. За нею – Гольдене Ауэ. Горизонт замыкали вершины Тюрингенского Леса. Дядюшка рассказал нам следующую историю, связанную с этим. Владетели Грилленбурга похитили некогда невесту графа Мансфельдского. Безутешный граф переоделся трубадуром и стал ездить по всем окрестным замкам, всюду распевая одну песню, которая, как он знал, была хорошо известна его любимой. Наконец он приехал и в Грилленбург; у его стен он начал печально петь свою проникновенную песнь. Внезапно ему ответил знакомый голос, тихонько подпевая ту же мелодию. Певец, вне себя от радости, помчался в Мансфельд, ночью со своими людьми напал на Грилленбург, и вот уже он везет домой в качестве прекраснейшей добычи свою возлюбленную. – Следующим днем была суббота; она была значительным днем, потому что в субботу было принято решение о наших ежемесячных взносах<sup>87</sup> и общей кассе. Мы с В. гуляли по лесу; тут мы присели и стали совещаться по этому поводу. Сперва план распространялся только на поэзию и науку. Музыка еще не рассматривали. Возник спор из-за некоторых требований и условий. Наконец мы уныло умолкли и молча пошли назад в дядюшкин сад. Здесь-то наши языки и развязались; обе стороны сделались более сговорчивыми. – Решили каждый год в этот день отмечать праздник, и притом в Рудельсбурге; для этого каждый должен вносить свою лепту в письменном виде, а потом вслух читать написанное наверху, на башне. –

Близился конец нашему совместному пребыванию. Снова было воскресенье, а во вторник В. хотел непременно уехать. – После завтрака мы снова слушали великолепную проповедь. На обед снова был приглашен господин кантор. Сходя в церковь на молитвенный час, во время которого дядюшка экзаменовал детей по катехизису, мы все вчетвером отправились погулять. Сегодня мы разыскали остатки разоренной деревни. Это место было покрыто густым лесом и кустарником, сквозь ко-

торый невозможно было продрагаться. Можно было различить только место, где находилось кладбище; все остальное заросло до неузнаваемости. Потом мы принялись искать землянику и нашли ее довольно много. Вернувшись домой, мы завершили день под веселые разговоры. Хотелось бы мне еще привести много прелестных историй, которые рассказал нам дядюшка; но каким же пустым кажется мне все написанное в сравнении с живым устным словом! Когда кто-то рассказывает нам историю, она тотчас пробуждает личный интерес; но если этого нет, то многое кажется нам совершенно незначительным и ничтожным. —

Следующий день предназначался для сборов. Дядюшки не было дома с десяти утра до четырех пополудни — он был на дне рождения у священника из соседнего местечка. Это время мы, не принявшие дядюшкиного приглашения присоединиться к нему, провели за переписыванием прекрасных стихов и народных песен, которых еще никогда не видали, и за чтением да игрой на эолодиконе. После обеда мы еще сходили к господину кантору, чтобы попрощаться. Он снова был необычайно любезен. Потом мы захотели выйти навстречу дядюшке, но едва вышли, как встретили его. Мы еще очень приятно провели вместе вечер, слушая дядюшкины рассказы о своей жизни, по большей части относившиеся к его поездкам; наш интерес при этом не ослабевал ни на минуту. —

Наконец подошел печальный вторник нашего отъезда из Горенцена; я был удручен и предпочел бы остаться здесь еще на несколько деньков. Но так уж, видно, было суждено! —

Мы встали немного раньше, чем надо, попили кофе, позавтракали и пустились в дорогу после многочисленных прощаний. Дядюшка провожал нас изрядный кусок пути. Потом он ушел; мою душу переполнила грусть. Какими несоразмерными были те немногие слова благодарности, которые я смог ему сказать, — слова благодарности за всю радость, за все прекрасные часы! И как раз теперь, когда дедовский дом закрылся для меня навсегда, это столь дорогое сердцу место показалось мне таким благодатным, таким отрадным. —

Первая часть пути была чудо как хороша. Дорога шла то через роскошнейшие луга, на которых еще сверкала утренняя

роса, то через самые мрачные еловые леса; те и другие непрестанно сменяли друг друга. Как часто мы с тоской глядели назад, на эту великолепную местность! –

Теперь мы все скорее приближались к равнинам нашего отечества; мы замечали это по постоянному понижению дороги. На горизонте долго светилось белое пятно тумана; это было Сладкое озеро. Вскоре вдали показались башни Айслебена. Солнце немного пекло, и мне хотелось поскорее оказаться там. Прибыв, мы сразу отправили с почтой наш багаж, потом двинулись в гостиницу и там немного подкрепились. После этого пошли посмотреть домик Лютера, куда нас проводил какой-то почтенный ремесленник. Семинарист встретил нас и провел сначала в залу, где было очень много памятных вещей, связанных с Лютером. Рукописи, портреты кисти Лукаса Кранаха, все курфюрсты Саксонские, Лютеров лебедь<sup>88</sup> и много чего еще. В соседней комнате выставлены очень ценные старинные картины, изображающие конец света, крестную смерть Христа, воскресение, многие из которых написаны Лукасом Кранахом, а прочие – другими прославленными мастерами. Потом мы спустились по лестнице и оказались в комнатке, где родился Лютер, тоже украшенной множеством картин. Времени у нас было немного, поэтому вскоре мы ушли оттуда и нанесли визит господину старшему пастору Яру, бывшему суперинтенданту Наумбурга. Он принял нас самым любезнейшим образом и был немало удивлен, когда через полчаса мы стали раскланиваться; он очень мило принялся уговаривать нас побыть еще. Его сын, ученик выпускного класса, проводил нас до почты. Вскоре мы уже ехали. Весь день мне сильно нездоровилось. На скучном, пыльном шоссе мне становилось все хуже; я пытался спать, но все время просыпался от громкой болтовни попутчиков. В ней особенно отличался один юный стюард, добродушный повеса, который, несмотря на свои постоянные разъезды, кажется, так еще и не понял, что и вся жизнь – только поездка, но поездка к вечному пункту назначения. – В Галле мы сошли. Мой друг отправился еще навестить родных, а меня мальчик, несший мой багаж, отвел на вокзал. Немилосердно петляя, я добрался туда, пошел в железнодорожную гостиницу и попытался там рассеять свое неважное самочувствие чтением

и едой. В шесть вечера я вышел на вокзал, но там меня охватил настоящий ужас, потому что кто-то принялся заверять меня в том, что наумбургский поезд уже стоит на путях. Наконец подошел мой друг, а после долгого ожидания и поезд, который понес нас в Наумбург. Когда мы сошли там с поезда в полдевятого, начался порядочный дождь. Мы были рады, что счастливо добрались до дома и каждый из нас смог освежить покойным сном усталые члены и утомленный дух. На этом поездка закончилась, и она во многих отношениях была самой приятной, в какой я бывал за долгое время. Жаль только, что последний день обратного пути прошел для меня так нехорошо! На следующий день я с моим другом сразу написал дядюшке, много раз благодаря его и рассказывая об обратном пути. – Что добавить к этому? Моя задача решена, моя цель достигнута.

1861

## Мой жизненный путь [I]

Человеку, для которого важно собственное нравственное и умственное развитие, не может и не должно быть неинтересно оглядываться на пройденную часть жизненного пути и относить сделанные выводы к ее важнейшим событиям. Ведь хотя в нас в скрытом виде уже имеются зародыши духовных и нравственных способностей, а костяк характера словно дан каждому человеку от рождения, но воздействующие извне условия, в своем пестром разнообразии затрагивающие человека то глубже, то мимолетнее, обычно формируют его таким, каким он предстает в зрелом возрасте как в нравственном, так и в умственном отношении. Поэтому благоприятные условия жизни, также как и неблагоприятные, могут оказаться как полезными, так и вредными – в зависимости от того, какие из различных зародышей плохих или хороших наклонностей они пробуждают. А ведь как часто люди считают счастливыми богатых, знаменитых, вообще баловней удачи и как часто не осуждают как раз то их место в жизни, которое и ввергло их в порок и смятение души и пробудило в них склонности, лишившие их радости жизни. Если такое обвинение в адрес судьбы оправданно, если вообще справедливы все сделанные ей упреки, то эта распределяющая сила должна быть либо слепой, либо принципом несправедливости. Но вверять существу не мыслящему и не различающему высшие интересы человечества – так же немислимо, как доверять чему-то исконно злему. Ведь абстрактное, бездушное творческое начало может направлять наши судьбы так же мало, как исконно злое существо, поскольку в первом случае бездушное существовать никак не может – ибо все, что существует, является живым, – а во втором случае оставалось бы необъяснимым врожденное человеку влечение к добру. Во всем тварном есть иерархические ступени, которые должны распространяться и на существа незримые, раз уж сам мир, очевидно,



исходно есть душа. Поэтому мы видим прогресс жизни, начинающей с камня, вообще будто бы со всего прочного, застывшего, затем переходящей к растениям, животным, человеку и заканчивающей на земле, в воздухе, в небесных телах, в космосе или пространстве, в материи и времени. Должна ли тут быть граница и конец? Должны ли абстрактные понятия быть творцами всего сущего? Нет, над вещественным, пространственным, временным возвышаются изначальные источники жизни, они должны быть выше и духовнее, жизненная сила должна быть в них бесконечной, творческая способность – безграничной.

Вторую иерархию образует возрастающее усложнение духовных способностей, и здесь во главе всего зримого стоит человек, поскольку он обладает наибольшим объемом духовности. Но несовершенство и ограниченность человеческого духа, который должен был бы со всей ясностью познавать мир, если он – изначальный дух, заставляют наши взоры обратиться к более высокой, возвышенной духовной силе, из коей, как из первоисточника, проистекают все другие духовные силы. Поэтому можно обнаружить еще много таких иерархий, как, например, возрастающий прогресс всего материального, пространственного, временного, морали и т. д. Но все они – и это важное обстоятельство – неизбежно означают для нас, во-первых, существование вечного существа, а во-вторых, и его качества. Распределение судеб может зиждиться только на некотором добром существе, и притом на принципе добра, и мы не должны дерзко подымать покрывало, скрывающее руководство нашими жизненными путями. Да разве человек со своими столь мало развитыми духовными задатками в состоянии понять возвышенные планы, которые измыслил и выполняет изначальный дух! Нет никаких сомнений: все, что ни случается, имеет смысл, и чем больше исследует и ищет наука, тем яснее становится мысль – все, что существует или происходит, является звеном некоей сокровенной цепи. Погляди на историю – не думаешь ли ты, что числа в ней выстроены без всякого смысла? Погляди на небо – не считаешь ли ты, что небесные тела вращаются по своим орбитам без порядка и закона? Нет, нет! Все, что происходит, происходит не на авось – высшее существо руководит всем тварным расчетливо и с умыслом.

## Мой жизненный путь [II]

Странное настроение охватывает меня всегда, когда я оглядываюсь на протекшие годы и воскрешаю в памяти давно ушедшее время. Лишь тогда я понимаю, какое множество событий воздействовало на мое развитие, как ум и сердце формировались под влиянием окружающих меня условий. Ведь хотя основные черты характера словно врождены каждому человеку, но формируют эти необработанные зародыши лишь время и условия, они налагают на них определенные формы, которые потом, сохраняясь длительное время, затвердевают и становятся неизгладимыми. И вот, если я погляжу на свою жизнь, обнаружится множество событий, влияние которых на мое развитие несомненно. Эти происшествия, правда, имеют значение лишь для меня, а внимание других людей, скорее всего, не привлекают.

Батюшка мой был священником в Рёккене, деревне, расположенной недалеко от Лютцена и растянувшейся вдоль сельской дороги. Она окружена множеством больших прудов, отчасти – зелеными лесами, но в остальном ее положение не назовешь ни красивым, ни интересным. Здесь я и родился 15.10.1844 и получил в соответствии с днем рождения имя Фридрих Вильгельм<sup>89</sup>. То, что я помню из первых лет своей жизни, слишком незначительно, чтобы об этом рассказывать. Уже очень рано во мне развились различные качества – некоторая созерцательная упокоенность и молчаливость, которые легко удерживали меня вдали от других детей, а кроме того, проявлявшаяся временами бурная страстность.

Особенным был для меня год 1848-й. Он был полон новых впечатлений; я узнал, что такое армия, – у нас были расквартированы гусары. Разлившаяся революция пощадила наше местечко, но я еще хорошо помню, как нередко видел на сельской дороге телеги с большими пестрыми знаменами и распевав-

шими песни людьми. Еще значительней этот год стал для меня из-за болезни моего отца, которая продолжалась еще весь следующий год, а потом быстро привела к концу. Это было воспаление мозга, по своим симптомам разительно похожее на болезнь блаженной памяти короля. Несмотря на превосходное лечение гофрата Опольцера, позднее – императорского лейб-лекаря при Австрийском дворе, болезнь приняла бурное течение. В нашем доме воцарились тревога и опасения, а ведь раньше он был приютом безмятежного счастья. И хотя я не понимал полностью размеров грозящей опасности, печаль и страх домашних производили на меня тревожное впечатление. Страдания отца, слезы матери, озабоченное лицо врача, наконец. Беспечные откровения соседей заставляли меня предчувствовать надвигающуюся беду. И вот беда в конце концов пришла.

То был первый из трагических периодов, наложивших особую печать на всю мою жизнь.

## Мой жизненный путь [III]

Я родился в Рёккене, деревне, лежащей неподалеку от Лютцена и растянувшейся вдоль сельской дороги. Ее окружают ивняки, отдельные тополя и вязы, и если глядеть издалека, то сквозь зеленые макушки проглядывают лишь дымовые трубы да старинная колокольня. Внутри деревни лежат широкие пруды, разделенные только узкими полосками земли, а вокруг лишь свежая зелень и узловатые ивы. На небольшой возвышенности стоят дом священника и церковь, первый из них окружен садами и деревьями. К ним примыкает кладбище, полное провалившихся надгробий и крестов. Сам пасторский дом осенен тремя прекрасно разросшимися, раскидистыми вязами и на каждого гостя производит приятное впечатление солидной постройкой и внутренним убранством.

Я родился здесь пятнадцатого октября 1844 года и в соответствии с днем моего рождения получил имя «Фридрих Вильгельм». То, что я помню из первых лет своей жизни, слишком незначительно, чтобы об этом рассказывать. Различные качества развились во мне уже очень рано. Например, некоторая склонность к покою и молчаливости, благодаря которой я с естественностью держался вдали от других детей, но при этом была у меня и прорывавшаяся иногда наружу страстность. Незатронутый внешним миром, я жил в счастливом семейном кругу; моим миром была деревня и ближайшие окрестности, а все, что подальше, было для меня неизвестным заколдованным царством. – Ясное небо, которое до той поры улыбалось мне, внезапно омрачилось черными, несущими беду тучами. У моего отца обнаружилась опасная болезнь, причин для которой мы не видели. Проницательный взгляд гофрата Опольцера тотчас распознал симптомы размягчения мозга. Состояние отца становилось все более тяжелым, все более опасным. Растущие страдания отца, его слепота, его изможденный вид, слезы матери,

озабоченное выражение на лице врача, наконец, неосторожные откровения сельчан неизбежно вызвали во мне ощущение грозящей беды. И эта беда разразилась – мой отец умер. – Я обхожу молчанием свою боль, свои слезы, страдания моей матери, глубокую скорбь всей деревни. Как поразило меня погребение! Как поразили меня до глубины души глухие удары погребального колокола! Я впервые почувствовал, что осиротел, что стал безотцовщиной, что потерял дорогого отца. Его образ еще и сейчас жив в моей душе: высокая худая фигура, тонкие черты лица, благожелательная любезность. Его всюду любили и часто приглашали, как ради его остроумной беседы, так и участливой душевности; чтимый и любимый крестьянами как священник, приносящий благодать словом и делом, домашними – как нежнейший супруг, любящий отец, он был совершенным образцом сельского пастора.

Ах, они похоронили  
Доброго человека,  
Для меня же он был чем-то бóльшим!

Несколько месяцев спустя меня коснулась другая беда, которую мне было дано предвидеть в одном странном сновидении. Мне снилось, будто я слышу глухой звук органа, доносящийся из близкой церкви. Пораженный, я открыл окно, обращенное к церкви и кладбищу. Гроб моего отца раскрылся, из него поднялась белая фигура и исчезла в церкви. Разнесся мрачный, жуткий рокот; белая фигура появилась снова, неся под мышкой что-то, чего я не различил. Вздывается могильный холмик, фигура погружается в него, орган смолкает – и я пробуждаюсь. На следующее утро судороги охватили моего младшего брата, живого и одаренного ребенка, и через полчаса он был мертв. Он был похоронен прямо в могиле моего отца. –

Для нас наставала пора покинуть наши дорогие родные места. Последний день, последняя ночь все еще особенно живо стоят перед моими глазами. Вечером я еще играл с детьми, понимая, что это в последний раз, а потом попрощался с ними, как и со всеми местами, ставшими для меня милыми и родными. Звон вечернего колокола печально разнесся над полями, тус-

кляя тьма легла на нашу деревню, взошла луна, бледно взглянув на нас с высоты. Я никак не мог заснуть; я беспокойно метался по постели и наконец поднялся. На дворе стояло множество груженных телег, тусклый свет фонаря освещал пространство двора. Еще никогда будущее не казалось мне таким темным и неизвестным. Едва забрезжило утро, запрягли лошадей; мы тронулись в путь сквозь утренний туман, в печали говоря последнее прости нашей милой родине.

Наумбург, цель нашей поездки, поразил меня до глубины души. Там все было таким новым – церкви и дома, людные площади и улицы – все это возбуждало мое изумление и поначалу приводило в смятение все мои чувства. Окружающая местность тоже оказалась для меня привлекательной – своими прекрасными горами и долинами рек, замками и крепостями она оставляла далеко позади сельскую простоту моих родных мест. Вскоре я начал и свой школьный путь – после достаточных подготовительных занятий меня отдали на обучение в институт. Это время сделалось для меня особенно значительным еще и потому, что тогда я познакомился с двумя мальчиками, крепкая дружба с которыми связывает меня и сейчас. Круг моих знакомств и вообще расширился; меня любезно принимали во многих семьях, я начал чувствовать себя как дома, и на душе у меня стало тепло. В общении с друзьями я проводил радостные и счастливые часы; наши души обретали все более крепкую связь благодаря схожим интересам, схожим желаниям, так что мы вместе вкушали и переносили и радости, и печали. Какими незначительными кажутся горести детских лет! Легкие, плывущие по небу облака затевают восходящее солнце; но когда солнце поднялось высоко, а земля все-таки выглядит мрачной, то это значит, что тьму на нее наводят поистине тяжелые, угрожающие тучи. – Вскоре меня признали годным и для гимназии, и я вошел под своды, на которые прежде всегда смотрел с неким тайным трепетом. Мрачные классы, строгие и ученые лица преподавателей, множество взрослых школьников, смотревших на меня сверху вниз с пренебрежением и в своем чувстве собственного достоинства едва замечавших новичков, – все это наводило на меня страх и робость, и лишь со временем я приучил себя принимать свое положение более естественно и спо-

койно. В это же время у меня появилось и множество различных постоянных интересов, некоторые из которых сохраняются и по сей день. Главным было увлечение музыкой, которое со временем только укреплялось, а теперь уже нерушимо коренится в моей душе.

Я планомерно продвигался в школе вплоть до четвертого класса и проучился в нем уже одно полугодие, когда наступила в моей жизни перемена, значительно подействовавшая на меня и в телесном, и в умственном отношении. Нам предложили бесплатное место в Пфорте; мне дали возможность принять или отклонить это предложение. У меня и раньше всегда был интерес к Пфорте, отчасти потому, что меня привлекали хорошая репутация заведения и прославленные имена прежних и нынешних его преподавателей, а отчасти потому, что меня восхищали его прекрасное расположение и окрестности. Я быстро решил согласиться и никогда об этом не пожалел. Хотя сначала я тяжело переживал разлуку с матерью, сестрой и милыми друзьями, очень скоро это чувство исчезло, и мне стало здесь хорошо и уютно. Не могу не признать, насколько благотворно воздействует на меня Пфорта, и желаю только, чтобы, уже будучи здесь, а также и позднее, я всегда проявлял себя достойным сыном Пфорты. —

Письмо к другу,  
в котором я рекомендую ему для чтения  
моего любимого поэта

19. 10. 61

Дорогой друг!

Некоторые твои высказывания о Гёльдерлине из твоего последнего письма меня весьма поразили, и я чувствую себя обязанным защитить от тебя моего любимого поэта. Я хочу освежить в твоей памяти твои собственные жестокие, даже несправедливые слова; возможно, теперь ты держишься уже другого мнения: «Как Гёльдерлин может быть твоим любимым поэтом, мне совершенно непонятно. На меня, по крайней мере, эти расплывающиеся, наполовину бредовые звуки, порожденные растерзанной, сломленной душой, произвели лишь печальное, а порой отталкивающее впечатление. Путаная болтовня, иногда мысли постояльца сумасшедшего дома, резкие выпады против Германии, обожествление языческого мира, то натурализм, то пантеизм, то политеизм, и все вперемешку, – все это неизгладимо присутствует в его стихах, правда, изложенное отточенными греческими метрами». Отточенными греческими метрами! Бог ты мой! И это все, за что ты можешь его похвалить? Эти стихи (если говорить только о внешней форме) возникли из души чистойшей, нежнейшей, эти стихи, в своей естественности и оригинальности затмевающие искусство и искушенность в формах Платена, эти стихи, то воспаряющие в возвышенном одическом взлете, то растекающиеся в нежнейших звуках печали, эти стихи ты не сумел похвалить никаким другим словом, кроме как пресным, будничным «отточенными»? И ведь это еще не самая большая твоя несправедливость. Путаная болтовня, иногда мысли постояльца сумасшедшего дома! Из этих оскор-



бительных слов мне становится ясно, что ты, во-первых, находишься в плену у безвкусного предрассудка о Гёльдерлине, а во-вторых и прежде всего, что его творения для тебя – не более чем бессвязные фантазии, потому что ты не прочел ни его стихи, ни остальные его произведения. Вообще ты, кажется, искренне думаешь, будто он писал только стихи. Поэтому ты не знаешь «Эмпедокла», этого столь важного драматического фрагмента, в меланхоличных звуках которого сквозит будущее несчастного поэта, гробница многолетнего безумия, но изложено это не путаной болтовней, как ты полагаешь, а чистейшим софокловым языком и в бесконечной полноте глубоких мыслей. Не знаешь ты и «Гипериона», который благозвучным течением своей прозы, возвышенностью и красотой появляющихся в нем образов производит на меня такое же впечатление, как прибой волнующегося моря. Эта проза и впрямь – музыка, мягкие, нежные звучания, прерываемые болезненными диссонансами, а в конце истаявающие в мрачных, жутких надгробных песнопениях. – Но сказанное касается главным образом внешней формы; теперь позволь мне добавить еще несколько слов о содержательной полноте Гёльдерлина, на которую ты, кажется, смотришь как на путаность и неясность. Хотя твой упрек и впрямь попадает в некоторые стихотворения периода его помешательства, и даже в более ранних глубокомыслие порой борется с прорывающейся ночью безумия, но куда более многочисленные стихи представляют собой чистые, драгоценные жемчужины нашего поэтического искусства вообще. Я укажу тебе только на такие стихотворения, как «Возвращение на родину», «Поток в оковах», «Заход солнца», «Слепой певец» и даже приведу для тебя последние строфы «Вечерней фантазии», в которых выражены глубочайшая меланхолия и тоска по покою.

В вечернем небе словно весна цветет,  
И рдеют розы; залитый золотом,  
Сияет мир. Меня, о вечер,  
В высь унеси в облаках пурпурных!

Пусть свет и ветер боль и любовь мою  
Легко развеют... Речью безумною

Спугнул я чудо. Все померкло,  
Вновь я остался один под небом.

И сходит сон. Мы жаждем безмерного,  
Но скоро, юность, ты отпылаешь в нас.  
И всем мечтам, и всем тревогам  
Ясная старость придет на смену.

*(Пер. Г. Ратгауза)*

В других стихотворениях, как, например, в «Воспоминании» и «Странствии», поэт возносит нас к высочайшей идеальности, и мы вместе с ним чувствуем, что она была его родной стихией. Наконец, заслуживает упоминания еще целый ряд стихотворений, в которых он высказывает немцам горькие истины, увы, слишком часто имеющие под собой основания. И в «Гиперионе» он мечет резкие, колкие слова против немецкого «варварства». Но все-таки это отвращение к действительности вполне совместимо с величайшим патриотизмом, которым Гёльдерлин и впрямь обладал в высочайшей степени. Однако он ненавидел в немцах их самоотождествление исключительно со своей профессией, их филистерство. —

В незавершенной трагедии «Эмпедокл» поэт раскрывает перед нами свою собственную натуру. Смерть Эмпедокла — это смерть из божественной гордости, из презрения к людям, из пресыщения всем земным и из пантеизма. Произведение в целом при чтении всегда потрясало меня на какой-то особенный лад; в этом Эмпедокле есть некое божественное величие. Зато «Гиперион», хотя он и кажется окруженным сиянием просветленности, полон неудовлетворенности и неисполненности; образы, созданные волшебством автора, суть «миражи, звуками, пробуждающими в нас ностальгию, раздающиеся вокруг нас, восхищающие нас, но заодно порождаящие и тоску неудовлетворенности». Но зато и нигде не звучит так откровенно и более чисто тоска по Греции, как здесь; нигде не выявляется родство душ Гёльдерлина с Шиллером и Гегелем<sup>90</sup>, его близким другом, так отчетливо.

Я смог затронуть здесь не слишком многое, но мне придется, дорогой друг, предоставить это тебе — из намеченных

мною черт составить для себя портрет несчастного поэта. Что я не опровергаю упреков, которые ты предъявляешь ему по поводу его противоречивых религиозных воззрений, то ты должен приписать это моей малой осведомленности в философии, в значительной степени требующей более внимательного рассмотрения этого явления. Может быть, когда-нибудь ты возьмешь на себя труд рассмотреть этот вопрос подробнее, а через его разъяснение пролить немного света на причины его душевного расстройства, корни которого, правда, вряд ли лежат лишь здесь.

Ты, конечно, простишь меня за жесткие слова против тебя, которыми я иной раз пользовался в своем воодушевлении; я только хотел – и рассматривай это как цель моего письма, – побудить тебя ими к знакомству и избавленному от предрассудков признанию того поэта, имени которого большая часть его собственного народа даже и не слышала.

*Твой друг*  
*ФВНицше*

1862

# Хроника «Германии»

*22 сентября 1862*

Если прошедший квартал продемонстрировал большую активность членов «Германии»<sup>91</sup>, активность, в конечном итоге достигшую апогея в крайне интересном собрании, если поэтому мы 14-го апреля этого года высказали оправданную надежду на то, что ревностная деятельность или скорее деятельная ревностность, с какой мы пытаемся организовать и расширить нашу «Германию», со временем заставит исчезнуть случайный характер прежних наших достижений, то произошло это со специальной ссылкой на политику и новейшую историю, а кроме того – в особенности на искусства, до сих пор выпадавшие из поля нашего внимания.

С апреля прошло пять месяцев, результаты которых исключительно неблагоприятны для «Германии». Помешали ли нам условия – ибо известно, как школьные работы, уроки танцев, сердечные дела, политические волнения и т. д. сметают легкие заграждения статутов нашей «Германии», – действует ли на нас лишь закон исторической необходимости, закон реакции, наступающей после большой активности (я делаю исключение для нашего друга Пиндера, который проклиная это как дело нехристианское и принципиально игнорирует обязательное обучение), это совершенно безразлично: факт остается фактом – произошло нарушение конституции, была нарушена святость статутов, и «Германия» почти погибла от внутреннего разброда, разобщенности и апатии. Финансовая халатность и незаконные характеризуют начало этого периода – как и все великие разрывы с прошлым, реформация и революция, которые возвещают о себе финансовым хаосом. – Но есть признак все еще здоровой природы нашей «Германии», и, мне кажется, он состоит во всесторонне пробуждающемся сейчас

сознании того, что все мы согрешили и нынче должны приложить усилия для удвоенной деятельности и активности. Пусть это сознание руководит нами в нынешней регенерации нашей «Германии» и даст нам подходящие способы для ее внутреннего укрепления.

Поэтому наша сегодняшняя деятельность должна сконцентрироваться преимущественно на следующих пунктах:

1. Каким образом и до каких пор каждый должен предоставлять свои еще не сделанные работы?

2. Как нам устранить наш финансовый дефицит и как отрегулировать наши правила для закупок?

3. Как нам вообще упорядочить наши правила, чтобы сделать невозможными перерасходы, как это было до сих пор?

4. Каким путем нам следует по большей части стимулировать нашу активную деятельность?

Позволю себе предложить вам короткий ответ на эти вопросы.

Прежде всего, каждый должен подсчитать сделанные им творческие взносы и посмотреть, сколько их не хватает до положенных 25-ти. Для этого нужно, чтобы каждый со всевозможной тщательностью составил список всех своих взносов и наметил определенный месяц для каждой посылки. От числа не хватающих взносов и заявок соответствующего члена будет зависеть, к какому сроку он возьмется все наверстать и восполнить. Если такие заявки будут сделаны и подтверждены письменно, то я буду ходатайствовать о принятии закона всеобщей амнистии для отдельных членов. Со своей стороны автор сего обещает, что сможет доказать свою способность предъявить все 25 статей, стихов и композиций или хотя бы, по крайней мере, что они у него уже готовы к переписке или доставке. Его прегрешения относятся скорее к области финансовой. У меня имеется примерно одиннадцать музыкальных взносов и примерно семь стихотворений и статей Густава Круга; правда, я не ручаюсь за верность этих данных, а тем более в случае Вильгельма Пиндера, когда я припоминаю всего около 16-ти статей и стихотворений.

Наш финансовый дефицит идет главным образом от покупки «Тристана и Изольды» Р. Вагнера, сделанной по пред-

ложению Г. Круга. Вызвался он сам, а теперь отказывается от прав на следующую новую покупку, и я прошу его ясно и письменно заявить об этом. Кроме того, с некоторых пор не поступают денежные взносы от некоторых членов, к числу которых автор относит и себя самого; похвалы за в общем-то пунктуальные взносы заслуживает член общества Г. Круг. Я покорнейше прошу всех определить сроки, к которым они наверстают недостающее. Напоследок я призываю казначея твердо установить в этой хронике управление имуществом «Германии» и скрупулезнейшим образом исчислить расходы и доходы.

Что касается третьего пункта, установления правил, то я ожидаю того предложения от членов общества, которое мы обсудим в общей дискуссии.

Остается еще полностью одобрить уже сделанное мною предложение насчет похвал как специального поощрительного средства для отдельных членов общества и письменно изложить определенные сроки.

В заключение я позволю себе еще одну просьбу – продлить должность хрониста до самого Рождества, поскольку до сих пор я не мог развить никакой деятельности в этом направлении. В своем обзоре достижений за прошедший год я привяжу Рождество к нашему пасхальному синоду и отрецензирую по месяцам сделанные членами творческие взносы.

Я заканчиваю пожеланием, чтобы наш сегодняшний импровизированный синод не остался воздушным пузырем, поднявшимся из притупленности и притопленности нашей «Германии», а стал процессом радикального очищения, отбрасыванием всего гнилого и испорченного, осветлением чистых и благородных составных частей, на которых она была основана.

*ФВНицше, хронист*

## Моя литературная деятельность, а также музыкальная. 1862

Перед пасхальными каникулами написал поэму «Эрманарих». Во время каникул – статью «Фатум и история». Помимо этого читал Эмерсона, Бюхнера в «Побуждениях к искусству и т. д.»<sup>92</sup>, начал в Пфорте «Эстетическое воспитание и т.д.»<sup>93</sup> Шиллера. 29-го апреля прочел дневники Штёккерта. Ознакомился с Петёфи. Превосходное стихотворение Лонгфелло «Старые часы» в переводе Пертца. Материализм.

В разгар лета 1861 закончил четырехручную «Скорбь, главный звук природы». В Михайловы дни много работал над «Сербией», но в конце концов сдался под Рождество. Венгерские зарисовки «Степной трактир», «Триумфальный марш», «Необузданные мечты» закончил к 2-му февраля 1862, потом до Пасхи занимался «Жалобой героя». В пасхальные дни составил план для «Мерлина». 29-го апреля сочинил прелюдию «Сатана поднимается из ада». 30-е апреля. Больше не нравится; ужасно трудно уловить сатанинское начало и правильно передать ослепительный блеск.

За несколько дней Михайлова праздника 1861 года я начал и закончил<sup>94</sup> уже сочиненный фрагмент симфонии «Эрманарих»; она написана для двух клави́ров по образцу Дантевской симфонии<sup>95</sup>, с которой я познакомился незадолго до этого. То было время, когда материал для «Эрманариха» волновал меня сильнее, чем когда-либо, потрясение толкало меня к сочинению текста, и я был совсем недалек от того, чтобы сочинить объективную<sup>96</sup> драму; но в музыке мое настроение, полностью впитавшее в себя легенду об Эрманарихе, катастрофически понизилось. Несмотря на это, я все еще колебался, как назвать произведение, – симфония «Эрманарих» или «Сербия», поскольку у меня был план выразить в этой музыкальной компо-



зиции душевный мир какого-нибудь славянского народа, как это сделано в «Венгрии» Листа, а к тому же я еще не умел беспристрастно препарировать то течение взволнованного чувства, которое движет творчеством, и только смутно догадывался, что я хочу тут выразить. Сейчас прошел как раз год с тех пор, как я начал находить точные настроения, смену чувств, которые теснятся и сталкиваются в них, часто непосредственно и грубо, чувств, бушующих в душах главных действующих лиц сюжета «Эрманариха» и тогда переполнявших меня изнутри.

Нынче, пересматривая тот фрагмент, я попытался в более точной версии передать то, что в первой было только намечено в общих чертах. Я добавил некоторые недостающие эпизоды, в особенности финал, который получился довольно новым и по своей необузданности далеко превосходящим все то, что у меня было в первой версии.

Конечно, то, что я изобразил, – вовсе не готы, вовсе не немцы, это, отважусь утверждать, венгерские типы; материал перенесен из германской сферы в венгерскую пушту, в венгерские огненные души. И это – основной изъян всей вещи. Кроме того, действующим лицам не хватает исконно германских, властных черт и качеств, их чувства скорее самоуглубленные, модернизированные, в них чересчур много рефлексии и чересчур мало природной силы. После этих общих замечаний я хочу как можно более точно выразить то, что сейчас, после внимательнейшего изучения фрагмента, пришло мне на ум как принципиальные линии для понимания.

#### *А. Героически-мрачно\**

Первые такты – героически-мрачные – показывают нам престарелого Эрманариха, тип важного и дикого героя, далекого от милосердия и мягкости, холодно глядящего сверху вниз на свои отшумевшие жизненные волнения.

#### *В. Более оживленно. Такт три четверти*

Следующие шесть тактов носят более оживленный и беспокойный характер, но в них просвечивает тихая радость –

---

\*Ремарки Ницше на краях рукописи.

ведь престарелый герой ждет свадебного кортежа с милой Сванхильдой, предводительствуемого его сыном Рандве!

*С. С возрастающей пылкостью*

Издали доносятся звуки национального марша, кортеж приближается вплотную,

*Д. Бурно*

чувства Эрманариха повышаются до страстной горячности. Что это – нетерпение или он думает о своем сыне, горячем Рандве? Полон ли он предчувствий или страха? Его бурные чувства тонут во

*Е. Величественно*

властно вступающем свадебном марше, полном венгерского огня и силы. За это время кортеж волнами приближается к его дворцу;

*Ф. Мягко и проникновенно*

Сванхильда, окруженная девами, подходит к королю, сопровождаемая аккордами арфы, «мягкая, как солнечный луч, блистающий в залах» (Эдда), но когда она видит перед собой седого, с огненным взором Эрманариха, ее охватывает тревога.

*Г. С нажимом. Играть в свободном такте<sup>97</sup>.*

Следующий мотив, основанный на звуках, опорных в теме Сванхильды, и возвещающий о родстве душ, вступает резко и бурно, пронизанный болью, омраченный скорбью. Рандве сильно и страстно ощущает разлад в отношениях, разлад между своей любовью и любовью отца; пессимистическая горечь, разрушающая его любовь, полные страшных предчувствий мысли охватывают его и тянут на дно немymi вопросами.

*Н. Строго в такт. Оживленно.*

Тут до него издали доносятся звуки свадебного марша, радостные и печальные, горькие и сладкие:

Рандве в ярости, он проклинаят и бушует, страстные триоли, исполняемые *impetuoso*<sup>\*</sup>, характеризуют его отчаяние. Его пронизывает любовь к Сванхильде,

*K. Спокойнее. С постепенным ускорением*

он смягчается, но все еще страшно возбужден, в нем бушуют и чередуются мысли и чувства. Ужасные для него звуки свадебного марша обволакивают его душу, увлекают ее, все быстрее, все бешенее. Здесь драма об Эрманарихе достигает той точки, где

*L. Чрезвычайно бурно*

Рандве врывается в свадебный чертог и в ярости привлекает к себе Сванхильду, а Эрманарих бросает в него свой кинжал. Музыка выражает только растущую страсть, внезапные вопли отчаяния, затем вдруг – ужас от содеянного, ярость Эрманариха, чьи глаза вылезают из орбит, чья душа надрывается, и он проклинаят сына, он зовет палача;

*M. pp<sup>\*\*</sup>. Все тише*

потом застывает на месте, как оглушенный; его захлестывают волны ярости, беззвучно и мрачно.

*N. С сомнением. Очень быстро*

Музыканты тихо играют мотив свадебного марша: это утихомиривает душу Эрманариха, вытряхивает его из оцепенения;

*O. ffff. Impetuoso Tremolo<sup>\*\*\*</sup>*

внезапно им овладевает ужасное настроение, он бушует, подобно океану;

---

\* Бурно (ит.).

\*\* Пианиссимо (очень тихо; партитурное обозначение).

\*\*\* С наибольшей громкостью. Бурное тремоло (ит.).

в глубинах его души свадебный ритм звучит искаженно, он словно доносится из кошмарного сновидения.

*В манере речитатива*

Один скрипач проводит тему скорбно, но по-славянски упрямо.

*Очень быстро*

Последний вопль Эрманариха, полный венгерской необузданности, – и первая часть драмы закончена, и все немеет, замирает в ожидании спасения. –

Добавлю несколько замечаний о формальной стороне дела.

Вся смена настроений, как ни странно, выражается целыми частями такта, меж тем как для исполнителей надо предписать кучу сменяющихся ритмов. Во многих местах – тактовый размер три четверти. В других – снова ни ритм, ни такт, и я настойчиво подчеркиваю, что их надо играть без такта. Иной раз очень трудно уловить правильный темп в его быстрой смене. Например, в конце, где только правильное исполнение может дать прочувствовать весь ужас происходящего. Особенно трудно выразить иронию, заключенную в мотиве свадебного марша.

Непосредственно перед национальным маршем в начале – множество очень смелых модуляций. Из *Ges-dur* – внезапно в *g cis e a*, потом из *Ges-dur* – в *d-moll*. Пессимизм вводится странными гармониями, очень терпкими и болезненными, которые сначала мне совершенно не нравились. Теперь, с точки зрения целого, они кажутся мне несколько более мягкими и простибельными. Порыв и гонка страсти в конце с их внезапными переходами и бурными извержениями топорщатся гармоническими кошмарами, и я не отважусь принять относительно их никакого решения. Самое ужасное – это скачок из *Des-dur* в *ffff f as ces d* в басовом тремоло. Последующий *d-moll* носит таинственный характер, и тут особенно беспокоит низкое *es*.

И вот весь фрагмент лежит передо мной, пугая своей необузданностью и терпкостью, в ожидании разрешения, освобождения от гнетущей духоты, лежащей бременем на его финале.

Моя ближайшая и величайшая задача – завершить все в целом; судить о нем придется хронисту следующего квартала, а равным образом воздать целому должное более беспристрастно, чем я могу сделать это сам. –

Заранее прошу не рассматривать мое отношение к собственным стихам как тщеславное самолюбование. Я слишком далеко ушел от тех времен, которые пытаюсь изобразить с их воздействиями на меня, чтобы писать самодовольную критику. Напротив, я намерен показать не бытие поэта, человека, рожденного поэтом, а – как человек становится поэтом<sup>98</sup>, то есть как из прилежного рифмоплета при росте духовных способностей можно стать в конце концов немножечко поэтом. Это в виде предварительного замечания.

Не только интересно, но даже необходимо насколько возможно точно мысленно воскрешать свое прошлое, особенно детские годы, ведь нам никогда не прийти к ясному суждению о себе самих, если мы не рассмотрим со всей точностью условия, в которых воспитывались, и не оценим их воздействие на нас. Насколько сильно воздействовали на меня мои первые годы в тихом пасторском домике, смена огромного счастья огромной бедой, переезд из родной деревни и многообразные события городской жизни, – это я намерен обсуждать с собою каждый день. Серьезный, легко впадающий в крайности, я бы сказал, серьезный до страсти, в многообразии условий, в печали и в радости, даже в игре, –<sup>99</sup>

# На каникулы

*Песнь о нибелунгах.* Отчетливо выделить языческие и христианские воззрения, а также этические идеи. Характеры рассмотреть в противоположность гомеровским. Эстетическая позиция «Песни» в изображении ужасного и прекрасного.

Читать по Лахмановскому изданию<sup>100</sup>; следить за более древним и более новым. Лучше всего читать ранним утром на природе. Но с точными выписками.

*Персий и Ювенал.* Главным образом с эстетической точки зрения. Обратные заключения о характере людей и об их эпохе. Идеи о сатире. Показать поэтическое в сатире, и как раз на примере Персия и Ювенала.

Читать с переводами и текстами. Может быть, лучше всего читать от девяти до двенадцати, чтобы была резкая перемена после изучения «Нибелунгов».

*Novum Testamentum*. Рассмотреть Иисуса как народного оратора, для этого прочесть насквозь евангелия. У него, кажется, были идеи. Параболическая речь и ее цель. Его семейственные речи перед учениками. Поэтическое начало в его речах.

Читать в Горенцене преимущественно с переводом Герлаха<sup>101</sup> и в тишендорфовском издании<sup>102</sup>. Лучше всего, конечно, рано. Потом предьявить дядюшке.

*Эмерсон.* Набросок «Книги для моих друзей». Образ его мышления американский. «Добро останется, зло исчезнет.» О богатстве. Красота. Короткие конспекты всех эссе. О философии в жизни.

Может быть, писать в Зангерхаузене, по утрам. С праздностью и тщанием.

*Стихотворения.* 1. *Ураган.* Непостоянный рок пытается соединиться с жуткими глубинами человека и все уничтожает, если такое соединение происходит.

---

\*Новый Завет (лат.).

2. *Блуждающая звезда*. Странствование по космосу в поисках утраченной орбиты. Да будут открыты ее глаза, ибо она идет сквозь вечность по предначертанному, одному и тому же пути. И так же – всякая душа, усматривающая вечную цель, она странствует по неуклонной орбите, пусть даже путь ее ведет, кажется, в ночь и заблуждение.

3. *Летняя песнь*. Основная идея: «Добро останется, зло исчезнет». Пока больше ничего нет. Во всяком случае, заключительное стихотворение – из «Песен бури».

Некоторые ночи посвятить *сочинению музыки*. В первую очередь – аллегро из сонаты. Пока что как соната для двух рук. «Так засмейся» – хорошо переписать. То же – «Из времен юности» для Штёккерта<sup>103</sup>. Потом прежде всего – «О, колокольный звон в зимней ночи». Надо снова выписать из Лейпцига нотной бумаги.

1863



# Моя жизнь

Как набросать картину жизни и характер человека, с которым мы познакомились? В целом – подобно тому, как мы набрасываем картину местности, в которой когда-то побывали. Тут нужно уяснить себе физиогномически-своеобразное: порода и форма гор, животный и растительный мир, синева неба – все это в своей совокупности оставляет определенное впечатление. Но именно то, что первым бросается в глаза – горные массы, формы скал и породы камня, – еще не дают местности физиогномического характера: в различных участках земной поверхности, как бы группами привлекательных и отталкивающих, по одним и тем же законам являются одни и те же горные породы, те же самые образования неорганической природы. Иначе обстоит дело с органическими. Тончайшие отличия для сравнительного наблюдения за природой дает в особенности растительный мир.

Нечто подобное бывает, когда мы окидываем взглядом и хотим по справедливости оценить жизнь конкретного человека. При этом нас должны направлять не случайные события, дары фортуны, перипетии внешних судеб, возникающие, когда скрещиваются внешние обстоятельства, пусть даже поначалу они бросаются нам в глаза, подобно горным вершинам. Именно эти маленькие переживания и внутренние процессы, на которые будто бы надо закрывать глаза, в своей совокупности наиболее явно обнаруживают индивидуальный характер, они органически вырастают из природы человека, в то время как первые связаны с ним лишь неорганически.

После такого вступления может показаться, что я вознамерился написать книгу о своей жизни. Отнюдь нет. Я просто хотел дать понять, какой смысл вижу в нижеследующих зарисовках своей жизни. Ведь если проницательный естествоиспытатель распознает в своих коллекциях камней и растений, упорядо-

ченных согласно участкам земной поверхности, историю и характер каждого из образцов, то неразумное дитя видит в них только камешки и растения для игр и баловства, а прагматичный человек гордо взирает на них сверху вниз как на нечто бессмысленное и бесполезное в отношении пищи и одежды.

В качестве растения я родился близ погоста, в качестве человека – в пасторском доме.

И отсюда этот назидательный тон? Может быть, но этим я не хочу сделать его прощительным. Однако что более полезного для жизни может сделать вступление, как не поучать, если не учит сама жизнь? А эти нижеследующие краткие заметки о жизни не могут ни поучать, ни развлекать; они – гладкие камни; в действительности эти камни приятно одеты мохом и землей. –

Вдоль сельской дороги, ведущей из Вайсенфельса через Лютцен в Лейпциг, растянулась деревня Рёккен. Со всех сторон ее окружают ивняки да отдельно стоящие тополя и вязы, и если глядеть издалека, сквозь зеленые макушки проглядывают лишь дымовые трубы да старинная колокольня. Внутри деревни лежат широкие пруды, разделенные только узкими полосками земли, а вокруг лишь свежая зелень и узловатые ивы. На небольшой возвышенности стоят дом священника и церковь, первый из них окружен садами и деревьями. К ним примыкает кладбище, полное провалившихся надгробий и крестов. Сам пасторский дом осенен тремя прекрасно разросшимися, раскидистыми акациями.

Я родился здесь 15-го октября 1844 года и в соответствии с днем моего рождения получил имя «Фридрих Вильгельм». Первым событием, поразившим меня, как только я начал сознавать окружающее, была болезнь отца. Это было размягчение мозга. Растущие страдания отца, его слепота, его изможденный вид, слезы матери, озабоченное выражение на лице врача, наконец, неосторожные откровения сельчан неизбежно вызывали во мне ощущение грозящей беды. И эта беда разразилась – мой отец умер. Мне еще не было четырех лет.

Несколько месяцев спустя я потерял единственного брата, живого и одаренного ребенка – внезапно пораженный судорогами, он умер за самое короткое время.

И вот для нас настала пора покинуть родные края. Вечером последнего дня я еще играл с детьми, а потом попрощался с ними, как и со всеми местами, ставшими для меня милыми и родными. Я никак не мог заснуть; я беспокойно метался по постели и наконец около полуночи поднялся. На дворе стояло множество груженных телег, тусклый свет фонаря освещал пространство двора. Едва забрезжило утро, запрягли лошадей; мы тронулись в путь сквозь утренний туман в сторону Наумбурга, цели нашего путешествия. Здесь, поначалу робко, после все оживленной, но неизменно с достоинством маленького закоренелого филистера, я начал свое знакомство с жизнью и книгами. Здесь полюбил я и природу с ее прекрасными горами и речными долинами, замками и крепостями, а также людей в лице моих родных и друзей.

Началась моя учеба в гимназии, а с нею вместе пришли новые интересы и устремления. Особенно сильные ростки тогда дала моя склонность к музыке, и это несмотря на то, что первые занятиягодились как раз только для того, чтобы сгубить эту склонность на корню. Ибо первым моим учителем был некий кантор, погрязший во всех милейших канторских изъяснах, да к тому же отправленный на пенсию без особых заслуг.

С должной неспешностью и должным порядком я наконец добрался до четвертого класса. Тогда, наверное, пришло для меня время немного выйти за пределы материнской орбиты и наконец отучиться так бесконечно непрактично ходить своими привычными путями. Я, конечно, усвоил мудрость кое-каких энциклопедий, во мне пробудились всевозможные склонности, я писал стихи и трагедии, тошнотворно и до ужаса скучные, я терзался в попытках сочинять полноценную оркестровую музыку и настолько вжился в идею получить в свое распоряжение универсальное знание и умение, что оказался в опасности превратиться в настоящего головотяпа и фантазера.

Поэтому во многих отношениях для меня было благом, став воспитанником земельной школы Пфорта, целых шесть лет поусердствовать в величайшей концентрации сил и в их ориентации на надежные цели.

Эти шесть лет для меня все еще не кончились; но уже сейчас я могу считать результаты этого времени достигнутыми, ведь их влияние я ощущаю во всем, что теперь делаю.

Может быть, настала пора взять события под узду и выйти в жизнь.

Так вот человек и вырастает из всего, что некогда его стискивало; ему не надо рвать свои оковы – нежданно, если будет на то воля Божья, они падут сами; и где то кольцо, в пределы которого он окажется заключен в конце концов? Мир? Бог? –

*Ф.В. Ницше*

*написано 18 сентября 1863*

# Моя музыкальная деятельность в году 1863-м

Сыграл я в первой половине года  
множество бетховенских сонат  
двенадцать гайдновских симфоний  
после того «Фантазию» Шуберта<sup>104</sup>  
венгерский дивертисмент [Шуберта]  
«Жизненные бури»<sup>105</sup>  
Пасторальную симфонию  
прежде всего Девятую симфонию.

Сочинил я в январе:

«В земле прохладной», в мелодраматическом ключе  
В дни летнего жара записал:  
«Так смейся же».

Задумал в голове:

аллегро для четырехручной сонаты, но забыл его,  
адажио для этой сонаты, не забыл.

В рождественские каникулы:

записал «Новогоднюю ночь» для скрипки и фортепиано.

Сочинил я стихи

*до летнего жара:*

«Неверная любовь»  
«Перед Распятием»  
«На морском берегу»  
«Звуки издалека»  
«Над гробницами»  
«Теперь и некогда»  
«Теперь и прежде»  
«Рапсодия».

*после него:*

«Возвращение на родину»,  
пять песен  
«Пролог»  
«К лепестку розы»  
«Старый мадьяр»  
«Накануне пятидесятилетия»  
«Смерть Бетховена».

Написал я прозой в пасхальные дни:

«О демоническом начале в музыке» I, II<sup>106</sup>.

В дни летнего жара: примечания к «Песне о нибелунгах». В Михайловы дни: примечания к «Песне о Хильдебранде»<sup>107</sup> и «Изречениям».

Позже: заметку об Эрманарихе.

Читал больше всего:

Эмерсона

Бернгарди, «История литературы»

Гервинус, «Шекспир»

«Эдда»

«Пир» [Платона]

«Техника драмы»<sup>108</sup>

«Нибелунгов» Лахмана

Тацит, «Тиберий»

«Облака»

«Плутос»<sup>109</sup>

Эсхила и о нем.

Стихи года 1863-го:

1. «Неверная любовь»

2. «Перед Распятием»

3. «Теперь и прежде»

4. «Теперь и некогда»

5. «Рапсодия»

6. «Над гробницами»

7. «Листок воспоминания»

8. «На морском берегу». Фрагмент

9. «Возвращение на родину», пять песен

10. «Старый мадьяр»

11. «Пролог»

12. 10-е октября

13. «Через пятьдесят лет»

1864: «К Бетховену» 1. 2. 3

«Источники жизни»

«Малые песни»

«Прощание»

9. 2. 64

1864

## О настроениях<sup>110</sup>

Представим себе такую картину: вечером первого дня Пасхи я сижу дома, закутавшись в халат; на улице моросит мелкий дождик; в комнате, кроме меня, ни души. Я долго не свожу глаз с лежащего передо мною белого листа бумаги, держа в руке перо и злясь на спутанную грудю сюжетов, событий и мыслей, жаждущих записи; а некоторые жаждут этого так бурно потому, что еще юны и бродят, как молодое вино; зато противятся этому иные из старых, созревших, уже осветленных мыслей – они подобны старику, что с сомнением мерит взглядом юношескую суету. Признаемся же себе откровенно – наша душевная конституция зависит от битвы стариков и юношей, и ситуации этой битвы мы всякий раз называем настроением или, на несколько презрительный лад, капризом.

Словно хороший дипломат, я занимаю позицию несколько выше обеих враждующих партий и изображаю состояние государства с непредвзятостью человека, день за днем по служебному долгу присутствующего на всех партийных собраниях и практически применяющего тот принцип, который сам же осмеивает и освистывает у ораторов на трибуне. Признаемся – я пишу о настроениях, именно сейчас будучи во власти настроений; и очень удачно выходит, что настроен я как раз на описание настроений.

Нынче я много играл «Утешения» Листа, и теперь чувствую, что звуки глубоко проникли в меня и, одухотворенные, порождают во мне отзвуки. А недавно у меня было болезненное переживание – прощание или непрощание, и теперь я замечаю, как это чувство и эти звуки слились в одно, и думаю, что музыка мне не понравилась бы, не будь у меня этого переживания. Стало быть, душа стремится притянуть к себе подобное, и выжимает, словно лимоны, новые, близкие сердцу события – но неизменно так, что с новым соединяется лишь часть старо-



го, а оставшееся не находит в жилище души ничего родственного себе и потому селится в нем обособленно, очень часто к неудовольствию старожилов, с которыми по этой причине часто и оказывается в споре. Но тут – гляди-ка – приходит друг, распахивается книга, вон идет девушка, а там – прислушайся! – там раздаются звуки музыки! И снова в этот радушный дом со всех сторон текут гости, а его обособленный обитатель заводит знакомство с множеством благородных, родственных себе душ.

Так ведь это чудесно – гости приходят вовсе не потому, что им так захотелось, и гости эти – вовсе не первые встречные; нет, приходят те, кому должно, и только такие, какими должно им быть. Все, чего душа *не в силах* осознать, ее не затрагивает; но поскольку позволять ей осознавать или нет – дело воли, то душу затрагивает лишь то, чего она хочет. А ведь многим это покажется абсурдом – они припомнят, как сопротивлялись некоторым своим ощущениям. Однако что же, в конце концов, стоит за волей? Или: насколько часто воля спит, а бодрствуют лишь влечения да склонности? Но одна из сильнейших склонностей души – известная жажда новизны, тяга к необычному: она-то и объясняет, отчего мы нередко позволяем неприятным настроениям овладевать собою.

Но душа принимает гостей не только по указке воли; душа сделана из того же вещества, что и события – или из похожего; потому-то и бывает, что событие, не затрагивающее ни одной родственной струны, все-таки тяжело ложится на душу бременем настроения и мало-помалу может получить такой перевес, что подавляет и утесняет другое ее содержимое.

Итак, настроения возникают либо из внутренних борений, либо из-за давления на внутренний мир извне. Тут – гражданская война двух воинских станов, там – подавление народа одним каким-нибудь сословием, ничтожным меньшинством.

А все-таки, прослеживая свои мысли и чувства и безмолвно вслушиваясь в себя, я часто ощущаю, будто еще различимы отголоски бурных споров между одичавшими противниками, будто в воздухе что-то прошумело, словно мысль или орел летят к солнцу.

Борьбою душа постоянно питается, умея извлечь для себя из такого питания и достаточно сладкого и прекрасного. Делая

это, она уничтожает, а тем самым порождает новое, она борется непримиримо – и все же мягко привлекает противника на свою сторону, чтобы внутренне слиться с ним воедино. И самое чудесное – что ей никогда не бывает дела до внешнего, до репутаций, до лиц, до места жительства, до красивых слов, до почерков, – все это для нее не так уж важно, ей интереснее, что там, внутри.

То, что теперь, может быть, составляет все твое счастье или все твое горе, вскорости, может быть, окажется всего лишь оболочкою какого-то более глубокого чувства, а потому с появлением нового отступит вглубь. Вот так наши настроения все больше погружаются в глубины, и ни одно не подобно другому в точности, и каждое необъяснимо молодо, и каждое порождает миг в настоящем.

Сейчас я думаю о многом из того, что любил; имена и люди мелькнули передо мною, и я не берусь утверждать, будто во внутренней своей сущности они и впрямь становились с ходом времени все глубже и прекрасней, – но, пожалуй, верно, что каждое из этих подобных друг другу настроений означает для меня какой-то шаг вперед и что духу было бы невыносимо трудно заново пройти по всем ступеням, которые он уже раз прошел: ему по нраву устремляться в новые глубины и выси.

Привет вам, дорогие сердцу настроения, вы, что образуете дивный ряд перемен бурной души, многоликие, как природа, но более величественные, чем природа: ведь вы вечно подымаетесь, вечно стремитесь вверх; растение же благоухает и теперь точно так же, как благоухало в день творения. Я разлюбил то, что любил несколько недель тому назад; в это мгновение я настроен уже не так, как когда начинал писать.

Сперва я попробовал в звуках – но дело не шло; сердце дальше несло; и звук позади меня умер. Тогда я попробовал в стихах – но нет, не рифмам, не спокойным, размеренным ритмам выразить это. Прочь, бумага – другую сюда; проворно скрипи же, перо, и теките живо, чернила!

Мягок летний вечер; сумерки в полосах бледного света. Голоса детей в переулках; шум и музыка издали; идет ярмарка; люди пляшут; горят цветные фонари, дикие звери ревут, тут выстрел гремит, там бряцают литавры, однообразно и резко.

Смеркается в комнате; зажигаю свечу; но сквозь полузанавешенное окно око дня глядит с любопытством. О, ему хочется видеть, что дальше, что там, в сердца глубинах, где огонь горячее свечи, где сумрак темнее, чем вечер, где движение быстрее, чем голоса, прилетающие издалека, – в сердце, что в самых глубинах своих дрожит и качается, словно большой колокол<sup>111</sup>, в который звонят при грозе.

И я от души призываю грозу – разве молнию не притянет звон колокольный? Так приди же, гроза, осветляй, очищай, вдохни запах дождя в мои вялые недра, пожалуй ко мне, наконец-то пожалуй!

Так! Вот ты сверкнула, первая молния, прямо в сердце, и оттуда вздымается что-то, словно длинный и бледный туман. Знаком он тебе, мрачный и злобный? Вот и глаза мои заблестели, и я простираю руку к нему для проклятья. Гром рокошет, и голос какой-то раздался: «Будь ты очищен!»

Душно и смутно; переполнено сердце. Нигде ни движения. Но вот дуновенье, под которым дрогнули травы – приди же, желанный дождь, утоли и спаси! Здесь глушь, пустота, смерть – сделай же так, чтобы рост снова начался.

Так! Вот и второй удар! Резкий, двуострый, прямо в сердце! И голос раздался: «Надейся!»

И потянуло нежным запахом от земли, ветер принесся – и буря следом, с ревом, гонясь за добычей. Сорванные цветы гонит она пред собою. И вслед за бурей ливень все заливают с весельем.

Потоки сквозь сердце льются. Буря и ливень! Молния с громом! Прямо насквозь! И голос звучит: «Теперь обновляйся!»

# Моя жизнь

Задачи у всякого жизнеописания очень разнообразны, а потому для каждой подходит только своя собственная манера изложения. В данном случае мне будет важно оставить в качестве завещания школе, воздействию которой я обязан большей частью моего духовного развития и всем наиболее своеобразным в нем, картину как раз этого самого духовного развития, набросанную в тот момент, когда я намерен, отказавшись от старого, привычного порядка и вживаясь душой в более широкие и высокие образовательные сферы, предначертать своему духу новые орбиты и тем самым начать новый цикл развития.

Из поворотных точек, доселе деливших мою жизнь на этапы, я назову преимущественно две: смерть отца, сельского священника из Рёккена близ Лютцена, и связанный с нею переезд нашей семьи в Наумбург; это было событие, которое подвело итог первым пяти годам моей жизни. Во-вторых, это переход из наумбургской гимназии в Пфурту, состоявшийся, когда мне шел четырнадцатый год. Я мало знаю о самом раннем периоде своей жизни и не люблю пересказывать то, что услышал об этом от других. Несомненно, у меня были превосходные родители, и я убежден, что именно смерть столь прекрасного отца, с одной стороны, на всю оставшуюся жизнь лишила меня отцовской поддержки и руководства, а с другой – заложила в мою душу семена серьезного, склонного к раздумьям характера.

Возможно, оказалось несчастьем, что отныне все мое развитие было лишено мужского присмотра, и что, напротив, любопытство, а может быть, и тяга к знаниям привели разнообразные образовательные материалы в величайший беспорядок, так что они стали лишь сбивать с толку юный, едва покинувший родное гнездо ум и прежде всего – подтачивать фундамент основательных знаний. Потому-то все это время, от девятого до пятнадцатого года, озаглавлено настоящей ма-

нией «универсального знания», как я это называю; с другой стороны, не были забыты и детские игры, но и ими я занимался с чуть ли не доктринерским рвением, так что, к примеру, почти обо всех своих играх я написал по маленькой книжечке и предлагал эти книжечки для ознакомления своим друзьям. Пробужденный одним особым случаем, я на девятом году со страстью начал заниматься музыкой, причем сразу же как композитор, если, конечно, старания возбужденного ребенка записать на бумагу консонансы и выведенные из них звуки, а также пропеть библейские тексты в фантастическом сопровождении пианофорте можно назвать сочинением музыки. Таким же образом я писал ужасающие стихи, хотя и с бóльшим прилежанием. Мало того, я даже рисовал и писал картины.

Придя в Пфурту, я с любопытством далеко засунул нос в большую часть наук и искусств, а вообще-то ощущал интерес ко всем, если не считать чересчур рациональной науки – чересчур скучной для меня математики. Однако со временем я почувствовал отвращение к этому бесцельному блужданию по всем областям знания; мне захотелось наложить на себя какие-то узы, чтобы основательно и до дна пройти отдельные области. Это желание приятно сбылось в форме маленького научного объединения, которое я основал вместе с двумя настроенными так же, как и я, друзьями для содействия нашему образованию. Ежемесячные взносы в виде статей и музыкальных композиций и их критика, а также ежеквартальные коллоквиумы принуждали ум внимательней вникать в небольшие, но стимулирующие области знаний, а, с другой стороны, посредством основательного изучения теории композиции противодействовать опоясывающему воздействию «фантазерства».

Одновременно все больше росла моя склонность к занятиям античностью; мне исключительно приятно вспоминать первые мои впечатления от Софокла, Эсхила, Платона, главным образом моего любимого произведения у него, «Пира», а кроме того, от греческих лириков.

В этом стремлении к все более глубокому знанию я живу и сейчас; и естественно, что свои собственные достижения я по большей части оцениваю так же низко, как нередко и достижения других, почти в каждом рассматриваемом материа-

ле обнаруживая что-то необъяснимое или по меньшей мере трудно объяснимое. Поэтому я упомяну и свою единственную работу, которой я был почти доволен в школе: статью, посвященную сказанию об Эрманарихе.

Сейчас, когда я намерен поступать в университет, я выдвигаю перед своей будущей жизнью в науке нерушимые законы: бороться со склонностью к опошляющему всезнайству, а во вторую очередь – еще и усилить свою тягу возводить все частное к его глубочайшим и широчайшим основаниям. Если покажется, что эти склонности взаимно уничтожились, то в отдельных случаях это, конечно, не будет неправильным, и порой нечто подобное я в себе замечаю.

В борьбе с первой, в усилении второй я надеюсь победить.

# Новогоднее сновидение

В комнате моей тишина, только потрескивают порой уголья в печи. Я прикрутил лампу, и теперь комнату ничего не освещает, разве что отдельные огненные широкие полосы, исходящие из печки, дрожа, елозят по полу и по темно-красным панелям моего пианино.

До полуночи остается несколько часов; до сих пор я рылся в своих рукописях и письмах,пил горячий пунш, а потом сыграл реквием из шумановского «Манфреда». Сейчас меня тянет оставить все постороннее и думать только о себе.

Поэтому я снова перемешиваю угли, а потом облакачиваюсь головой на левую руку и угол софы, закрываю глаза и предаюсь размышлениям. Дух мой быстро облетает свои излюбленные места и останавливается в Наумбурге, потом в Пфортте и Плауэне – и наконец возвращается в мою комнату. В мою комнату? Но что я вижу на своей кровати? Там кто-то лежит – он тихо стонет, хрипит – это умирающий!

И он не один! Вокруг будто тени стоят и витают. К тому же эти тени говорят. «Ах ты, скверный год! Что ты мне сулил – и что выполнил? Я более жалок, чем когда-либо, а ты говорил мне, что я буду счастлив. Да будь ты проклят!»

«Милый мой год, сперва ты смотрел на меня очень мрачно, но твой май утешил меня, а твоя осень была тоскливым отголоском мая. Будь же ты благословен!»

«Старый год, ты заставил меня попотеть, но ты же и отблагодарил меня. Мы с тобой в расчете, прощай!»

«Я ждал и напряженно искал глазами, когда же ты выполнишь мои желания. Сделай это сейчас, в свой последний час, помоги мне».

Стояла все та же тишина. Старый год издавал тихие хрипы через равные интервалы. Они звучали, как вздохи.

Внезапно все осветилось. Стены комнаты полетели назад, потолок взлетел вверх. Я поглядел на кровать. Кровать была пуста. Я услышал голос:

«Вы, безумцы и глупцы эпохи, которая в ваших головах и только в них! Я спрашиваю вас, что вы наделали? Если хотите быть тем, на что надеетесь, и иметь то, на что надеетесь, иметь то, чего вы ждете, то сделайте то, что боги, прежде чем раздавать награды за участие в борьбе, установили для вас как испытание. Если вы созрели, плод упадет, но не раньше!»

Тут стрелка часов надо мной поднялась вертикально, все исчезло, пробило полночь, и на улице раздался громкий крик: «Ура! Новый год!»



# Концерты и театры зимой 1864/65 в Бонне

«Пьетра» Мозенталя. Г-жа Ниман-Зебах<sup>112</sup>

«Волшебная флейта»

«Ундина»

«Вольный стрелок»

«Валленштейн». Карл Дефринт

«Гугеноты». Г-жа Бюрде-Ней

«Фиделио». Г-жа Бюрде-Ней

«Дезертир»

«Оберон»

«Нибелунги». Г-жа Ниман-Зебах

«Иосиф в Египте» Мегюля

«Укрощение строптивой». Фридерика Госман

«Пожар в школе для девочек». «Она призналась в любви».

Фридерика Госман

«Каприз». Фридерика Госман

«Иуда Маккавей»

Мендельсон. «Гимны» и другое

«Валленштейн» в соль-минорном концерте Мендельсона и хоровая фантазия Бетховена. Вальс из «Фауста», «Колыбельная». «Оссиан» Гаде<sup>113</sup>

Ауэр в бетховенском скрипичном концерте, agnus dei Керубини, симфония Моцарта

«Большая симфония» Шуберта

Симфония [Карла Филиппа] Эммануила Баха

Соль-минорная симфония Моцарта

Увертюра «Дионис» Н. Бретимюллера

«Комическая увертюра» Брамбаха и Ритца

«Гебриды»

«Руиблас»

«Розамунда»

«Фьеррабрас», увертюра

«Альфонсо и Эстрелла», увертюра

Большая соната для двух фортепиано Моцарта (г-жа Клара

Шуман)

Ноктюрн соль-минор Шопена

Scherzo capriccioso Мендельсона

Симфония ре-минор Шумана

«О, плачьте о ней» Хиллера

«Весенняя песнь» Гаде

«И в горе и в радости» фройл. Виземан

«Жалоба девушки» фройл. Виземан

### Концерт Патти<sup>14</sup>

Ария из «Пуритан», исп. Карлотта Патти

«Ария тени» <из> Дин <оры Мейербера>, исп. Карлотта

Патти

«Венецианский карнавал»

«Тарантелла», Ферранти

«Севильский цирюльник», Ферранти

Ария из «Милосердия Тита», фройл. Эдельсберг

«Скиталец», фройл. Эдельсберг

Браcssен и Вьётан <исп.> «Крейцера соната»

Ниман-Зебах «Колокол»

1866

1860

4 июля, Miserege для пяти голосов

1861

25 марта, прелюдия к «Благовещению Марии»

Июнь, вступление к третьей сцене

Июль, «Путь в»<sup>115</sup>

1861

Дни летней жары, Плауэн первая ступень пятого класса

«Скорь – главный звук»

Михайлов праздник

«Сербия»

1860

Дни летней жары, Горенцен вторая ступень четвертого класса

1859

Дни летней жары, Йена первая ступень четвертого класса

1862

В Пфорте

Дни летней жары, Горенцен

Потом вплоть до Михайлова праздника головные боли

Затем снова <учеба> в старших классах

Перед пасхальными каникулами: поэма «Эрманарих»

В пасхальные дни: статья «Фатум и история»

С января до 2-го февраля: «Венгерские зарисовки»:

«Степной трактир»

«Триумфальный марш»

«Необузданные мечты»  
22 июня, «Цыганский танец»  
«Венг. марш»  
До Пасхи: «Жалоба героя»  
В дни летней жары: «Течет ручей»  
«В дни юности»  
5-го ноября: две мазурки  
В Михайловы дни: «Эрманарих», симфоническая поэма

Стихотворения с марта до октября  
«Ночью»  
«Четыре песни»  
«Юная рыбачка»  
«Блуждания, блуждания»  
«В великие времена. Четыре стихотворения»  
«О если б мог я бурей быть»  
«Венг. зарисовки. Три стихотворения»

Осенью: «Семь осенних песен»  
10-го ноября в карцере<sup>116</sup>. Три стихотворения  
Перед днем поминовения усопших: «Эпилог»

1863

В Пфорте  
Пасха в Наумбурге  
Дни летнего жара в Плауэне и Фихтеле  
Рождество в Горенцене  
В пасхальные дни: «О демоническом начале в музыке» I,  
II (имеется у П. Дойсена<sup>117</sup>)  
В Михайловы дни: Примечания к «Песне о нибелунгах»  
Позднее в Пфорте:  
Статья об Эрманарихе  
Primum Oedipodis regis carmen choricum\*  
Первая на руках у студ<ентов>

---

\*Первая хоровая песнь о царе Эдипе (*лат.*).

В январе: «В земле прохладной», в мелодраматическом ключе

В дни летнего жара:

«Так смейся же» <на слова> Клауса Грота

Соната, не записана

В рождественские каникулы: с 29 декабря до 2 января 1864:

«Новогодняя ночь», для клавира и скрипки

Стихотворения:

«Неверная любовь»

«Перед Распятием»

«На морском берегу»

«Звуки издалека»

«Над гробницами»

«Теперь и некогда»

} (имеется по большей части у Г. Майера)

«Теперь и прежде»

«Рапсодия»

«Возвращение на родину», пять песен

«Пролог»

«К лепестку розы»

«Старый мадьяр»

«Накануне пятидесятилетия»

«Смерть Бетховена»

1864

4 января в Горенцене. Свадьба дяди Эдмунда

С 4 января до 7 сентября в Пфорте

Дни летнего жара в Наумбурге

С 7 сентября до 1 октября в Наумбурге. Выпускные празднования

С 1 до 16 октября в Обердрайсе у П. Дойсена

С 16 октября до конца в Бонне. Боннгассе 518, в доме Ольдага

Дни летнего жара: «de Theognide poeta Megarensi»<sup>\*</sup>  
С ноября до 13 декабря:

1. «Заклинание»<sup>118</sup>, Пушкин
  2. «Зимняя ночь», Пушкин
  3. «Цепь», Петёфи
  4. «Хотел бы бросить...»
  5. «Серенада»
  6. «Бесконечно...»
  7. «Увядание»
  8. «Где же ты»
  9. «Гроза», Шамиссо
  10. «Охотно и охотней»
  11. «Песня к свече»
  12. «Качает и клонит», слова мои
- Из них 1, 4, 6, 10 поднесены Марии Дойсен,  
4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 – матери и сестре на Рождество

Перед летним жаром: Посвящение Анне Редтель<sup>119</sup>  
Перед Рождеством: «Стихотворение к другу»

1865

До 9 августа в Бонне  
Пасхальные праздники в Наумбурге  
С 9 августа до 1 октября в Наумбурге  
Небольшая поездка в Горенцен, Гольдене Ауэ и т. д.  
С 1 до 17 октября в Берлине у ст. уч. Мусхаке<sup>120</sup>  
С 17 октября до 22 декабря в Лейпциге, Блуменгассе, 4  
С 22 декабря до 6 января 1866 в Наумбурге  
Пасха: «Simonidis lamentatio Danaae»<sup>\*\*</sup>  
Большие каникулы: занятия Феогнидом  
11 июня: «Юная рыбачка», песня  
В декабре: «О, плачьте о ней», Байрон. Хор

---

\* «О Феогниде, мегарском поэте» (лат.).

\*\* «Жалоба Данаи» Симонида (лат.).

1866

3 января закончена работа «Последняя редакция Theognidea»

23 января «Кугіе» для хора и оркестра в переложении для клавира

---

\*Феогнидовых сочинений (*лат.*), т.е. «Феогнидовского корпуса».



1867

Господа, сегодня, когда мы делаем первый шаг в четвертый семестр нашего союза<sup>121</sup>, нам подобает бросить взгляды назад и вперед, назад, чтобы извлечь уроки из прошлого, вперед – чтобы уяснить себе цели, которых мы хотим достичь в этот новый период. Доселе наш союз доказывал свою жизнеспособность: это уже много, но не достаточно. Он уже вышел из пеленок, его первые семенящие шаги оказались удачными, и теперь он может отправиться вперед более уверенной поступью. Некоторое количество целеустремленных филологов, все растущее после возникновения нашего союза, собирается вместе каждую неделю, чтобы стимулировать и развивать друг друга, хорошо понимая, что контроль, которому взаимно подвергаются молодые умы, – это необычайно эффективное средство образования. Эффективность нашего союза в себе самом неоспорима: мы своими глазами видим оживленные дебаты и участвуем в них, мы слушаем доклады по самым разнообразным сферам и проблемам филологии, мало того, мы не можем не признать, что в целом союз демонстрирует прекрасный универсализм интересов и не впадает в исключительную односторонность ни в каком направлении: насколько излюбленные коньки полезны для отдельной личности, настолько же вредны они для объединения. В этом смысле мы вправе хвалить наш союз: но в двух пунктах необходимо ясно понять недостатки, которыми он до сих пор страдает. Между тем нам приходилось еще выслушивать доклады, предпосылок для которых в кругу нашего союза нет и которые поэтому, не вызвав желаемых обсуждений, были положены под сукно. Конечно, мы не можем избежать упреков и в адрес самих докладчиков: нередко они неудачно выбирали тему либо пытались охватить слишком широкие области, не умея вместить их в тесные рамки часового выступления или предполагали наличие больших знаний, чем было на деле.

Однако в целом я думаю, что сами выступавшие погрешали меньше, чем слушатели. Мне не подобает критиковать уровень подготовки других членов союза, но о себе самом смею сказать, что не всегда заблаговременно до конца овладевал темой доклада. Однако невозможно правильно понять доклад, надежность его посылок, замысловатый ход логических доказательств, вероятные в нем преднамеренные и непреднамеренные упущения и изъяны, если в отношении темы доклада мы представляем собой *tabula rasa*<sup>\*</sup>. Отваживаясь, таким образом, высказать пожелание, чтобы каждый из нас достаточной подготовкой к конкретным вечерам делал себя как можно более полезным для союза, я выдвигаю третье предложение: чтобы каждый, кто намерен прочитать доклад, четко объявил свою тему за две, три, четыре недели и наметил примерный круг соответствующей литературы.

Итак, внутреннюю эффективность союза можно повысить еще, да так она до сих пор всегда и повышалась. Худо обстоит дело с внешней эффективностью, с воздействием союза на студентов-филологов. Еще несколько семестров тому назад считалось делом решенным, что лейпцигскими филологами в целом движут весьма армейские интересы, что тощее доходное местечко школьного учителя для большинства – желанная цель их занятий. Я думаю, что настала пора положить этому предел. Давайте наконец считать интенции нашего союза антиподными. Ведь все мы, собравшиеся здесь, случайно обладаем довольно сильно выраженным научным влечением. Я далек от того, чтобы видеть в этом влечении некое этическое преимущество перед утилитариями: влечение есть потребность, а потребность есть принуждение. А делать то, к чему тебя принуждают, – это уж во всяком случае вовсе не этическое преимущество, точно так же как принимать пищу, когда голоден. Но здесь, в Лейпциге, есть или было много таких, кто не испытывает голода по науке. Это утилитарии. Что толку давать им пищу? С этими, стало быть, мы принципиально ничего поделаться не можем, но можем, наверное, сделать что-то для большой толпы тех еще не определившихся натур, которые с удовольствием примкнут к нам,

---

<sup>\*</sup> Букв. «чистую доску» (*лат.*), т.е. ничего не знаем.

потому что еще не являются опорами самим себе, охотно отдаются течению и потому с легкостью подчиняются господствующему в университете духу. Тут и начинается наше дело: названные натуры суть необходимые составные части нашего союза, потому что прирост членов всегда должен происходить за их счет. Мы должны облегчить им присутствие на наших заседаниях, а эти последние должны стараться вводить в филологический фарватер. Короче говоря, давайте получим для себя еще больше слушателей, и как раз именно из самых младших и более младших курсов первых трех лет обучения.

Я обозначил пункты, на которых базируется усиление внутренней и внешней эффективности нашего союза. Теперь нам известны наши ближайшие цели, и я объявляю начавшимся четвертый семестр нашего союза.

# Ретроспектива двух моих лейпцигских лет

*17 октября 1865 – 10 августа 1867*

Мое будущее скрыто во мраке, но меня это мало заботит. Так же я отношусь и к своему прошлому; в целом я очень скоро его забываю, и только изменения и закрепление черт характера время от времени показывают мне, что я оставил прошлое за спиной. При таком подходе к жизни ход собственного формирования оказывается неожиданным, и ты его не понимаешь. Не могу не признать, что в этом есть свои преимущества, потому что постоянное наблюдение и оценка обыкновенно мешают наивным проявлениям характера и с легкостью ставят препоны его росту. Правда, порой мне так и кажется, что такой сознательный образ жизни является помехой лишь по видимости, да и то лишь на время. Представим себе пехотинца, который поначалу вообще боится разучиться ходить, когда его учат сознательно поднимать ногу и притом следить за собственными ошибками. Все дело тут в том, чтобы привить ему вторую натуру; тогда он будет ходить так же спокойно, как прежде. Очень легко найти в этой притче мораль, и следующие страницы покажут, что я ее нашел. Я хочу рассмотреть себя, и чтобы не начинать сразу же с непосредственного «сегодня», я предположу рассказу кое-что о том, как прошли два последних года. Два года! В таком возрасте! Что только не засасывает в себя молодого человека, что только не вдавливают его лапки в мягкую глину!

Я покинул Бонн, как беглец. Когда в полночь мой друг Мухак<sup>122</sup> провожал меня к берегу Рейна, где мы стали ждать идущий из Кёльна пароход, у меня не было никаких скорбных чувств оттого, что приходится оставлять столь прекрасную местность, столь цветущий край, расставаться с множеством молодых то-

варищей. Напротив, как раз последние-то меня и спугнули. Мне не хочется задним числом проявлять несправедливость по отношению к добрым людям, как я частенько поступал раньше. Но моя природа не чувствовала удовлетворенности в их обществе; я и сам был еще слишком робок и замкнут, у меня не было достаточно силы, чтобы играть какую-то роль в тамошней жизни. Все было мне навязано, и я не знал, как обходиться с тем, что меня окружало. В первое время я все старался овладеть нужными формами поведения и сделаться тем, что называют бесшабашным студентом. Но поскольку мне это чем дальше, тем больше не удавалось, потому что налет поэзии, который, кажется, лежит на всей этой форме жизни, для меня испарился, и все ее чрезмерное пьянство, шум и делание долгов давало только грубое филистерское умонастроение, — то во мне потихоньку начало нарастать возмущение. Я все больше уклонялся от этих пустых удовольствий ради тихих наслаждений природой или совместных занятий искусством, я чувствовал себя в этих кругах все более чужим, но выйти из них было невозможно. К тому же у меня появились продолжительные ревматические боли — и не меньше меня угнетало ощущение, что я ничего не получу тут для науки, для жизни, а только влезу в большие долги. Все это заставляло меня чувствовать себя беглецом, когда в сырую дождливую ночь я стоял на борту парохода, а редкие фонари, обозначавшие на берегу Бонн, медленно исчезали из вида.

Я провел каникулы, еще не избавившись полностью от этого настроения. Последние две недели были мне дарованы судьбой, чтобы провести их в доме родителей моего друга Мухаке. В Берлине я тогда вел жизнь человека неудовлетворенного; еще слишком свежи были во мне впечатления прошлого, его бремя слишком тяжело давило на мои плечи, и я, конечно, вечно надоедал другу своими lamentациями. Разумеется, я не упускал возможности обобщать это недовольство студенческой жизнью Бонна, распространяя тяжкие обвинения на немецких буршей вообще. И вот, когда на одном из концертов Либиха мне пришлось встретиться как раз с людьми этой породы, я испытал сущие мучения; после вымученного приветствия я

довольно невежливо целый вечер просидел на их стороне зала, не проронив ни звука. А когда, несмотря на это, один из них, руководствуясь чувством долга, пригласил меня в их пивную, я тоже пошел туда в угоду своему другу Мусхаке, но оставался так же нем и безучастен, как в первый раз, а, значит, не мог рассчитывать на благоприятное мнение о своих способностях и своем образе жизни, причем я к тому же пил мало пива и совсем не курил. – Тогда я, конечно, был не в состоянии непредвзято глядеть на сам Берлин и отдавать ему должное, зато моему тогдашнему возбужденно-недовольному состоянию соответствовало то, что Сансуси и окрестности Потсдама в их живописном наряде ранней осени произвели на меня сильное впечатление. Так же живо я помню еще сад у театра Виктории, без единого зеленого пятнышка, с деревьями, подобными крысиным хвостам, со скамьями и стульями, в беспорядке наваленными друг на друга: над фронтонами соседних домов – усталые лучи осеннего солнца и бледный голубой воздух, в который так остро вдавались крыши. Да и наши разговоры питали мою ожесточенность; это были саркастические замечания великолепного Мусхаке, его представления о высших сферах школьных чиновников, его гнев по поводу еврейского Берлина, его воспоминания о временах младогегельянцев, короче говоря, вся пессимистическая атмосфера, окружавшая человека, который многое видел за кулисами, – все это вместе давало новую пищу для моего настроения. Тогда я научился с упоением разглядывать все в черном свете, поскольку в жизни у меня у самого, как мне казалось, без всякой моей вины, было черным-черно.

17 октября 1865 года я вместе с другом Мусхаке прибыл в Лейпциг на Берлинский вокзал. Сначала мы бесцельно зашли вглубь города и наслаждались видом высоченных домов, оживленных улиц и бурлению тамошней жизни. Потом, в обеденное время, мы отдохнули в ресторации Райса (что на Клостергассе) и нашли, что тут сносно, хотя здешняя атмосфера и не свободна от загоревших до черноты юношей. Здесь я начал прилежно изучать ежедневную газету, позднее регулярно занимаясь этим обыкновенно в полуденные часы. В тот день мы отметили для себя объявления о наемном жилье, пресловутых «приличных»

или даже «элегантных» комнатах с «альковым» и т.д. Потом мы бросились бегать туда-сюда по улицам, вверх-вниз по лестницам, чтобы осмотреть расписанные в газете великолепия, и нашли их в среднем отвратительными сверх всякой меры. Какими заявлениями о хорошей репутации и запахах встречали нас там, как заранее предупреждали наши претензии по поводу чистоты! Мы устали, нас переполняли раздражение и недоверие, и потому с большой нерешительностью пошли мы за каким-то сдававшим квартиру антикваром, не зная, окажется ли она подходящей. Дорога что-то уже сильно затянулась и мы утомились, когда он остановился в маленьком боковом переулке, называющемся «Блуменгассе»\*, провел нас насквозь через дом в сад и в примыкавшем к нему строении показал маленькую комнатку с чуланом, которая производила впечатление приятной уединенности и, вероятно, могла претендовать на звание норы для ученого. С меня было довольно, мы ударили по рукам; отныне я жил у антиквара Рона на Bluменгассе, 4. Друг Мусхаке нашел себе пристанище в доме по соседству. Причем при этом выборе жилища я, как мы частенько замечали между собой позднее, избрал себе лучшую долю. В тот день, закончив свои дела, мы пошли в соседнее кафе и пили там шоколад на осеннем воздухе, пробивавшем дрожью, но все-таки сидели под открытым небом, настраиваясь душой на все, что преподнесет нам новое пристанище нашего житья-бытья.

На следующий день я пришел в университетскую приемную комиссию; это был как раз тот день, который в университете отмечали каким-то юбилейным изданием и присвоением докторских степеней день, в который сто лет тому назад Гёте записался в здешние списки. Не могу передать, какое чувство отрады внушило мне это случайное совпадение; это наверняка было хорошее предзнаменование для моих лейпцигских лет, и будущее позаботилось о том, чтобы оно по праву называлось хорошим предзнаменованием. Тогдашний ректор Канис попробовал разъяснить нам, собравшимся вместе поступающим, которые составили широкий круг, что гений ходит своими, особенными путями и что, стало быть, студенческие годы Гёте

---

\* Цветочный переулок (нем.).



вовсе не обязаны быть для нас образцом для подражания. На это обращение кругленького подвижного человечка мы украдкой отвечали улыбками, после чего по обычаю пожали ему руку, для чего весь наш круг сгрудился в одну черную массу. Позднее нам выдали наши документы.

Первым радостным событием было для меня первое выступление Ричля, который счастливо причалил к новому берегу. По академическому обычаю сейчас он был должен читать свою вступительную лекцию публично, в актовом зале. Все с напряжением ждали появления знаменитого человека, чье поведение в боннских аферах<sup>123</sup> заставило писать о нем газеты и обсуждать дело в обществе. Поэтому академическое сообщество собралось в самом полном составе, а сзади сгрудились и многочисленные посторонние. И вот он скользнул в зал в своих больших фетровых башмаках, а вообще одетый в безупречный праздничный костюм с белым галстуком-бабочкой. Весело и возбужденно он осматривался в этом новом для себя мире, обнаружив вскоре и лица, не вовсе ему незнакомые. Обходя зал сзади, он вдруг воскликнул: «О, да тут и господин Ницше!» и энергично помахал мне рукой. Вскоре он собрал вокруг себя целый круг боннских своих учеников, самым приятным образом болтая с ними, в то время как зал наполнялся все больше, и появились уже носители академических званий. Заметив это, он весело и непринужденно поднялся на кафедру и начал свою прекрасную речь по-латыни о достоинстве и пользе филологии. Его свободный взгляд, энергичная молодость его слов, беглый огонь в его лице вызывали откровенное изумление. Я слышал, как один старый добродушный саксонец высказался в конце: «Ну и огонек у старичка!» И в первой его лекции в аудитории № 1 была настоящая давка. Он начал читать об Эсхиловой трагедии «Семеро против Фив», и самое важное в лекции я расслышал и записал.

Здесь я сразу хочу сделать замечание о своих посещениях лекций. Ведь тут прежде всего бросается в глаза тот факт, что у меня нет какой-то одной общей тетради для конспектов, а есть только плачевные кусочки. Временами я ощущал беспокойство и тревогу из-за этой своей нерегулярности, но в кон-

це концов и тут нашел спасительную для себя формулу. Ведь, в сущности, в большей части лекций меня привлекало вовсе не их содержание, а лишь форма, в какой педагог академического ранга доносит свою мудрость до людей. Метод был тот самый, к которому я испытывал живейшую симпатию; я же видел, как мало в университетах преподают содержательную сторону дела и как, несмотря на это, такого рода обучение повсюду ценится превыше всего. Тогда мне стало ясно, что образцовость этого метода – как обращаться с текстом и т.д. – тот самый пункт, в котором возникает возможность преобразований. Поэтому я ограничился наблюдением за тем, как происходит обучение, как научный метод вводят в юные души. Я постоянно ставил себя на место лектора и с этой позиции одобрял или осуждал труд известных доцентов. Так что я все больше старался научиться тому, как быть учителем, чем тому, чему обычно обучаются в университетах. В этом меня всегда поддерживало сознание того, что у меня не будет недостатка в знаниях, которых ожидают от ученого, и тут доверялся характерному свойству моей натуры, которая должна по собственному влечению и в соответствии с собственной системой собрать вместе все достойное знания. И мой опыт до сих пор оправдывал это доверие. Свою цель я вижу в том, чтобы стать настоящим учителем практики, и прежде всего пробуждать в молодых людях необходимые осмотрительность и самопознание, которые делают их способными не упускать из вида «почему», «что» и «как» своей науки.

Невозможно сомневаться, что в таком подходе заключается философское начало. Молодой человек сначала должен оказаться в том состоянии изумления, которое было названо *φιλοσοφον παθος κατ' ἐξοχήν*. После того как жизнь разложится для него на одни загадки, он должен сознательно, но со строгим смирением держаться того, что возможно для познания, и по своим способностям делать выбор в пределах этой большой сферы. Сначала я хочу рассказать о том, как пришел к этой точке зрения. Теперь на этих страницах впервые появляется имя Шопенгауэра.

---

\* Основным философским настроением (*ερεχ.*).

Дурное настроение, досады личного плана обычно принимают у молодых людей вселенский характер, если они в принципе склонны только к *δυσκολία*<sup>124</sup>. Тогда я как раз висел в воздухе с кое-какими болезненными переживаниями и разочарованиями, без поддержки, одиноко, без готовых принципов, без надежд и без приятных воспоминаний. Устроить свою жизнь, как я хочу, было моей постоянной мыслью с утра до вечера; для этого я разрушил последнюю из опор, прочно связывавшую меня с боннским прошлым; я порвал узы между собой и этой связью<sup>124</sup>. В блаженном уединении моего жилища мне удалось собрать себя воедино; а если я и встречался с друзьями, так только с Мусхаке и Герсдорфом<sup>125</sup>, которые и сами носились со схожими идеями. – Теперь надо представить себе, как в таком состоянии должно было подействовать на меня изучение главного труда Шопенгауэра. В один прекрасный день в антикварной лавке старого Рона я нашел эту книгу, взял ее в руки, впервые ее вида, и полистал. Не знаю, какой демон шепнул мне в ухо: «Возьми эту книгу домой, купи ее». Уж во всяком случае, это произошло вопреки моему обыкновению особенно не спешить с покупкой книг. Дома я бросился на софу с приобретенным сокровищем и начал впускать в себя этого энергичного мрачного гения. Здесь каждая строка испускала вопль отречения, отрицания, смирения, здесь я увидел зеркало, в котором мир, жизнь и собственное чувство предстали передо мной в своем ужасающем великолепии. Здесь на меня глянул весь безразличный солнечный глаз искусства, здесь я увидел болезнь и исцеление, изгнание и убежище, небеса и преисподнюю. Меня властно охватила потребность в самопознании, даже в проедании себя насквозь; об этом перевороте для меня до сих пор свидетельствуют смятенные, полные меланхолии страницы дневника той поры с их ненужными самообвинениями и отчаянным поиском перспектив исцеления и преобразования самой сердцевины чело- века. Притащив все свои качества и желания на суд мрачного презрения к себе, я сделался непреклонным, несправедливым и безудержным в ненависти к самому себе. Не было недостатка и в телесных мучениях. Так, я две недели сряду заставлял

---

<sup>124</sup> Брюзжанию (*греч.*).

себя ложиться в два часа ночи, а вставать ровно в шесть. Мною овладела нервная возбудимость, и кто знает, до какой степени глупости я дошел бы, если бы этому не воспротивились при-манки жизни, тщеславие и вынужденные регулярные занятия.

В это время был создан «Филологический союз». Однажды вечером множество бывших боннских студентов получили приглашение к Ричлю, среди них и я сам. После ужина наш хозяин принялся энергично подталкивать нас к идее, которая легла в основу филологического союза. Дамы как раз были в соседней комнате, и ничто не мешало словесным извержениям этого деятельного человека, который на основании своего опыта рассказывал об эффективности и воздействии таких союзов. Эта идея задела за живое нас четверых – Виссера, Рошера, Арнольда и меня. Мы осмотрелись в кругу своих знакомых и пригласили избранных провести вечер в «Немецком пивном погребе», чтобы определить основные принципы союза. Восемь дней спустя мы провели наше первое регулярное собрание. Первые полгода мы провели без президента и каждый раз, начиная вечером собрание, одного из нас выбирали временным председателем. Каких только возбужденных, безудержных дебатов там у нас не было! Как трудно было там выделить из общего гама хоть что-то в качестве общего мнения союза! 18 января 1866 года я прочитал свой первый доклад и тем самым в некотором смысле дебютировал в мире филологов. Я сделал объявление, что в ресторации Лёве на Николаиштрассе буду читать о последней редакции Феогнидовых сочинений. Здесь, в сводчатом помещении, преодолев первую робость, мне удалось выступить живо и выразительно, и я даже имел успех, о чем друзья сообщили мне, выказав величайший респект к услышанному. С изумительным чувством окрыленности я пришел домой глубокой ночью и уселся за свое бюро, чтобы записать в «Книгу размышлений» полные горечи слова и по возможности стереть с доски своего сознания тщеславие, от которого вкусил.

Этот окрыляющий успех придал мне духу однажды в полдень принести Ричлю свою работу в том виде, в каком она у меня была, ин-фолио и испещренной заметками на полях. Я, робея, вручил ему ее в присутствии Вильгельма Диндорфа<sup>126</sup>.

Позднее я узнал, насколько неприятными и назойливыми кажутся Ричлю подобные запросы. Короче говоря, он принял работу, возможно, только из-за присутствия Диндорфа. Несколько дней спустя он меня вызвал. Он озабоченно поглядел на меня и велел садиться. «Для какой цели, – спросил он, – Вы предназначили свою работу?» Я сказал то, что лежало на поверхности, – работа, положенная в основу доклада для нашего союза, уже сыграла свою роль. Тогда он спросил, сколько мне лет, на каком я семестре и т.д., а когда я ответил, он заявил, что еще никогда ему не приходилось видеть в студенте третьего семестра ничего подобного по строгости метода и надежности выводов. После этого он оживленно предложил мне переработать доклад в маленькую книгу и пообещал мне помочь раздобыть корректоров<sup>127</sup>. После этой сцены мое чувство самоуважения взлетело до небес вместе со мной. В обеденный час я прогулялся в компании друзей до Голиса<sup>128</sup>, погода была чудесная, солнечная, и счастье рвалось с моих уст. Наконец в гостинице, когда мы сидели за столом, на котором стоял наш кофе с оладьями, я не сдержался и рассказал доброжелательно изумленным друзьям о том, что со мной случилось. Какое-то время я ходил как во сне; это время, когда я родился в качестве филолога; я почувствовал жало похвалы, которая может быть уготована мне на этой стезе.

Особенно благодаря этому повороту жизни я, видимо, понравился одному человеку из моей компании. Это был молодой Готфрид Кинкель<sup>129</sup>, с которым отныне у меня установились более тесные отношения. Я должен кое-что сказать об этом странном субъекте: он был маленьким тщедушным человечком со старообразным безбородым лицом. При этом он обладал гибкостью движений, вызывавшей мысль о привычке к обхождению с женщинами. Ему были свойственны английское равнодушие и апатия ко всему, что его не интересовало. Но самым странным в нем было то, что хотя самим собой он не интересовался ни в каком отношении, да и как филолог писал работы не иначе чем наполовину механические, но на все, что его окружало, смотрел как бы через увеличительное стекло, и прежде всего – на своих друзьях. Когда он принимался описывать кого-

нибудь из нас, мы с хохотом видели себя преобразенными в гиперболические существа. Короче говоря, это была его манера, и он, вероятно, неспешно грелся в блеске своих самодельных солнц. Мы частенько ходили друг к другу в гости, вместе музицировали и предавались беседам о целях филологии. Он, перед глазами которого постоянно витали политические принципы его отца, он, иногда читавший лекции в рабочих кружках, во что бы то ни стало хотел, чтобы на заднем плане маячили политические цели, а я в соответствии со своим складом ума отстаивал жертвенное достоинство науки. Внезапно его тон изменился, он поднялся с места, схватил мою правую руку и поклялся отныне жить согласно моим принципам. Наше с ним общение было смесью уважения, сострадания и удивления. Свои мелкие научные работы, решительно лишённые всякой ценности, он обычно все-таки готовил к печати, глядя на них как на маленькие шедевры. Мне известно, что при всем при том он еще и сочинял стихи, и, вероятно, он пошел бы навстречу своему жгучему желанию показать мне свои творения, если бы я с самого начала и с величайшей решимостью не объявил себя врагом всего этого юношеского рифмоплетства. Отныне я обычно датировал начало самопознания у того или иного юноши тем моментом, когда он швыряет свои вирши в печку, и в соответствии со своими воззрениями так и сделал в Лейпциге сам. Мир и этому праху!

В ту пору я вместе с друзьями ходил питаться в заведение Мана, расположенное в <доме> «Гроссер Блуменберг», совсем рядом с театром. Оттуда мы регулярно заходили в кафе Кинчи, имевшее в моих глазах особое преимущество. Там собирался только избранный круг завсегдатаев, среди которых был проф. Венцель – мы прозвали его Котом; это был маленький человек, обладавший энергичной язвительностью и развешивавшимися седыми волосами; затем редактор лейпцигских «Сигналов»<sup>130</sup>, которого мы в своей невинности, еще не познакомившись с этим господином, сделали объектом своих едких замечаний. Нам очень нравился любезный хозяин, швейцарец Кинчи, человек благожелательный и просвещенный, который любил вспоминать о своих прежних завсегдатаях – Шталь-

бауме, Херлосзоне и Штолле<sup>131</sup>; их портреты висели на старинных побуревших стенах. В этих перекрытых сводами помещениях не разрешалось курить; для меня это было очень выгодно. — По вечерам, а особенно субботним, нас можно было найти в недавно заложенном винном погребке Зиммера. Туда заходили мой друг Мусхаке, Герсдорф, с которым мне надо было обсудить многое, потому что в Гёттингене ему пришлось пережить и выдержать те же вещи, что и мне в Бонне. Теперь эти два друга стали первыми, на которых я направил весь огонь Шопенгауэровых батарей, потому что заметил, что они восприимчивы к такого рода воззрениям. Отныне мы трое чувствовали себя крепко связанными чарами одного имени. Так же крепко мы присматривались к другим натурам, которых хотели затянуть в ту же сеть. Из них достоин упоминания один, по имени Ромундт из Штаде, что в Ганновере. Поначалу он отпугивал от себя людей крикливым неприятным голосом. Так было и со мной, пока я не приучился пропускать это внешнее впечатление мимо ушей. Его обстоятельства были злосчастны. Одаренная натура ни в одну из сторон не указывала ему определенной и достойной стремления цели. В нем были безнадежно смешаны исследователь, поэт и философ, почему его и пожирало вечное недовольство. Что и его взор оказался прикован к Шопенгауэру, само собой понятно после того, как я сказал кое-что о его натуре. С другими мои миссионерские попытки потерпели полный крах. Так обстояло дело, к примеру, с Виссером, у которого сначала можно было заметить родственную основу. Но у него вообще не было никакой склонности к углубленному изучению философии и к необходимой для этого предварительной подготовке. В нем бросалось в глаза главным образом без устали подстрекавшее его честолюбие, которое, не находя себе никакого удовлетворения, приводило в возбужденное состояние всю его натуру, преимущественно нервную систему. Он страстно стремился открыть что-то новое в науке и бывал иногда счастлив, сделав якобы значительную находку, в которой при ближайшем рассмотрении мы, все остальные, не могли обнаружить ничего, кроме мусора. При этом у него была любезная склонность общаться с детьми и стариками из простонародья, и лучше всего он чувствовал себя в простых,

деревенских условиях, где мог что-то значить. Нас он мучил то новым членением пролога к Иоанновому евангелию<sup>132</sup>, то элиминациями текстов Тибулла на основании самого же Тибулла, и мог по-настоящему рассвирепеть из-за того, что в его стараниях мы никак не признавали толку, а признавали только изъяны метода. Надеюсь, что дела у этой добродушной и болезненно-мечтательной души теперь идут лучше.

Пользуюсь возможностью вставить сюда еще несколько слов о людях, с которыми меня сводила судьба. Тут мне на ум приходит прежде всего Хюффер, непрерывно и самым странным образом мучивший и дразнивший обоих наших знакомцев, Ромундта и Виссера, и этим навлекший на свою голову вражду Виссера и дружбу Ромундта. Человек талантливый, которому природа отказала в таком пункте, как талия, он истово занимался изящными искусствами, главным образом музыкой, умело переводил с французского и, будучи весьма состоятельным, предпочел бы неспешно справляться с потоком своих литературных занятий. Мы с ним всегда ссорились из-за музыки; особенно не уставали наши языки и изливалась желчь по поводу значения Вагнера. Сейчас я задним числом признаю, что его музыкальный вкус и чутье были тоньше моих, и прежде всего они шли в более здоровую сторону, чем мои собственные. Но в то время я понять этого не мог, и когда он бесцеремонно возражал мне, я подчас чувствовал обиду. Он и вообще часто вызывал раздражение своей развязностью. Например, однажды мы вместе были в гостях у Ричлей. Хюффер во всю свою ширь развалился в кресле, а когда оно скрипнуло под непривычной тяжестью, непринужденно вскричал: «Да оно не кошерное!» Эти слова, конечно, сильно обидели фрау Ричль, крещенную еврейку. Не иначе у него получилось, когда однажды мы сидели в первом ярусе Лейпцигского театра и без стеснения говорили об одной певице, выступавшей днем раньше. Мы похвалили ее за пение, но тем сильнее отталкивало нас ее на удивление уродливое лицо, необычность которого Хюффер громко и красочно расписывал на все лады. Каковы же были наши ощущения, когда дама, сидевшая в трех шагах от нас наискось, спокойно обернулась, обратив к нам, публичным хулителям, свое лицо,



то самое на удивление уродливое лицо. В досаде, что обидели кого-то зазря, мы не нашли ничего лучшего, чем послать ей после спектакля букет с запиской «Роза – соловью». Мы быстро наняли расторопного посыльного, а после, когда ужинали в «Итальянском саду», он повеселил нас описанием того, что пережил в кратковременном присутствии означенной дамы.

С того дня, когда Ричль так благосклонно оценил мои феогнидовские штудии, я вступил в более тесные отношения с ним. Раза два почти в каждую неделю я приходил к нему в обеденный час и всякий раз заставлял его готовым завязать серьезный или шуточный разговор. Обыкновенно он сидел в кресле, читая «Кёльнише цайтунг», которую он вместе с «Боннер цайтунг» все еще выписывал по старой привязанности. На столе посреди огромного количества бумаг обычно стоял стакан красного вина. Во время работы он пользовался креслом, которое обил сам: он отодрал вышитый верх с подаренной ему подушки для отдыха и прибил его гвоздиками к жалкой деревянной табуретке без спинки. Свои мнения он всегда высказывал без обиняков; ярость к недругам, недовольство существующими условиями, университетские изъяны, капризы профессоров – все это выплескивалось из него с силой, и в этом он, конечно, был антиподом дипломатического склада характера. Но таким же образом он подшучивал и над собой, над своей бесхозяйственностью, благодаря которой он, к примеру, засовывал недавно полученные ассигнации достоинством в 10, 20, 50, 100 талеров в книги, чтобы порадоваться, обнаружив их там когда-нибудь. А что при этом иногда складывались странные обстоятельства в случаях, когда он давал книги студентам взаймы, так что иной бедный студент чувствовал себя ошарашенным нежданным даром, за который было как-то неприлично выражать благодарность и заверение в получении, – об этом нам обычно рассказывала его жена, и батюшке Ричлю приходилось со смущением на лице подтверждать справедливость рассказа. Его ревностное стремление приносить людям пользу и впрямь было поистине величественным; вот почему такое множество молодых филологов, не говоря уже о поддержке, которой они обязаны ему в делах науки, чувствовали себя еще и лично обязанными ему самой горячей преданностью. Он, безусловно,

слишком высоко ценил свой предмет и потому бывал очень недоволен, если филологи слишком далеко заходили в своем интересе к философии. С другой стороны, он старался как можно скорее сделать своих учеников полезными для науки; поэтому он обычно немного щекотал продуктивную жилку каждого из них. При этом у него не было никакого кредо в науке; а особенно раздражало Ричля, когда кто-то полностью и, не имея своего мнения, посвящал себя его, Ричля, достижениям.

С совершенно другим человеческим типом я познакомился в лице Вильгельма Диндорфа. В один прекрасный день я получил от Ричля запрос, не хочу ли я заняться за солидный гонорар одной работой, которая принесет науке значительную пользу. Я отвечал, что не имею ничего против, если при этом получу какую-то пользу и для себя и смогу научиться чему-нибудь достаточно интересному. Тут-то Ричль и поведал мне, что проф. Диндорф придает большое значение подготовке нового указателя к Эсхилу и что он хотел бы поговорить со мной об этом. Тогда я впервые в своей жизни оказался в большой опасности, исходившей с той стороны, где мне благоволили. И вот однажды вечером я пришел к Диндорфу, и хотя сначала меня хотели обмануть, будто профессора нет дома, был все же впущен, когда назвался. Крепкий мужчина с пергаментным лицом и формальной вежливостью, он производил впечатление старосветскости, но в его взгляде, испытующем, неподвижном и требовательном, было что-то такое, что заставляло держаться с ним настороже: вот какой человек открыл мне дверь и проводил в старомодно обставленную комнату. Мы попытались столкнуться по поводу предстоящей задачи. Он потребовал от меня пробы, которую я ему и обещал. Когда я приходил к нему позже, после того, как он уже ознакомился с моим *opusculum*<sup>\*</sup> о Феогниде, он показался мне каким-то сомнительным из-за своей развязной, даже наглой манеры, в которой он меня хвалил, а также своими пренебрежительными воззрениями, обличавшими в нем сильный, но не этичный пессимизм: с другой стороны, в нем просвечивал какой-то отвратительный меркантиль-

---

\* Сочиненьцем (лат.).

ный эгоизм. Его торговля конъюктурами, его манера продавать свои издания направо и налево, немецким и английским книготорговцам, а еще больше – его связь с пресловутым Симонидесом<sup>133</sup> мало-помалу отпугнули меня от него, и наконец я от него отошел, бросив на произвол судьбы все сделанные мною пропозиции<sup>134</sup>. В конце концов, это был даже совет Ричля, которому и самому пришлось кое-что претерпеть от мнимой любви Диндорфа.

Позднее я познакомился и с ярым противником Диндорфа, повсеместно известным Тишендорфом<sup>135</sup>. Мне были доверены некоторые листы пергамента различных столетий, и среди них один палимпсест из наследия проф. Кайля<sup>136</sup>, навести справки о возможной стоимости которого я был должен в интересах его вдовы. Я воспользовался этой возможностью, чтобы получить доступ к человеку, снискавшему себе за границей неслыханный авторитет в качестве представителя специфически немецкой науки и по этой причине полностью утратившему даже свою хорошую репутацию в узких кругах немецких ученых. Я знал, с кем мне предстоит иметь дело, когда однажды вечером, на отдаленной, красивой и тихой улице спросил, дома ли он. «Надворного советника» дома как раз и не было, и меня так и выпроводили бы, если бы я не убедил слугу, а потом и супругу, что он может прийти в любой момент. Таким путем я все-таки отвоевал для себя окрестности его рабочего кабинета, где не смог обнаружить ничего напоминавшего о науке; кругом грудями лежали почтовые конверты и греческие библейские тексты. А ведь поговаривали о какой-то полке, где находились *opera omnia* великого человека, и о шкафе, предназначенном для хранения бесчисленных орденов и отличий, которыми монархи и академии удостоили удачливого первооткрывателя. Когда этот маленький, сутулящийся человек со свежим румяным лицом и черной вьющейся шевелюрой появился, я изложил ему свое дело, которое он справедливо расценил как мелочь, но при этом позволил разглядеть две черты своего характера. Едва взглянув на лист с образцово красивым греческим курсивным письмом 11-го столетия, он отважно заявил, что у него есть другая, не-

---

\*Собрание сочинений (лат.).

достающая часть этого листа, но никаких доказательств этому не привел. Когда затем я указал ему на полностью стертый текст другого листа, где, напрягая глаза, можно было различить лишь отдельные буквы в разных местах, он столь же быстро, сколь и отважно, вычитал одно слово в месте, где я не увидел почти ничего, а это слово встречается только однажды – в евангелии от Марка, – и потому может доказывать, что мы, видимо, имеем дело с фрагментом этого евангелия. Про себя я радовался этой фокуснической проделке, а он, наверное, в свой черед, радовался, что дал якобы столь блистательное *specimen ingenii*. После этого, проникшись ко мне бóльшим доверием, он принялся показывать мне множество отличных листов и в то же время до крайней степени подогревать мой аппетит к его предстоящему курсу лекций по палеографии. Это и впрямь был тот курс, который я слушал с неизбывным рвением, хотя в смысле метода и систематического изложения тут нельзя было научиться вообще ничему. И еще неизвестно, как следовало назвать этот курс – «Палеографией» или «Тишендорфовыми переживаниями и воспоминаниями». Как бы там ни было, он пахивал душком, вдвойне пикантным как раз для поборника истово верующей теологии. Основной пункт составляло выписанное вплоть до нечистых деталей изображение подделки Симонидеса<sup>137</sup> и ее разоблачения Тишендорфом. При этом, несмотря на то, что изложение было лишено принципов, отдельные замечания и наблюдения обладали очень большой ценностью для друзей палеографии, потому что, уж конечно, не было еще на свете человека, который, подобно Тишендорфу, опытным взором рассмотрел две сотни греческих рукописей, датированных временем до девятого столетия, и исследовал их в палеографических целях. В то же время в его собрании были бесценные образцы и документальные свидетельства для всех работ о письменных знаках, а, с другой стороны, он умело пробуждал нашу любознательность, указывая на сокрытые сокровища, еще дремлющие где-то в неприкосновенности. Так он приманивал нас одним бесценным папирусом, полным больших фрагментов из Гомера, и этот папирус, по его словам, был

---

\* Демонстрацию способностей (*лат.*).

в руках у одного англичанина в Александрии, но мог быть передан только жениху его дочери, смуглой, уже немолодой дамы.

Еще он рассказывал мне об одном пока не описанном палимпсесте из Неаполя. По его слову в университете мне выдавали на руки еще не прочитанные палимпсесты, на которых под грубой сирийской надписью виднелись буквы седьмого столетия. В этих примерно тридцати листах дремлют мощи какого-то греческого грамматика, который, сдается, писал *περί ορθογραφίας*<sup>\*</sup>. Еще хочу заметить, что нашел там фрагмент о Гесиоде в три слова.

1] ΜΕΡΟΕΝΤΑ ΜΕΤΕΙΧΕ...  
ΜΗΔΕΑ ΩΣ ΗΣΙΟΔΟΣ

В личном общении Тишендорф был неистощим в бурных проявлениях самого наивного и незамутненного тщеславия. Прежде всего он гордился тем, что великий пожиратель немцев Кобет<sup>138</sup> находил в нем удовольствие. «Немецкие филологи все как один ничего не смыслят, – говорил он как будто ему, – и только ты порядочный малый.» Когда однажды Германн<sup>139</sup> чего-то хотел от него, Кобет ему даже не ответил. Мне же он писал «горячие любовные послания»<sup>140</sup>. В таком духе он болтал о своих друзьях, по поводу невежества которых в палеографии иногда отпускал остроты. Тщеславие Тишендорфа было оскорбительным и вызывало отвращение: и после двухминутного знакомства с ним можно было сделать вывод, что тут сталкиваешься с психологической проблемой. В этом человеке соединялось множество отдельных черт: необычайно сообразительный и ловкий, даже дипломатически хитрый, фантазирующий, фривольный, крайне пронизательный в своей области, педантично-точный в публикациях, наивно-тщеславный без всяких границ, алчный, *defensor fidei*<sup>\*\*</sup>, царедворец, книжный спекулянт; voilà список его характерных черт, имеющий довольно пестрый вид. Вот уж поистине *ψυχη ποικιλη*<sup>\*\*\*</sup>.

---

\* О правописании (*греч.*).

\*\* Защитник веры (*лат.*).

\*\*\* Переменчивая (непостоянная) душа (*греч.*).

Во вторую свою лейпцигскую зиму я при случае занимался палеографией. Благодаря Ричлю я получил почти неограниченный доступ к рукописным сокровищам лейпцигской Сенатской библиотеки и, встречая предупредительное отношение библиотекарей, чувствовал себя здесь чудесно. В мрачной комнате Арсенала<sup>141</sup> я бодро сживал в послеобеденные часы за длинным зеленым столом, передо мной лежала какая-нибудь латинская рукопись, к примеру, Теренция, Стация или Орозия. Немало привлекали меня и загадки Альдхельма<sup>142</sup>, для решения которых я нашел множество ценных вариантов. В кодексе Орозия<sup>143</sup> одиннадцатого века я обнаружил своего рода указатель слов, подшитый к рукописи и относящийся к тому же времени; в нем встречаются отдельные немецкие слова вроде *steofvater, froasco snebal, rocchen (colo)*\* и т.д. Из богатых запасов старопечатных изданий мое внимание обратил на себя некто Уолтер Бёрли<sup>144</sup>, неизвестный библиографическим справочникам: *Walter Burley, de vita philosophorum*, шифр в Лейпцигской Сенатской библиотеке НЛ ф<sup>м</sup>, без обозначения автора и даты, семь листов указателя, два столбца, пятьдесят листов текста, на пятидесятой справа один столбец отчетливым готическим шрифтом. Водяной знак:



Здесь мне хотелось бы также вспомнить о безупречной предупредительности, которую всегда проявляли ко мне служащие университетской библиотеки. Их обращение вызывало мысли о знаменитой саксонской учтивости и любезности, но было лишено теневых сторон этих последних. Мои запросы на книги эти превосходные господа часто обслуживали, жертвуя своим временем и своими силами; ни разу они не проявили по отно-

---

\* Отчим, лягушка <, > снежок (или калина), возделывать (*ден.*, перевод предположительный).

шению ко мне недовольства, если я приходил слишком часто или со слишком большими заказами. С особенной признательностью называю имя проф. Пюккерта.

В нашем филологическом союзе я прочитал четыре более или менее больших доклада, вот каких:

1. Последняя редакция Феогнидовых сочинений,
2. Библиографические источники Свиды<sup>145</sup>,
3. *πινακες*\* к аристотелевским сочинениям,
4. Эвбейская война поэтов<sup>146</sup>.

Эти темы примерно характеризуют основные направления моих научных занятий. При этом должен заметить, что к третьему пункту в качестве заднего плана я использовал критику источников Диогена Лаэртция. Я с самого начала ощущал склонность к этой теме; кое-что сюда относящееся я собрал уже за первый семестр в Лейпциге. Много об этом я рассказывал и Ричлю. Так вот и вышло, что однажды он с таинственным намеком спросил меня, не возьмусь ли я за исследование источников Лаэртция, если получу определенный импульс с некоей другой стороны. Меня долго мучил смысл этих слов, пока в момент просветления я не догадался, что эта тема будет следующей призовой темой, установленной университетом. В то утро, когда должны были публиковаться темы, я поспешил к Кинчи и жадно схватил «Лейпцигские новости» – и что же? Я увидел там долгожданные слова: *de fontibus Diogenis Laertii*\*\*. В последующее время связанные с этим проблемы занимали меня чуть ли не день и ночь; один ход мыслей тянул за собою другой, пока, наконец, в рождественские каникулы, которые я использовал для просмотра полученных результатов, меня внезапно не осенило: можно заметить определенную связь между вопросами по Свиде и по Лаэртцию. В тот вечер, когда меня осенило, я подивился тому счастливому обстоятельству, что сначала, будто повинаясь верному инстинкту, я исследовал источники Свиды, а потом Лаэртция, и вот внезапно в руках у меня оказался ключ к решению обоих вопросов. – Я быстро и расторопно продви-

---

\* Указатели (*греч.*).

\*\* Об источниках Диогена Лаэртского (*лат.*).

гался с моей комбинацией вперед каждый день – но тем труднее давались мне потом решения в обработке результатов. Однако время поджимало все ужасней; несмотря на это, прекрасные летние дни проходили для меня в веселых удовольствиях и в общении с другом Роде<sup>147</sup>, мало того, меня начинали мучить новые научные интересы, вынуждая упорно размышлять. И главным образом – проблема Гомера, к которой на всех парусах устремился мой последний доклад в союзе. Наконец, когда уже нельзя было терять ни одного часа, я уселся за работу о Лаэртии и как можно более просто и ясно свел воедино свои результаты. Пошел ужасный последний день июля; я пришпоривал себя изо всех сил и добился того, что в десять часов вечера уже мчался с готовой рукописью к Роде, пробираясь сквозь темную, дождливую ночь. Друг уже ждал меня, приготовив мне для подкрепления сил вино и стаканы.

В одном письме ко мне Роде сам однажды воспользовался такой метафорой: оба мы в последнем семестре в известном отношении сидели на приставном сиденье. Это совершенно правильно, но дошло до меня, лишь когда семестр кончился. Без всякого нашего сознательного намерения, руководимые каким-то верным инстинктом, мы почти весь день проводили вместе. Мы не работали много в мещанском смысле, и все-таки отдельные проведенные таким образом дни причисляли к своим удачам. До сей поры это единственный случай в моей жизни, когда дружба начиналась на этико-философском фоне. Обыкновенно такой фон составляют общие пути в занятиях, сводящие людей вместе. Но сферы наших научных интересов были относительно далекими друг от друга, пересекаясь лишь в иронии и сарказмах по поводу манер и проявлений тщеславия филологов. Как правило, мы сходились в жарких схватках, мало того, было огромное количество вопросов, по которым у нас не было согласия. Но как только разговор поворачивал в глубины, диссонанс мнений утихал, и раздавался спокойный и полный гармонии аккорд. А разве в дружбе и знакомстве не бывает, как правило, чего-то совсем противоположного? И не приходится ли молодым людям именно тут испытывать сильнейшее разочарование? Поэтому я с большим удовольствием вспоминаю обо всем том времени и часто вызываю в себе кар-



тины веселых ночей в стрелковом клубе или тихих часов отдыха в каком-нибудь уголке Плейсе<sup>148</sup>, которые мы вдвоем вкушали как художественные натуры, на время отрешившись от толчеи беспокойной воли к жизни и предавшись чистому созерцанию.

Тут я замечаю, что, изображая свое лейпцигское прошлое, я немного незапланированно перескакивал туда и сюда, перемешивая персоны и полугодия. Чтобы ориентироваться самому, я записываю здесь в виде списка достойные упоминания пункты для каждого семестра.

### 1-й семестр. Октябрь 1865 – Пасха 1866

Зима. Снимаю жилье у Рона, Блуменгассе, 4, в саду

Знакомство с сочинениями Шопенгауэра

Сочинил «Куге»

«Книга размышлений»

Основание Союза

Доклад о Феогнидовых сочинениях

Знакомство с Ричлем

Общение с Мусхаке, Герсдорфом

Кузен Шенкель<sup>149</sup>

Риделевский союз<sup>150</sup>: «Страсти по Иоанну», «Высокая месса»

Т. ф. Арнольд, «Утренники музыки будущего»

Саксонский король в Лейпциге

Попойка лейпцигских филологов

Прилежная работа в пасхальные каникулы

### 2-й семестр. Пасха 1866 – октябрь 1866

Лето. Снимаю жилье у Ридигса, Элизенштрассе, 7, первый этаж

Политические волнения

Оценка Бисмарка в Лейпциге

Немецкая война<sup>151</sup>

Пруссаки в Лейпциге

Переворот в политических убеждениях<sup>152</sup>

Доклад об источниках «Свиды»

Подготовка «Феогнидовых сочинений» для «Рейнского музея»<sup>153</sup>, во время недели сражения при Садова<sup>154</sup>

Хедвига Раабе<sup>155</sup> в Лейпциге

Общение с Ромундтом, Виндишем, Рёшером, Хюффером, Кляйнпаулем

Лодочные прогулки

Заказ Диндорфа

Каникулы в Кёзене – бегство от холеры

Занятия лексикологией. Опыт систематики интерполяций <, вносимых> в греческих трагиков

3-й семестр

Приступил к *De fontibus Laertii*\*

В Рождество нашел решение

Написал работу об аристотелевских *πινακες*

Сличал codd.\*\* в Сенатской библиотеке

Знакомство с Тишендорфом

Я – президент Филологического союза

Член Филологического общества

Занятия ономастологией

4-й семестр. Пасха 1867 – осень 1867

Лето. Живу по адресу: Вестштрассе, 59

Ночи в Стрелковом клубе

Общение с Роде и Кляйнпаулем

Окончание работы о Лаэртии

Доклад об эвбейской войне поэтов

Вечер конъектур у Зиммера

Уроки верховой езды у Билера вместе с Роде

Последняя попойка Союза

«Прекрасная Елена» Оффенбаха

В последние дни живу в Итальянском Саду, на один пролет выше Роде

---

\* Об источниках <Диогена> Лаэртия (лат.).

\*\* Codices, кодексы (лат.).

Друзья в последний раз собираются у нас  
Прощание со студенчеством  
Радости от общения с природой. «Нирвана»<sup>156</sup>  
Прощание с Ричлем  
Поездка в Баварский лес с Роде

5-й семестр. 5 октября 1867 – Пасха 1868

Филологический праздник в Галле

Поездка в Берлин

Военная служба<sup>157</sup>

Занятия Демокритом

Моя работа о Лаэртии получила премию

Планы и намерения. «История литературных занятий». *De Homero Hesiodoque aequalibus*. Подготовка доклада. «О Шопенгауэре как писателе»<sup>158</sup>

---

\* Гомер и Гесиод как современники (лат.).

1868

То, чего я боюсь, – не ужасная фигура, стоящая за моим стулом, а ее голос: и даже не слова, а отвратительно невнятный и нечеловеческий тон этой фигуры. Да-а... если бы она еще говорила, как говорят люди!

Цепь событий, побудительных мотивов к деятельности, в которых ищут случайности внешней судьбы или причудливое непостоянство, позднее выявляется как путь, отысканный уверенно нащупывающей рукою инстинкта.

*Пфорта.*

Униформирующее принуждение в распределении времени.

Реакция, состоящая в откровенном пренебрежении определенными сферами при занятиях искусствами.

Возможно, филологическая трезвость и сухость вызвали бы во мне отвращение: но Штайнхарт<sup>159</sup> как образец универсально-животворной и животворящей свой предмет личности меня вдохновил. Корсен<sup>160</sup> как естественный враг всякого мещанства – и все же занятый самой бодрой научной деятельностью.

Впервые возникающее в нас представление о какой-либо профессии обычно абстрагируется из личности первого встреченного нами ее учителя.

От смутных блужданий по многим направлениям моих талантов меня предохранила известная философская серьезность, которая получала удовлетворение перед лицом обнаженной истины и всегда была неустрашимостью, даже склонностью к суровым и злым выводам. Стремление не сгнуться в универсальности погнало меня в объятия строгой науки.

Кроме того, было страстное желание в гавани объективности обрести спасение от быстрой смены чувств, свойственной художническим склонностям.

Люди проявляют к себе честность либо со стыдом, либо с тщеславием.

Мне всегда казалось, что стоит обращать внимание на то, какими индивидуальными путями в наши дни люди приходят именно к классической филологии. Это даст мне возможность сказать кое-что общепризнанное: некоторые другие науки с их цветущей молодостью и удивительной производительностью имеют большее право на свежие силы деятельных талантов, чем как раз наша филология, правда, еще бодро вышагивающая, но там и сям уже демонстрирующая признаки старческого увядания. Я не говорю о натурах, которых бросает на эту тропу обыкновенное желание заработка; мало привлекательны и те, что безропотно приучаются к той же профессии в руках филологов-воспитателей. Многими движет врожденная педагогическая жилка, но и для них наука – всего лишь эффективный инструмент, а не серьезная цель их жизненного пути, на которую направлен их жаждущий взор. Существует маленькая община людей, с артистическим удовольствием развлекающихся миром греческих форм, и еще более малочисленная – тех, для кого мыслители древности еще не додумали сами и не додуманы до конца другими. Я не имею никакого права причислять себя исключительно к одному из этих двух классов людей: ведь путь, которым я пришел к филологии, лежит одинаково далеко и от практичной хитрости и низкого эгоизма, и от того, на котором впереди идет горячая любовь к античности. Сказать последнее нелегко, но зато это честно.

Наверное, я вообще не принадлежу к числу специфических филологов, которым природа железным пером начертала на лбу «Это филолог» и которые идут предначертанным для них путем с полнейшей невинностью, с детской наивностью. Иной раз проходишь там и сям мимо таких вот полубогов филологии и замечаешь, насколько в корне отличается все созданное инстинктом и властной силой природы от того, что произведено образованием, рефлексией и, может быть, даже покорностью судьбе.

Этим я вовсе не хочу сказать, что целиком и полностью принадлежу к числу таких покорных судьбе филологов: но ког-

да я гляжу назад, на то, как от искусства я пришел к философии, от философии к науке, а в ней, в свой черед, к все более узкой области, то выглядит это чуть ли не как сознательное отречение.

Мне полагалось бы думать, что важнейшее в жизни человека происходит к двадцати четырем годам, пусть даже то самое, что делает его жизнь достойной жизни, раскроется только потом. Ведь примерно до этого возраста из всех событий и переживаний, полученных в жизни и мышлении, молодой человек выхватывает только типическое – и потом уже никогда больше ему не выбраться из мира этих типов. А когда позднее этот идеализирующий взгляд гаснет, мы оказываемся во власти того мира типов, который переходит к нам по наследству как завещание нашей юности.

Другой вопрос, будем ли мы у названного возрастного рубежа уже в состоянии

Мне же, который только переступил названный возрастной рубеж, да будет позволено<sup>161</sup>

Мое воспитание в своих главных пунктах было предоставлено мне самому. Батюшка мой, сельский протестантский священник из Тюрингии, умер слишком рано, и мне не хватало строгого и разумного руководства со стороны мужского интеллекта. Поступив в Пфурту в мальчишеском возрасте, я познал лишь суррогат отцовского воспитания – униформирующую дисциплину хорошо организованной школы. Но именно это почти воинское принуждение, нацеленное на массу, а потому холодно и поверхностно затрагивающее все индивидуальное, привело меня назад, к самому себе. Я спасал свои личные склонности и устремления перед лицом закона однородности, я жил сокровенным культом определенных искусств и в лихорадочных поисках универсального знания и наслаждения старался нарушить окаменелый распорядок дня и свободного времени, предписанный правилами. В моей тогдашней жизни не произошли подходящие внешние случайные события, иначе я тогда рискнул бы сделаться композитором. Ведь к музыке я уже на десятом своем году чувствовал сильнейшую тягу; в том блаженном состоянии, когда человек еще не ведает пределов своего дарования

и считает достижимым все, что любит, я написал бесчисленные композиции и добился более чем дилетантского знания теории музыки. Только в последнее время своей пфортенской жизни я в порыве правильного самопознания отказался от всех будущих путей жизни, связанных с искусством; с тех пор на образовавшемся таким образом свободном месте пришла филология.

Я жаждал найти противовес переменчивым и мятущимся склонностям, владевшим мною доселе, в лице какой-нибудь науки, которую можно было бы двигать вперед с холодной рассудительностью, с ледяной логикой, в ходе однородной работы, не принимая ее результаты слишком близко к сердцу. И все это я думал тогда найти в филологии. Предпосылки для занятий ею прямо-таки вкладываются в руки ученику Пфорты. В этом заведении перед ним подчас ставятся специфически филологические задачи, к примеру, дать критический комментарий к определенным софокловским или эсхилловским хорам из трагедий. Кроме того, особенное преимущество Пфорты, которое весьма полезно будущему филологу, заключается в том, что усердное и всестороннее чтение греческих и римских писателей считается хорошим тоном среди самих учеников. Однако самым удачным для меня было то, что я встретил превосходных учителей-филологов, исходя из личностей которых строил свое представление об их науке. Если бы в ту пору у меня были учителя такого сорта, который нередко можно найти в гимназиях, – бездушные педанты с рыбьей кровью, которым в науке ведом лишь ученый прах, то я отбросил бы прочь самую мысль о том, чтобы отдаться науке, коей служат подобные злодеи. Но у меня перед глазами были такие филологи, как Штайнхарт, Кайль, Корсен, Петер, – мужи со свободным взглядом и свежим подходом, которые отчасти дарили своей благосклонностью и меня. Так и вышло, что уже в последние годы моей пфортенской жизни я самостоятельно занимался двумя филологическими работами. В одной я стремился описать сказания об остготском короле Эрманарихе в их вариантах согласно источникам (Иордан, «Эдда» и т. д.), в другой – обрисовать особую форму греческой тирании, а именно мегарскую. В Пфорте при выпуске принято оставлять после себя какой-нибудь письменный памятник – моя вторая работа и была



предназначена как раз для этого, а заодно стала для меня литературным портретом мегарца Феогида<sup>162</sup>.

Проведя в стенах Пфорты шесть лет, я сказал ей, строгой, но полезной наставнице, прощай, и отправился учиться в Боннский университет. Там я с удивлением заметил, насколько хорошо натасканным, но плохо воспитанным приходит в университет вот такой питомец княжеской школы. Он очень многое думал про себя, а теперь ему не хватает умения проявить эти мысли вовне. Он еще ничего не знает об образовательном влиянии женщин; ему кажется, что он узнает жизнь из книг и разговоров о прошлом, но сейчас все представляется ему таким непривычным и неприятным. Так со мной и было в Бонне: не все те средства, за которые я хватался, чтобы устранить такого рода неприятности, были, наверное, выбраны правильно, и досада, неудобное общество, принятые на себя обязательства и т.д. составляли<sup>163</sup>

Я, сын сельского протестантского священника, родился 15 октября 1844 года в деревне Рёккен, неподалеку от Мерзбурга<sup>164</sup>, и там прожил первые четыре года моей жизни. Но когда безвременная смерть моего отца вынудила искать новую родину, выбор моей матушки пал на Наумбург. Здесь в одном частном институте я получил подготовку к учебе в соборной гимназии этого города, но проучился в ней недолго. Вскоре представилась возможность поступить на место в соседней Пфорте. Предпосылки для занятий филологией прямо-таки вкладываются в руки ученику Пфорты. В этом заведении перед ним подчас ставятся специфически филологические задачи, к примеру, дать критический комментарий к определенным софокловским или эсхиловским хорам из трагедий. Кроме того, особенное преимущество Пфорты заключается в том, что усердное и всестороннее чтение греческих и римских писателей считается хорошим тоном среди самих учеников. Однако самым удачным для меня было то, что я встретил превосходных учителей-филологов, таких, как Штайнхарт, Корсен, Коберштейн, Кайль, Петер, которые отчасти дарили своей благосклонностью и меня:

---

\* Повтор текста (который был тремя абзацами ранее) – в оригинале. (Прим. изд.).

Проведя в стенах Пфорты шесть лет, я с благодарностью сказал ей, строгой, но полезной наставнице, прощай, и отправился учиться в Боннский университет. Здесь какое-то время я занимался филологической стороной критического изучения евангелий и исследованием новозаветных источников. Кроме этих теологических набегов я был слушателем филологических и археологических семинаров. Издалека я с почтением относился к личности Фридриха Ричля. Поэтому я счел вполне естественным покинуть Бонн в то же время, что и он, и выбрать своей новой академической родиной Лейпциг.

Там я почувствовал себя очень хорошо; прежде всего я обнаружил некоторое число товарищей, настроенных так же, как и я, с которыми я вскоре сошелся в Филологическом союзе. В нем я прочел пять больших докладов, названия которых надо привести здесь же. «Последняя редакция Феогнидовых сочинений», «Источники Свида», «Указатели к аристотелевским сочинениям», «Гомер и Гесиод как современники», «Киник Менипп и сатиры Варрона». Затем по инициативе Ричля в «Рейнском музее» были напечатаны следующие мои статьи: «К истории собрания Феогнидовых изречений», «Симонидова песнь Данаи», «De Laertii Diogenis fontibus». В 1866 году я взялся решить призовую задачу, поставленную философским факультетом<sup>165</sup>. Сообщение о том, что с задачей я справился, я получил в Наумбурге. Дело в том, что летом 1867 года я выписался из списков университета, потому что тем временем был признан годным к военной службе. У меня было много работы и учебы в качестве кавалериста-артиллериста; но вследствие неудачного падения у меня развилась опасная болезнь<sup>166</sup>, в ходе которой мне выпало и кое-что приятное: я смог вернуться к своим научным занятиям раньше, чем позволяли армейские правила. В октябре 1868 года я покинул Наумбург как полностью выздоровевший, чтобы готовиться в Лейпциге к защите докторской диссертации и получению доцентуры. Дело в том, что я хотел сделать эти два дела одновременно; но по существующим академическим законам мне не было разрешено получить доцентуру раньше Пасхи 1869-го. —

*Фридрих Вильгельм Ницше*

# Избранные письма

*1. Густаву Кругу и Вильгельму Пиндеру*

*[Пфорта, 14 января 1861]*

Дорогие друзья. Вот и снова миновали чудесные деньки, когда мы могли говорить подольше и почаще, прошли времена, сулившие так много надежд в ожидании, времена, столь отрадные в воспоминании. И чтобы, с одной стороны, выполнить свое обещание, а с другой – снова побеседовать с вами если и не лично, то хотя бы в душе, я собираюсь сейчас направить вам кое-какие слова не столько о том, что я пережил, чем наслаждался, что слышал и видел, сколько о некоторых идеях, которыми мы с вами так много уже обменивались в совсем недавнем прошлом. Ведь что же мне сообщать о своей нынешней жизни? Что мы сильно заняты? И что работе к тому же мешают мысли о каникулах? Что времени на любимые занятия остается мало, увы, слишком мало? Ведь все это вы уже и сами узнали и еще узнаете. Так зачем же мне тогда усугублять ваше уныние? Право же, намного приятнее все-таки бежать из тиранического царства принуждения в пределы свободной воли. Поэтому я хочу без дальнейших отступлений обратиться к материалу, который сейчас на короткое время пусть прикует к себе ваше внимание. И материал этот имеет отношение к преобразованию оратории. Если до сих пор всегда думали, будто в духовной музыке оратория занимает такое же место, какое опера – в светской, то мне кажется, что это неправильно, мало того, что это для нее унижение. Оратория уже сама по себе отличается большей величественной простотой, а раз так, то она должна быть музыкой возвышенной, и притом возвышенной в строго религиозном смысле. Поэтому оратория пренебрегает теми средствами, которые нужны опере, чтобы воздействовать на публи-

ку; никто не сочтет ее чем-то сопутствующим, каковой все еще является для толпы музыка оперная. Здесь не пробуждается никакое чувство, кроме слуха. Да и темы ее бесконечно более просты и возвышенны, мало того, они по большей части известны и без труда воспринимаются всеми, даже людьми необразованными. Поэтому, я думаю, оратория как музыкальный жанр стоит выше оперы, ведь ее средства проще, воздействие более непосредственно, а распространенность, видимо, как минимум шире. Если последнее неверно, то причины нужно искать не в самом по себе музыкальном жанре, а отчасти в манере исполнения, отчасти – в пониженном интересе к ней нашей эпохи. Что же касается манеры исполнения, то она, во-первых, чересчур сложна, а потом, в ней ощутима нехватка единого подхода. Как музыкальное произведение, разбитое на кучу мелких и не связанных между собою частей, может производить единое и главным образом священное впечатление! Поэтому я полагаю, что произведение должно члениться на меньшее число больших по размеру частей, соответствующих развитию событий и обладающих исключительно единым характером. Во-вторых, изъян состоит в слишком уж искусственной, допотопной манере исполнения, подходящей больше для кабинетов, чем для наших церквей и залов, и только затрудняющей восприятие музыки необразованными людьми, даже делающей его невозможным. Правда, надо признать: подобное произведение при однократном прослушивании можно и должно не продумать, не понять, а только воспринять. И никто не станет отрицать, что фугу может воспринять и человек необразованный, особенно если она лаконична и энергична, а не растянута на огромное количество тактов, а потому неблагозвучна и скучна. Но главная причина невеликой популярности оратории следует искать, наверное, в том, что часто музыку безбожно принимают за нечто светское. А основное требование в том и заключается, чтобы на всех ее чертах лежала печать священного, божественного. Поэтому любая оратория должна отвечать трем требованиям: всюду носить единый, связный характер, глубоко проникать в чувства и, наконец, неизменно быть строго религиозной и возвышенной. Есть и еще одно требование, и оно поистине необходимо и неизбежно. Я имею в виду ис-

ключение речитатива и его соответствующую замену. Ведь совершенно невозможно пропеть чисто непозитическое повествование, не вызывая сбивающее с толка и отчуждающее впечатление. Но и соответствующую замену так просто не придумать. Если уж повествование необходимо и неизбежно, то, мне кажется, нужно было бы читать слова в сопровождении музыки. Тогда в ораторию был бы привнесен новый элемент, а именно мелодраматический. В противном же случае надо, насколько возможно, избегать всего, что не поется, и уж лучше восполнять отсутствующие промежуточные звенья, которые слушателю очень легко восстановить по памяти, когда речь идет о хорошо известных повествованиях, музыкальными интерлюдиями, по характеру схожими с повествованием. —

В надежде высказать вам свои дальнейшие мысли об этом в ближайших письмах и из-за нехватки времени я должен сейчас закончить. Что, ноты уже пришли? Я очень их жду. В следующий раз давайте еще перешлем друг другу наши январские взносы, а от Вильгельма я, может быть, получу и пропущенный декабрьский. Напишите же как можно скорее: я прямо-таки тоскую по письму, чувствуя себя таким отлученным и отделенным от вас. В остальном желаю, чтобы дела у вас всегда шли хорошо и чтобы иногда вы вспоминали о своем друге в Пфорте.

*Semper nostra manet amicitia*

2. *Элизабет Ницше*

[*Пфорта, конец ноября 1861*]

*Менцель*, История последних сорока лет, 1816-56, 2 тома, Штутгарт, 1859. 1 т[алер] 28 згр<sup>2</sup>.

*Баррау*, История Французской революции 1789-99, 2 тома, Бранденбург, 1859. 1 т. 6 згр.

Обе в Берлине, у Гзеллиуса.

---

<sup>1</sup> Да сохранится наша дружба навсегда (*лат.*).

<sup>2</sup> Зильбергрошей.

Милая Лиза. Вот мои пожелания, которые со вчерашнего дня изменились в том смысле, что я больше вообще не хочу ничего музыкального. Но эти исторические работы мне чрезвычайно желательны. Ты должна знать, что теперь я сильно интересуюсь историей. Кроме этих, у меня нет совсем никаких пожеланий; если ты захочешь что-нибудь мне подарить, то подари коробочку бриолина, который полезен для моих волос. Ты не хочешь, чтобы тебе дарили «Любовь и жизнь женщины»<sup>167</sup> – мне досадно это слышать, во-первых, потому что оппозиция исходит из уст, которые, мне кажется, вообще не должны судить о таких красотах, а во-вторых, потому что я думал не столько о пении, сколько о фортепианном исполнении. Конечно, с пением у тебя, наверное, будут трудности, по крайней мере, в отдельных вещах. И раз ты не хочешь, могу предложить тебе что-нибудь другое, Шуберта, например. Испытываешь ли ты совершенно невероятную радость от наступающего Рождества? Жаль, конечно, что я не могу пожелать себе ничего музыкального. Но в каникулы я многое себе перепишу, а потом сыграю тебе. Ведь так будет гораздо дешевле. Давай проведем каникулы по-настоящему чудесно. Кстати, ты могла бы быстренько сделать мне одно одолжение. Завтра мне будет страшно нужен чехол на перину, пришли его мне в сундуке, а кроме того, том Беккеровой «Всемирной истории», в котором идет речь о Реформации, и последний том «Новейшей истории» из того же издания. Да уж, пожалуйста, не забудь! Иначе я больше писать не буду. Итак, моя первая карточка с пожеланиями уже не считается. Но не показывай тетушкам новую до четверга. А при заказе обрати внимание на то, чтобы там были точно те слова, которые я написал. Будь здорова и счастлива! Тысяча приветов маме, когда она вернется.

*Твой Фриц*

Я снова передумал, но теперь уже окончательно. Высказанные пожелания я отбросил и теперь хочу получить *Ард*, «История Французской революции 1789-99», 6 томов, Брауншвейг, 1851, в переплете, Берлин, Гзеллиус. 3 т[алера], а больше ничего. Передай это тетушкам.

### 3. Франциске Ницше и Элизабет Ницше

[Пфорта, конец ноября 1861]

Милая мама! Или милая Лиза! Смотря кто первой из вас прочтет это письмо. Ты могла бы подумать, что, так много раз изменив свои пожелания, я могу изменить их еще раз. Так оно на самом деле и есть. Я снова вернулся к музыке, потому что никак не могу представить себе рождественский подарок без чего-нибудь музыкального. Надеюсь, мой выбор удачен, в том числе и для тебя. Да и книга в высшей степени интересна, может быть, для тебя тоже. На обороте я запишу то и другое так, чтобы можно было оторвать часть листа и показать книжному торговцу. Какое-нибудь изменение теперь уже вообще невозможно, хотя бы только ввиду остающегося времени. Эта мысль пришла ко мне наутро, ибо я сильно колебался. Желать себе работу о Французской революции – собственно говоря, излишне, потому что лучшие и самые дорогие работы есть в библиотеке. Я и вообще намерен становиться все более скромным в своих желаниях, естественно, не собираясь ставить каких-либо границ для щедрости дарящих. Кстати, милая Лиза, покорнейше благодарю тебя за то, что ты так правильно выполнила все мои просьбы, за яблоки тоже большое тебе спасибо. А как насчет воскресенья в Альмрихе? Пожалуйста, захватите для меня «Валленштейна» у тетушки Лины, нам нужно написать характеристику Антонио Пикколомини из него. –

Суббота, которая через две недели! Что за восхитительная мысль! Вы не поверите, до чего же я радуюсь предстоящему Рождеству, этому чудесному Рождеству! Сейчас у нас еще довольно многотрудные недели. Но потом! Я приеду в субботу, так рано, как только получится, и будет великолепно! Дядя Буркхардт с маленькими кузинами ведь тоже будет там, правда? Вернулась ли уже мама? Пишите же поскорее!

Ваш Фриц

Великая новость! Сегодня четверг и, значит, завтра будет – пятница –



Мы ведь не будем уезжать в Рождество? В прошлую субботу я примерно семь минут побыл у Густава, который потом проводил меня до Пфорты. –

Простуда сейчас распространилась очень сильно. Лазарет переполнен, нужно где-то оборудовать новые помещения, а Брайхаупт и вообще лежит снаружи. У меня хрипота и насморк. Но Рождество все исправит!

Кстати, у меня есть еще одно пожелание, а именно фотография какого-нибудь ныне живущего знаменитого человека, например, Листа или Вагнера, или фотография из шекспировского альбома знаменитого Каульбаха<sup>168</sup> (например, к «Макбету»), правда, одна штука стоит 27 1/2 згр. Я хочу украсить свой альбом. Они большого формата.

Ну, теперь-то вы видите, что пожелания у меня самые разнообразные. Но и вы должны мне написать, чего желаете для себя.

#### *4. Франциске Ницше*

*[Пфорта, конец февраля 1862]*

Милая мама! Вот ты и отправила на долгое время милую Лизу, которая, конечно, будет страстно стремиться назад и вряд ли сумеет почувствовать себя как дома в большом Дрездене. Ты и сама, конечно, провела там прекрасные дни, особенно вспоминая прошлое; ведь по прошествии времени дорожке становится все, что некогда дарило нас радостью и восхищением. И тебе будет тяжело в разлуке с Дрезденом и Лизой – это я хорошо понимаю. – Как обстоят дела с вашими отношениями, я не знаю об этом ровно ничего; напиши мне пространно и обстоятельно, насколько мы вообще в состоянии писать друг другу обстоятельней, ведь теперь тебе нужно тратить на хозяйство меньше времени. Если бы только она нашла себе настоящему приличный пансион! Мне Дрезден не слишком нравится, он недостаточно величествен и в своих характерных чертах, даже в языке, слишком родствен тюрингским элементам. Если бы она отправилась, скажем, в Ганновер, то познакомилась бы с совершенно иными нравами, характерными чер-

тами, языком; когда человек, чтобы не сделаться односторонним, воспитывается в разных землях, это всегда хорошо. А вообще Дрездена как города искусств, маленькой резиденции совершенно достаточно для формирования ума Лизы, и я в какой-то степени ей завидую. Но я думаю еще насладиться в жизни многим подобным. В целом же мне не терпится услышать, как Лиза справляется в своих новых условиях. Такой новый пансион – это всегда рискованно. Но я сильно надеюсь на Лизу. – Если б она еще и научилась писать поприятнее! Даже когда она о чем-нибудь рассказывает, ей нужны все эти многочисленные «Ты не сможешь поверить, как это было великолепно, чудесно, очаровательно и т.д.», которые ей следует опустить. И у нее множество таких вещей, о которых она, надо надеяться, забудет в приличном обществе и при большем внимании к себе самой. – Ну, милая мама. Ты ведь пойдешь в понедельник? Представление с 4 до 7. Я просил господина д-ра Хайнце достать один билет. Ты доставишь мне большое удовольствие, если пошлешь мне примерно восемь яиц и сахару, потому что для наших репетиций такое исправление голоса совершенно необходимо дважды в день, а в день представления – трижды. Будь здорова, милая мама!

*Твой Фриц*

Для чтения, на которое у тебя будет теперь много времени, я предлагаю тебе «Босоножку» Ауэрбаха<sup>169</sup>, мне она показалась восхитительной. –

### *5. Франциске Ницше*

†.

∴ [Пфорта,] понедельник, 25. 8. 62

Милая мама! Можешь представить себе, как ужаснула меня страшная беда милого дядюшки<sup>170</sup>; передай ему и милой тетушке заверения в моем глубочайшем соболезновании; как мне хотелось бы оказать ему какую-нибудь услугу, да только не знаю, что я мог бы сделать. С другой стороны, я должен еще и по-

здравить его с прибавлением в его милом семействе; как же причудливо сочетаются счастье и беда!

Как на грех, сейчас меня снова поразили мои ужасные головные боли<sup>171</sup>, и потому я уже неделю нахожусь в лазарете. Сегодня господин доктор посоветовал и разрешил мне уехать в Наумбург, чтобы применять там водные процедуры и лечебные прогулки. Так что сегодня, в полдень понедельника, я пойду в Наумбург, поселюсь в нашей квартире и буду вести там абсолютно тихую жизнь без всякой музыки и других возбуждающих предметов. Господин д-р дал мне необходимые диетические предписания, поэтому тебе нет никакой нужды беспокоиться обо мне, и тебе ни в коем случае не надо уезжать из Мерзбурга, где ты, конечно же, совершенно незаменима. Возможно, именно жизнь полностью уединенная, какую я веду, будет для меня самой лучшей. Поэтому прошу тебя, милая мама, не пугайся – ведь если я буду избегать всего, что может меня возбуждать, то головные боли исчезнут; думаю, однако, что теперь я останусь в Наумбурге подольше, чтобы по возможности полностью от них избавиться.

Я, кстати, с радостью жду твоего и Лизы окончательного приезда, который, вполне вероятно, застану лично. Желаю только, чтобы вы все были отменно здоровы, это мое глубочайшее желание.

*Твой горячо любящий тебя ФВНицше*

Об условиях моей жизни позаботится тетя Розалия, я, кстати, пью горькие минеральные воды и жаропонижающий порошок; самое неприятное для меня, что я часто впадаю в возбужденные состояния. –

#### *6. Франциске Ницше*

*[Пфорта, около 2 мая 1863]*

Милая мама. Твое милое письмо с грудными карамельками пришлось мне очень кстати, ведь я снова услышал от вас

то, что сильно меня интересовало. Чтобы уж сразу сообщить о моем недомогании – хрипота все еще есть и не ослабевает; со вчерашнего дня я пью сельтерскую с молоком и, кажется, есть небольшое улучшение в глотке. В лазарете я мало-помалу чувствую себя все ужаснее, особенно потому что сегодня погода и небо глядят весело. Хотя я тут работаю, много все равно не получится, ведь мне постоянно не хватает то одной книги, то другой. Я конспектирую «Историю литературы 18-го века» Хеттнера, да и вообще много занимаюсь историей литературы.

Что касается моего будущего, то меня беспокоят как раз эти совершенно практические сомнения. Выбор факультета откуда ни возьмись не придет. Значит, я сам должен об этом подумать и сделать выбор. И этот выбор для меня затруднителен. Конечно, я буду стремиться полностью изучить то, за что возьмусь, но выбор будет тем более трудным, ведь надо найти такую специальность, в которой есть надежда добиться какой-то *завершенности*. А как часто такие надежды обманывают! Как часто люди поддаются мгновенным пристрастиям, старой семейной традиции или своим особенным предпочтениям, так что выбор профессии уподобляется лотерее, в которой очень много пустых билетов и очень мало выигрышных. Так вот, я даже в особенно неприятном положении, потому что у меня поистине огромное количество интересов, разбросанных по самым разным специальностям, полное удовлетворение которых сделало бы меня человеком ученым, но вряд ли – докой в своей профессии. Тогда, значит, от некоторых интересов придется отказаться, и мне это ясно. Что я должен приобрести еще и какие-то новые – тоже. Но вот какие окажутся столь злосчастливыми, что я выкину их за борт, а, быть может, это будут как раз мои любимые чада?

Высказаться яснее я не могу, критическое положение очевидно, и через год я уже должен буду на что-то решиться. Само собой это не придет, а сам я знаю специальности слишком мало.

Достаточно. – В общем-то, мне нечего больше написать, кроме того, что весьма сожалею, что не видел в Пфорте новобрачных<sup>172</sup>.

Передавай большой привет от меня Лизе и дядюшке!

Всем вам желаю крепкого здоровья!

Фриц

## 7. Франциске Ницше и Элизабет Ницше

[Пфорта, 6 сентября 1863]

Воскресенье, в десять вечера

Привет от меня вам всем! Не правда ли, несколько строк от меня сейчас для вас очень кстати, потому что сам-то я сегодня прийти не смог? Правда, у меня самого ничего не произошло, но я мечтал, что в реке прошлой недели мне встретится излучина, полная самых пестрых и милых переживаний; но неделя проковыляла и принесла с собою лишь одну записку, из которой я узнал, что вы меня еще помните и что мое бельё осталось, наверное, грязным, а это странным образом на самом деле и произошло.

Так что на сегодня несколько строчек, дабы вы узнали, что я еще жив, нагромоздил вокруг себя книги и до следующей субботы и думать не могу выбраться из этих окопов. При этом я весел, иногда расстроен, переживаю вещи то хорошие и забавные, то досадные, но часы ходят и продолжают себе жужжать, сядет ли на них муха или пропоет рядом соловей.

Правда, осень с ее спелым воздухом соловьев прогнала, а мухи заработали себе простуду. А я осень люблю сильно, хоть больше и знаком с нею по своей памяти да по своим стихам.

Но воздух так кристально чист, и так ясно видны с земли небеса, и мир лежит перед глазами, как обнаженный.

Когда я на минуту позволяю себе думать что хочется, я подыскиваю слова к мелодии, которую уже сочинил, и мелодию к словам, которые уже знаю, однако обе стороны, которыми я владею, не сочетаются, хотя и произошли из одной души. Но таков уж мой жребий!

Вот они и снова отлетают, ласточки, и держат путь к югу, а мы снова сентиментально поем им вслед и машем пивными кружками, а кое-кто вытирает себе от растроганности нос, потому что почтальон трубит в свой рожок: «Скоро тебе будет тридцать!»

Нынче это называется этапом жизни, и кое-кто из выпускников в этот момент представляет себе жизнь как кекс, от которого он отхватил маленький подгоревший краешек, а теперь

с энергией и достойной подготовкой приступает к уничтожению более крупного и сладкого кусочка.

И вот остается убогий огрызок, который люди называют жизненным опытом, но стесняются бросить его собакам. Может быть, из пиетета. Ведь кое-кому он стоил множества зубов. –

Это было полное правды и поэзии введение к моему письму. А теперь о главном, которое заключается в том положении дел, что я о вас часто вспоминаю, во-вторых, что мне нужны белые носовые платки, потому что я цвету от непрекращающегося насморка, и, в-третьих, что мне, как телесная потребность, нужны следующие ноты:

Шуман, «Фантазии», 2 тетради. «Вечером» и т. д. «Детские сцены». 1-я тетрадь.

Фолькман, «Вышеград»<sup>173</sup>.

Лиза, будь добра, миленько достань мне то и другое у Домриха и вышли во вторник. Это для фрейлейн Анны Редтель. Я обещал. Будь добра!

*Фриц*

который надеется увидеть вас в Альмрихе в среду; тогда состоится отъезд выпускников. Будь здорова!

#### *8. Густаву Кругу и Вильгельму Пиндеру*

*[Пфорта,] 12 июня [1864]*

*Написано в воскресное утро*

Милые мои друзья, это на самом деле не первое письмо, которое я начинаю после нашего расставания друг с другом, но, надеюсь, оно будет первым, которое я закончу и действительно отошлю. Я не раз вырывался из будничных забот – брал лист бумаги, писал на нем ваши имена и высказывал мысли и радостные, и печальные, будто в вашем присутствии.

Вы написали мне такие приятные, столь полные старой любви письма, я ценю это очень, очень высоко. Ведь легкие пенные волны привольной жизни легко<sup>174</sup> смывают старые кар-

тины с доски души. Простите меня за то, что я высказал эту мысль. Но на душе у меня она была.

Наши планы воссоединения в том же самом месте, кажется, не сбудутся. По крайней мере, пока об этом и думать нельзя. И не вынуждайте меня доказывать это цифрами и вычислениями. Этого я не умею. Но в любом случае мы еще встретимся, буду ли я учиться в Бонне или где-то еще; я непременно разыщу вас когда-нибудь в вашем самодельном хозяйстве<sup>175</sup>. Если вам хоть немного хочется что-нибудь услышать о моих нынешних занятиях, то слушайте: я пишу большую работу о Феогниде, тему выбрал сам. Я снова пустился в море предположений и фантазий, но думаю выполнить работу с истинно филологической основательностью и так научно, как только возможно. Я уже нашел новую точку зрения, с которой можно смотреть на этого человека, и в большинстве пунктов сужу вразрез с принятыми воззрениями. Лучшие работы, написанные на эту тему, я проштудировал основательно.

А теперь – одна просьба, и просьба обременительная. Не так давно в битве при Дюппеле<sup>176</sup> пал один молодой филолог, Ринтелен из Мюнстера. Этот человек защитил диссертацию *de Theognide Megarensi*. И вот я хочу обратиться к вам с запросом об этой диссертации. Может быть, вы лично поговорите с каким-нибудь профессором или библиотекарем. Она уж точно должна там быть. Вы сделаете мне огромное одолжение; это самое новое, что было написано о Феогниде. Как только ее раздобудете, пришлите мне. Я не могу приступить к своей работе, не прочитав сперва это сочинение.

С моей стороны это наивно, но иначе я не могу. Кто же окажет мне такую услугу, если не вы, мои дорогие друзья? Ну вот, теперь создается впечатление, что я написал письмо чуть ли не только ради этой просьбы.

Моей статье о воззрениях на природу в греческом и немецком народном эпосе сейчас, естественно, придется подождать. И при всем прочем мне очень жалко, что я собираюсь в университет, так и не закончив ее.

---

\*О Феогниде из Мегар (лат.).

Мои летние каникулы будут заполнены беспрестанными научными занятиями разного рода. Я попросил мать и сестру уехать на это время из Наумбурга, чтобы мне побыть одному.

Музыка *tacet*. Когда у меня находится время, я играю, по большей части в присутствии множества любителей музыки, и вынужден импровизировать к их ничему не стоящему восхищению. Тем не менее я чувствую в себе ужасно много неиспользованных возможностей.

Вчера здесь был концерт или, скорее, лекция, потому что концерт оказался делом побочным. Молодой Коберштейн<sup>177</sup> сначала читал «Ивиковых журавлей» в сопровождении грозы, потом – знаменитую сцену с Антониом из «Юлия Цезаря», то и другое отменно, так что многое можно было из этого исполнения почерпнуть.

В шекспировский праздник сначала я исполнил одно стихотворение, а Коберштейн произнес хорошую речь. После обеда мы перед большим собранием читали «Генриха IV». Я с большим подъемом и напором читал «Генриха Перси»<sup>178</sup>.

Прошу тебя, Густав, самым настоятельным образом, прислать, и как можно скорее, что-нибудь из музыкальных мелочей, о которых ты сказал в своем письме. Как олень поспешает к водопою и т. д., так жаждет моя душа чего-нибудь такого.

Ну вот, я переворачиваю четвертую страницу, и скоро мой бессвязный разговор будет сведен к моей подписи и добрым пожеланиям. И если все эти строки примут в ваших глазах меланхолическую окраску, то хорошо у вас на душе не станет и вам не захочется переносить эту окраску в свои души. Я тоже ни за что на свете этого не захотел бы. Чем светлее у вас на душе, чем больше жизнь доставляет вам удовольствие, тем сильнее и моя радость, и я дурак, если порчу ваше настроение меланхолическими письмами. –

Так будьте здоровы, мои милые друзья, выполните мою просьбу и не забывайте меня.

Ваш Фриц

---

\*Молчит (*лат.*).



*[Наумбург, 12 июля 1864]*

Мой дорогой Буддензиг, я сидел за столом и отмечал день рождения моей сестры едой, питьем и смехом, когда меня уведомили о поступлении Вашего письма. Спустя день я получил повторное, настоятельное и в высшей степени дружеское приглашение, переданное через приказчика от Домриха. И все-таки я оказался достаточно большим негодяем, по отношению к Вам и не меньше – по отношению к себе, чтобы не последовать Вашему приглашению. О причинах я скажу Вам при личной встрече, вот, правда, не знаю, когда это будет; но вещь эта ужасно жгучая, и пусть никто не добивается у меня причин, по крайней мере при такой температуре воздуха, что шкура слезает, хотя эти причины так же банальны, как малина, и скучны, как жаркие летние дни.

Поверьте мне в том, что я сердечно благодарен Вам не столько за Ваше приглашение, сколько в особенности за прекрасное воспоминание обо мне и за продолжение жизни наших общих интересов, наших музыкальных интересов.

И нет для меня ничего более желанного, чем возможность когда-нибудь снова высказаться перед Вами о музыке, обрисовать для Вас музыкальное положение в Пфорте и сообщить Вам кое-что о моих собственных музыкальных интересах.

Что же касается Ваших мыслей о воздействии музыки, то наблюдение, которое Вы произвели над собой, вероятно, более или менее касается всех музыкально организованных людей; меж тем это нервное возбуждение, эта дрожь возникают под действием не только музыки, но и всех высших искусств. Вспомните об аналогичных впечатлениях при чтении шекспировских трагедий. И как здесь это чувство вызывается то одним-единственным словом, то какой-нибудь бурной, захватывающей сценой, то кричащим контрастом, так и совершенно разные по духу музыкальные произведения пробуждают одно и то же впечатление, одну и ту же нервную щекотку. Подумайте о том, что это – исключительно физический эффект; ему предшествует некое духовное наитие, которое при своей редкости, возвы-

шенности и избытке предчувствий действует на людей, как внезапное появление какого-то чуда. Не думайте, что эта интуиция коренится в чувстве, в ощущении; нет – как раз в высших и наиболее тонко настроенных областях познающего духа. Разве Вам не кажется, будто перед Вами распахивается нечто необъятное, небывалое, не чувствуете ли Вы, что заглянули в какие-то иные сферы, обычно закрытые для человека?

Обладающий такой умной интуицией слушатель подходит к композитору так близко, как только может подойти. Помимо этого воздействия, искусство не оказывает никакого другого; само это воздействие уже есть творческая сила. Вы сочтете неподобающим слово для ее характеристики, которое я сам выбрал два года тому назад, когда исписал на эту тему множество страниц в письмах к друзьям; я назвал это воздействие «демоническим». Если существуют предчувствия высших миров, то они скрыты здесь.

Между тем эта материя необъятна, и Вы простите меня, если я написал несколько слов, которые мало что значат. Здесь, безусловно, скрыта какая-то тайна. Спросите себя: всегда или редко композитором в процессе творчества владеет это чувство? Вызывает ли это впечатление только хорошая музыка или при соответствующей внутренней организации человека его обеспечивает лишь музыка, соразмерная его духовному уровню? Можно ли вообще на основании этого впечатления делать вывод об объективном совершенстве музыкального произведения? Должны ли превосходные музыкальные произведения производить это впечатление на тонкие натуры? И подобных загадок множество. –

Я пишу работу о Феогниде Мегарском, по-латыни; я работал над ней с понедельника до субботы, чрезмерно прилежно, и справился. Получится, наверное, побольше 60-ти печатных страниц.

Поеду ли я учиться в Лейпциг, еще не знаю; сперва попробую в Бонне, а во вторую очередь, то есть если затея с Бонном окажется тщетной, – тогда в Лейпциге.

Выдержу ли я экзамен, не знаю; но если использую каникулы как надо, то есть надежда, что все будет хорошо. После я Вам напишу.

Будем с Вами переписываться, правда? Держитесь молодцом, ведь Вы сделали почин.

Желаю Вам всяческого счастья. От всей души благодарю.

*Ваш ФВ. Н.,*

которому досадно, что он не смог написать Вам письма лучше.

Но *ótotoi\** жар!

Во вторник после полудня – 26° R<sup>180</sup> в тени.

### *10. Франциске Ницше и Элизабет Ницше*

*[Бонн, 24 и 25 октября 1864]*

В понедельник утром

Милые мама и Лиза, сперва наиучтивейше раскланиваясь во все стороны, представляюсь вам как член немецкой студенческой корпорации «Франкония».

Ну, я уже так и вижу, как вы с крайним удивлением трясете головой и испускаете возглас изумления. С этим шагом и впрямь связано много всего странного, потому-то я на вас и не обижусь. К примеру, почти одновременно во «Франконию» вступили семеро пфортенцев, кроме двоих из всех пфортенцев, собравшихся в Бонне, и многие из них уже на четвертом семестре. Назову некоторых – вы их узнаете: Дойсен, Штёккерт, Хаусхальтер, Тёпельман, Штедефельд, Шлэйснер, Михаэль и я сам.

Естественно, я самым тщательным образом взвесил этот шаг и счел его почти необходимым, учитывая мою натуру. Мы все здесь по большей части филологи и в то же время все – любители музыки. В общем во «Франконии» царит какой-то очень интересный тон, старые члены понравились мне ужасно.

Еще до этого я хорошо познакомился с членами «Маркии»<sup>181</sup> и выбрал кое-кого для более близкого общения. Приглаждался я и к «германцам»<sup>182</sup>, так что у меня была хорошая возможность сравнить, но мой выбор пал на «Франконию».

---

\*Увы! (*зреч.*); здесь в смысле – проклятье (жаре).

Пока что я всюду находил очень много приятного и милого. Недавно посетил хормейстера Брамбаха и был принят в городской певческий союз. Вместе с маркийцами я съездил на прогулку в Роландзек<sup>183</sup>; местность роскошна, и мы провели там несколько чудесных деньков. Вчера франконцы ездили в Плиттерсдорф<sup>184</sup>, там была ярмарка с гуляниями, танцевали до упаду, пили молодое вино у одного крестьянина; вечером я пошел назад в Бонн вдоль Рейна вместе с одним франконцем, особенно мне симпатичным, старым буршем; на горах горели огни сборщиков винограда. Вы не поверите, как все это чудесно.

Недавно я случайно к своей величайшей радости встретил милого барона фон Франкенштейна и зашел к нему на пару часов в гостиницу Клея. Он все такой же, как и прежде, любезный человек и искренне интересовался вами и наумбургскими делами. Он навестит меня в ближайшие дни. Еще меня разыскивал Хахтман. Сегодня иду с визитом к д-ру Ваксмуту.

Сегодня собираюсь сходить на кладбище, чтобы посмотреть на могилы Шумана, Шлегеля и Арндта. После обеда собираюсь ехать с моими квартирными хозяевами в соседнюю деревню на ярмарку. Они люди очень воспитанные и приятные, их заботой обо мне я могу быть доволен во всех отношениях. Живу я у них отменно, питаюсь отлично, обслуживают чисто и пунктуально, а по вечерам я с удовольствием провожу с ними часок. —

Только что был на чудесном кладбище и посвятил венок Роберту Шуману. Со мной были моя хозяйка и ее племянница Мария (а на Рейне все Марии).

А теперь, милая Лиза, для тебя еще одно специальное сообщение: наши цвета – белый, красный, золотой, наши шапки белые с красно-золотым кантом<sup>185</sup>. Потом я хочу представить тебе кое-кого из старых боннских франконцев как старых знакомых<sup>186</sup>: Макса Рётгера («Трюфельный паштет»), Трейчке, отличившегося в качестве оратора на лейпцигском физкультурном празднике, Фрица Шпильгагена, чью пьесу «В двенадцатый час», которую играют в Бонне, ты живо представишь себе. Вообще «Франкония» пользуется большой известностью.

Лекции еще не начались. Недавно я получил в подарок от проповедника Клечке книгу «Безгрешность Иисуса» Ульмана с приложением чрезвычайно любезного письма, которое он под-

писал как «от всего сердца привязанный к Вам друг». Я очень обрадовался этой интересной книге. Думаю, он вас навестит.

Кофе-машина каждое утро выдает мне теперь очень хороший кофе, и я всегда от души благодарю за это милую дарительницу.

Сейчас с нетерпением жду посылки, но прежде всего – писем от вас, из которых я пойму, какое впечатление произвело на вас мое вступление в корпорацию. Передавайте привет тете Розалии и каждому, кто дружески интересуется мной.

Будьте здоровы!

*Фриц*

Милая Лиза, если фрл. Анна Редтель еще в Кёзене, соблаговоли приветствовать ее от меня и передай, что каждый раз, как я пью кофе в гостинице Клея в виду великолепных Зибенгебирге<sup>187</sup>, я мысленно приветствую ее. –

Во вторник вечером. Я получил посылку и очень этому рад, в особенности прекрасному белью и прекрасным книгам с нотами. Вчера после обеда мы отлично повеселились: я чудесно потанцевал.

Я всегда ем в своей комнате вместе с Дойсеном; поводов для недовольства у нас нет. Выгляжу я здоровым и бодрым и всегда во всем воздержан. Я записан на курсы по теологии и философии. Д-р Ваксмут назначен профессором в Марбурге. – Я пользуюсь отличной керосиновой лампой. –

### *11. Франциске Ницше и Элизабет Ницше*

*[Бонн, конец декабря 1864]*

211

1

Милые мама и Лиза, очень хотелось бы мне отправить вам новогоднее поздравление в стихах, ведь я знаю, что вы предпочитаете такие, но оно у меня никак не идет! То ли оттого, что мои требования к стихам существенно выросли, то ли оттого, что я на несколько процентов стал трезвее – и практичнее, а это никак не может мне навредить, – то ли, наконец,

оттого, что все мое вдохновение гонят прочь дьявольские зубные боли, которые меня мучают: но факт тот, что стихи мне сегодня не даются. Поэтому их поневоле заменит проза. Это чтобы объяснить форму моего письма.

Люблю новогодние ночи и дни рождения. Ведь они дают нам часы, какие мы, конечно, нередко можем устроить себе и сами, но делаем это куда как редко, – часы, когда душа останавливается и может обозреть какой-то участок собственного развития. В такие часы рождаются важнейшие намерения. Тогда я обычно достаю свои рукописи и письма за прошлый год и делаю несколько записей для себя. На несколько часов ты поднимаешься над временем и почти выходишь за границы собственного развития. Ты гарантируешь и письменно заверяешь свое прошлое, обретая мужество и решимость вновь идти своим путем дальше. Прекрасно, когда на решения и намерения души – как бы первые молодые всходы будущего – пожелания и благословения родных падают, словно тихий дождь. Только не надо делать из этого церемонию, официальное принуждение. Ведь если меня может расстроить уже только благодарность по обязанности, то насколько больше – пожелание по обязанности! Когда можно быть уверенным, что души находятся в глубочайшей взаимной гармонии, пожелание, выраженное словами, становится просто вежливостью. А вежливость уместна в обществе, но не для тесно связанных душ.

Поэтому избавьте меня от обычных формул пожелания здоровья, счастья и т. д., выраженных более или менее оригинальным способом. Мои милые мама и Лиза, нам должно быть достаточно того, что мы друг друга любим, любим очень сильно. Передайте это и милым тетушкам. Сам я написать не могу.

А теперь я расскажу вам, что пережил. Собственно, немного. Я очень много времени проводил дома и наслаждался «Манфредом». В третий день праздника я был в опере и слушал «Вольного стрелка», который в целом мне не понравился, так же как «Оберон». Сцена адских бездн произвела на меня смехотворное впечатление. Вчера я был у доктора Дайтерса, который много играл мне из Шумана. Под Новый год я должен, слава Богу, сделать только один визит – к проф. Шаршмидту. Новогоднюю ночь я проведу дома, если только позволят мои зубные боли. А сейчас

они так сильны, что мне то и дело приходится прерывать письмо, и я с большим трудом не показываю вам свое угнетенное состояние. Десна справа у последних зубов воспалилась, а какой-то зуб с дуплом, так что нерв возбуждается. Или у меня там сзади растет зуб мудрости. Для него как раз настает время.

Сейчас по вечерам ко мне в гости обычно заходит кто-нибудь из знакомых. Чудный рождественский кекс уже, к сожалению, съеден. А как вы провели Рождество? Я с нетерпением жду первого же письма, с которым, как надеюсь, одновременно придут деньги на следующий квартал. Первый квартал обошелся мне на круг в 130 тл<sup>88</sup>. Отсюда, конечно, для следующих кварталов надо вычесть солидную долю – ведь деньги за имматрикуляцию, лекции и т. д. были немалые. Но ты видишь, милая мама, что в Бонне мне приходится ограничивать себя еще больше. Дальше, чем год, я здесь не выдержу из-за денег. Я решил поехать потом в Галле и найти там себе службу. Ты только не беспокойся обо мне, я как-нибудь выкручусь. Насчет денег я пишу только дяде Бернхарду<sup>188</sup>. Но я хотел все же дать тебе отчет по окончании первого квартала. Я, кстати, веду точные подсчеты. Деньги в Бонне меняют в среднем 500–600. Все это не слишком-то хорошо, правда? Но я уже мог бы закончить письмо чем-нибудь более приятным, если б не зубная боль. Красивый платок радует мою шею, а подтяжки – мою скрюченную спину!

*Ваш Фриц*

## *12. Карлу Герсдорфу*

*Бонн, в праздник Успения  
[25 мая] 1865*

Дорогой друг, я должен заранее признаться, что ждал твоего первого письма из Гёттингена с совершенно особенным нетерпением: дело в том, что при этом у меня был, кроме дружеского, еще и психологический интерес. Я надеялся, что оно отразит то впечатление, которое производит корпоративная

---

<sup>88</sup>Талеров.

жизнь именно на твои чувства, и был уверен в том, что ты выскажешься об этом откровенно.

Так ты и сделал, и я глубоко благодарен тебе за это. Если ты теперь, стало быть, разделяешь взгляды на корпоративную жизнь твоего уважаемого брата, то я могу только удивляться той нравственной силе, с которой ты, чтобы научиться плыть в потоке жизни, бросаешься в чуть ли не грязную, мутную воду и пробуешь себя в ней. Прости меня за такой жесткий образ, но, думаю, он правдив.

Меж тем об этом можно сказать еще кое-что важное. Если студент хочет познакомиться со своей эпохой и народом, он должен стать корпорантом; отношения в корпорациях и их тенденции, как правило, максимально ясно представляют тип самого молодого поколения мужчин. К тому же вопросы переустройства студенческих отношений достаточно жгучи, чтобы каждый в отдельности испытывал побуждение ознакомиться с соответствующими условиями, руководствуясь собственной точкой зрения, и судить о них.

Конечно, нам надо беречься от того, чтобы при этом самим не слишком втягиваться сюда: привычка – сила невероятная. Люди уже утрачивали очень многое, утрачивая нравственное возмущение тем скверным, что в нашем кругу случается ежедневно. Это относится, к примеру, к выпивке и пьянству, но также и к неуважению, глумлению над другими людьми, другими мнениями.

Признаюсь тебе без всякого труда, что опыты, которые проделал ты, в известной степени навязывались и мне, что выражения общительности на кабацких вечеринках часто бывали мне в высшей степени не по нутру, что отдельные типы были мне невыносимы из-за их пивного материализма; а равным образом, что, к моей величайшей досаде, с неслыханным высокомерием осуждались люди и мнения *en masse*<sup>1</sup>. Несмотря на это, я охотно все выносил – в той связи, что многому здесь научился и в целом мне пришлось признать в этом даже духовную жизнь. Конечно, тесное общение с одним или двумя друзьями – для меня необходимость; если они у человека есть, то он

---

<sup>1</sup> Гуртом (*фр.*).



принимает заодно и остальных – как своего рода приправу, одних как перец и соль, других как сахар, третьих как пустоту.

Снова заверяю тебя – все, что ты написал мне о своих битвах и тревогах, может только усилить мое уважение и любовь к тебе.

Твои рассуждения о своей профессии я прочел с величайшим удовлетворением. Я почувствовал, что здесь мы, наверное, сделали еще один шаг навстречу друг другу. Относительно *jus*<sup>189</sup> у меня нет никакой точки зрения. Но от тебя я знаю и верю, что у тебя есть склонность и способность к изучению немецкого языка и литературы, мало того, что – и это самое главное – у тебя найдется и воля одолеть значительные и не всегда интересные массивы работы в этой области. Для этого мы в общем получили в Пфорте хорошую подготовку, у нас есть превосходный образец в лице Кoberштейна, которого наш весьма умный проф. Шпрингер объявил здесь наиболее значительным историком литературы нашего времени. В Лейпциге ты найдешь Курциуса, важного в сравнительном языкознании, затем Царнке, чье издание «Нибелунгов» я знаю и ценю, а еще тщеславного Минквица, эстетика Флате, экономиста Рошера, о котором ты, конечно же, услышишь. Далее, с величайшей вероятностью ты обнаружишь там: нашего великого Ричля, о чем ты узнаешь из газет. Кроме того, философский факультет Лейпцига – наиболее значительный в Германии. А теперь еще кое-что приятное. Как только ты напишешь мне, что хочешь ехать в Лейпциг, я окончательно решусь на то же. Тогда мы снова будем вместе. Уже приняв это решение, я услышал и об отставке Ричля, и это только укрепило меня в нем. В Лейпциге я хочу как можно скорее записаться на семинар по филологии и усердно трудиться. Мы от души насладимся музыкой и театром. Естественно, я останусь работающей<sup>189</sup>.

Здесь, в Бонне, все еще царит величайшее возбуждение, величайший раздор из-за битвы Яна и Ричля. Я считаю, что прав, безусловно, Ян<sup>190</sup>. Мне очень жаль, что придется расстаться с ним в Михайлов праздник. Он человек необычайно любезный. Работу о Данае<sup>191</sup> я давно уже сдал и сделался сверхштатным членом семинара. Представь себе, что сейчас постоянными

---

<sup>189</sup>Юриспруденцию (*лат.*).

членами семинара стали трое пфортенцев, а вакантных мест всего четыре. Хаусхальтер, Михаэль, Штедтефельд. Это необычайный триумф для старой Пфорты. Все здешние пфортенцы отправили учительскому коллективу телеграмму в день школьного праздника и получили весьма дружественный ответ. ГрEFE, Боденштайн и Лауэр вступили в «Франконию», да ты, наверное, уже слышал об этом.

В этом семестре мне предстоит вначале сделать для семинара одну археологическую работу. Потом для вечера науки в нашей корпорации – довольно большую работу о немецких поэтах политического направления, и тут я надеюсь многому научиться, но мне придется страшно много читать и собирать материал. Но прежде всего я должен трудиться над большой филологической работой, тема которой мне еще не ясна, – благодаря ей я думаю попасть в лейпцигский семинар.

В качестве побочного занятия я изучаю жизнь Бетховена по труду Маркса<sup>192</sup>. Может быть, я когда-нибудь снова начну сочинять музыку и сам, чего в этом году боязливо избегал. Стихи у меня тоже не идут. На Троицу в Кёльне будет рейнский музыкальный праздник, пожалуйста, приезжай туда из Гёттингена. Исполняться будут главным образом «Израиль в Египте» Генделя, музыка к «Фаусту» Шумана<sup>193</sup>, «Времена года» Гайдна и многое другое. Я – практикующий участник. Сразу же после этого начнется международная выставка в Кёльне. Подробности ты найдешь в газетах.

В заключение – я очень рад тому, что ты прочел «Проблематичные натуры». Жаль, что в своем самом свежем романе «Люди из Хоэнштайна» Шпильгаген<sup>194</sup> не демонстрирует никакого продвижения. Это смазанное описание партии. Здесь до откровенной ненависти доходит его враждебное знати направление, выраженное в «Пробл. нат.».

– Я чувствую себя не в своей тарелке за пером и чернилами, уже четыре страницы как меня оставило уютное настроение, и я просто сухо реферирую некоторые факты. –

Некоторыми главами из «Пробл. нат.» я восхитился. В них и впрямь есть гётевская сила и образность. Например, уже первые главы – шедевры. А читал ли ты еще продолжение – «Через ночь к свету»?

Самая слабая часть – романтизм в притворстве цыган.

Тебе ведь знакома «Потерянная рукопись» Фрейтага<sup>195</sup>?

Я надеюсь этим летом познакомиться с Шпильгагеном.

Итак, дорогой друг, прощай и дружески вспоминай меня. Заранее радуюсь нашей встрече. Желаю тебе ясности духа и веселого настроения, а прежде всего – человека, с которым ты смог бы сблизиться. Прости меня за несносный почерк и мою досаду из-за этого, ты же знаешь, как это меня раздражает и как мои мысли из-за этого испаряются.

*Твой верный друг Фр. Ницше*

### *13. Элизабет Ницше*

*Бонн, в воскресенье после Троицы  
[11 июня 1865]*

Милая Лиза, после столь прелестного, перевитого девичьими выдумками письма, каким было последнее твое ко мне, было бы несправедливо и неблагодарно заставлять тебя ждать ответа еще дольше, особенно потому, что на этот раз я располагаю богатым материалом и «пережевываю» в уме те радости, которые вкусил, с большим удовольствием.

Для начала мне все же придется коснуться одного места из твоего письма, которое написано как с пасторальной окраской, так и с душевностью ламы<sup>196</sup>. Милая Лиза, ты не волнуйся. Если воля столь добра и решительна, как ты пишешь, у милых дядюшек хлопот будет не слишком много. Что касается твоей аксиомы, будто истина всегда на стороне того, что труднее, то отчасти я в этом с тобой согласен. Меж тем трудно постичь, что  $2 \times 2$  – не 4; так что ж, разве в этом больше истины?

С другой стороны, неужели действительно так трудно просто принять все то, в чем ты воспитан, что постепенно пустило в тебе глубокие корни, что в кругу родных и множества добрых людей слывет истиной, что, кроме того, и впрямь утешает и ободряет людей, – неужели все это труднее, чем в борьбе с привычкой, когда человек не уверен в самостоятельных шагах,

когда его чувство, даже его совесть часто колеблется, нередко в отчаянии, но никогда не упуская из виду своей цели, истинного, прекрасного, доброго, идти новыми путями?

Сводится ли все дело к тому, чтобы получить такое представление о Боге, мире и искуплении, при котором чувствуешь себя наиболее удобно, разве, напротив, не является для настоящего исследователя результат его исследования прямо-таки чем-то безразличным? Разве, занимаясь исследованиями, мы ищем покоя, мира, счастья? Нет – только истины, даже если она окажется в высшей степени пугающей и безобразной.

И еще один вопрос, последний: если бы мы с юных лет верили в то, что всякое спасение души исходит от кого-то другого, нежели Иисус, скажем, от Мухаммеда, то разве нельзя быть уверенным, что мы причастились бы к тем же самым благам? Конечно, спасение идет только от веры, а не от того объективного, что стоит за верой<sup>197</sup>. Я пишу тебе об этом, милая Лиза, лишь для того, чтобы отвергнуть наиболее привычный для верующих способ доказательства: они ссылаются на свои субъективные переживания и отсюда выводят непреложность своей веры. Всякая настоящая вера и является непреложной, она исполняет то, что надеется найти в ней питающий ее человек, но не дает ни малейшего повода для обоснования какой-то объективной истины.

Здесь-то и расходятся пути человеческие; если ты стремишься обрести душевный покой и счастье, тогда веруй, а если хочешь быть адептом истины, то исследуй.

Между этим и тем есть огромное количество промежуточных точек зрения. Но все дело тут – в главной цели.

Прости меня за это скучное и не особенно глубокомысленное разбирательство. Но все это ты, наверное, уже нередко, всякий раз лучше и прекрасней, говорила себе сама.

Однако сейчас на этом серьезном фундаменте я хочу воздвигнуть тем более веселое здание. На этот раз я расскажу тебе о поистине прекрасных днях.

В пятницу 2-го июня я поехал в Кёльн на Нижнерейнский музыкальный фестиваль. В тот же день там открылась международная выставка. В эти дни Кёльн производил впечатление столичного города. Бесконечная толчея языков и костюмов –

неимоверное количество карманников и других мошенников – отели, переполненные до самых глухих уголков, – весь город, самым прелестным образом разукрашенный флагами: таким было внешнее впечатление. В качестве певца я получил красно-белый шелковый бант на грудь и отправился на репетицию. Жаль, что ты не видела Гюрцениховского зала<sup>198</sup>, но в последние каникулы я дал тебе возможность получить о нем прекрасное представление, когда сравнивал с ним наумбургский Биржевой зал. Наш хор состоял из 182 сопрано, 154 альтов, 113 теноров и 172 басов. Сопровождал его профессиональный оркестр из примерно 160 человек, из них 52 скрипки, 20 альтов, 21 виолончели и 14 контрабасов. Были приглашены к участию семеро лучших солистов – мужчин и женщин. Всем этим дирижировал Хиллер<sup>199</sup>. Многие дамы выделялись молодостью и красотой. В трех главных концертах все они выходили в белом, с голубыми лентами на плечах и живыми или искусственными цветами в волосах. Каждая держала в руке красивый букет. Мы, мужчины, все были во фраках и белых жилетах. В первый вечер мы сидели вместе до поздней ночи, и наконец я заснул в кресле рядом с каким-то старым франконцем, а наутро был похож на сложенный перочинный ножик. При этом, кстати говоря, я со времени последних каникул страдаю сильным ревматизмом в левой руке. В следующую ночь я снова спал в Бонне<sup>200</sup>. В воскресенье прошел первый большой концерт. <Исполнялся> «Израиль в Египте» Генделя. Мы с неподдельным воодушевлением пели при 50 градусах Реомюра<sup>201</sup>. Гюрцениховский зал был снят на все три дня. Билет на каждый концерт стоил 2-3 талера. Исполнение было, по общему мнению, образцовым. Там были сцены, которые я никогда не забуду. Когда Штегеман и Юлиус Штокхаузен, «король всех басов», спели свой знаменитый дуэт героев, разразилась неслыханная буря ликованья, восьмикратное браво, туш на трубах, рев да-капо, все 300 дам швырнули свои 300 букетов прямо в певцов, так что те в буквальном смысле слова были окутаны облаком цветов. Вся сцена повторилась, когда дуэт спел да-капо.

Вечером мы, боннские мужчины, начали было всей честной компанией кутить, но получили приглашение от Кёльнского мужского певческого общества прийти в гюрцениховский ре-

сторан. Там мы и оставались все вместе под карнавальные то-сты и песни, которыми славятся кёльнцы, под четырехголосные гимны и при все растущем воодушевлении. Около 3-х часов утра я вместе с двумя знакомыми оттуда убрался; мы бродили по всему городу, звоня в двери и нигде не находя пристанища, даже на почту нас не пустили – а мы собирались поспать в почтовой карете, – пока наконец через полтора часа ночной сторож не впустил нас в Hôtel du Dome. Мы улеглись на скамейках в столовой и через 2 секунды заснули. Снаружи уже светало. Через 1½ часа пришел коридорный и разбудил нас, потому что нужно было убирать зал. Мы тронулись в путь с юмористическим отчаянием, прошли через вокзал в Дойц<sup>202</sup>, позавтракали и с сильно севшими голосами отправились на репетицию. Где я с великим энтузиазмом заснул (под облигатные тромбоны и литавры). Тем бодрее я чувствовал себя на исполнении, длившемся с 6 до 11 вечера. А ведь там шли мои самые любимые вещи, фаустовская музыка Шумана и ля-мажорная симфония Бетховена. Вечером я сильно затосковал по кровати и проблуждал примерно по 13 гостиницам, где все было переполнено. Наконец, в 14-й, хозяин которой тоже заверил меня, что все комнаты заняты, я хладнокровно заявил ему, что останусь здесь, а он пусть позаботится о кровати. Так оно и устроилось, в комнате при ресторане были поставлены койки по цене 20 грошей за ночь.

На третий день состоялся, наконец, последний концерт – было исполнено большое количество сравнительно маленьких вещей. Самым прекрасным моментом было там исполнение симфонии Хиллера с посвящением «И все равно придет весна», музыканты играли с редкостным воодушевлением, потому что мы все чрезвычайно почитаем Хиллера, каждая часть заканчивалась при невероятный восторге публики, а последняя – так же, только восторг выражался сильнее. Его трон был покрыт венками и букетами, один из музыкантов увенчал его лавровым венком, оркестр трижды исполнил туш, а старик закрыл лицо руками и заплакал. Что сильно растрогало дам.

Хочу еще особо назвать тебе одну даму, госпожу С̄арвади<sup>203</sup> из Парижа, виртуозную пианистку. Представь себе маленькое, еще молодое создание, полное огня, некрасивую, интересную, с черными локонами.

Последнюю ночь я из-за полного отсутствия *nervus rerum*<sup>\*</sup> снова провел подле старого франконца, и притом на земле. Не очень-то это было здорово. Утром я уехал обратно в Бонн.

«Это была настоящая жизнь на артистический лад», как сказала мне одна дама.

Назад к своим книгам, критике текстов и прочей ерунде возвращаешься прямо-таки с иронией.

Что я перейду учиться в Лейпциг, совершенно несомненно. Раздоры Яна и Ричля продолжают бушевать. Обе партии грозят друг другу разгромными публикациями. Дойсен тоже, вероятно, перейдет в Лейпциг.

Боннские пфортенцы отправили учительскому коллективу телеграмму в день школьного праздника (21 мая) и получили весьма дружественный ответ.

Сегодня мы собираемся сделать инъекцию пфортенцев в Кёнигсвинтер<sup>204</sup>. – Наши красные шапочки с золотым позументом смотрятся превосходно.

В ближайшее время я буду писать милому Рудольфу<sup>205</sup>, который прислал мне такое любезное письмо. Передавай мой сердечный привет милой тетушке и милому дядюшке.

*Фриц*

#### *14. Герману Мусхаке*

*Наумбург, среда  
[30 августа 1865]*

Мой дорогой друг, насколько я был рад всему твоему чрезвычайно милому письму и каждой детали в нем по отдельности, настолько же меня удручает, что я не могу исполнить твое оправданное и справедливое желание. Вообрази себе мое положение: я потратил больше денег, чем имел право, намного больше; чтобы мое положение не сделалось невыносимым, мне приходится отклонять малейшие намеки на то, что у меня еще оста-

---

\*Самого главного, т. е. денег (*лат.*).

лись долги. Вот и оказываюсь я в отчаянной ситуации, когда должен написать тебе – поистине, чуть ли не со стыдом – «я *не могу*». И какую жалкую сумму!

Несмотря на это, я не могу справиться с мыслью, что поступаю тут не по-дружески. Я не смогу упрекнуть тебя, если ты на меня из-за этого рассердишься. Поэтому я оставляю эту тему.

Ты, наверное, можешь понять, почему я вспоминаю о Бонне с каким-то неприятным чувством. Мне еще слишком близки пережитые там события и настроения, это верно. Горькая кожа текущего момента, действительности все еще не дает мне насладиться сердцевинной. Ведь я надеюсь, что когда-нибудь смогу радостно вписать в свою память как необходимое звено моего становления и этот год. В настоящее время для меня это невозможно. Мне все еще кажется, будто я в некоторых отношениях растратил этот год по ошибке. Мое членство в корпорации представляется мне, откровенно говоря, *faux pas*<sup>1</sup>, то есть это относится к последнему летнему семестру. Тем самым я нарушил собственный принцип: отдавать себя обстоятельствам и людям не дольше, чем хорошо узнаю их.

А такие вещи за себя мстят. Я злюсь на себя самого. Это чувство подпортило мне лето и даже замутило мое объективное мнение о корпорации. Я отнюдь не решительный сторонник «Франконии». Я отлично могу представить себе общество более приятное. Я считаю его способность судить о политике весьма низкой, гнездящейся лишь в нескольких отдельных головах. Его внешние проявления я нахожу плебейскими и отвратительными. Я не был слишком сдержан в своем неодобрении, а потому мое членство оказалось неуютным для корпорантов.

Тут, дорогой друг, я буду вспоминать о тебе с неизменной благодарностью; как часто меня оставляло удрученное состояние духа, обыкновенно владевшее мной, у тебя, только у тебя. Потому-то все приятные картины боннских удовольствий навсегда связаны для меня с твоим образом.

Своими научными занятиями я тоже, в сущности, недоволен, хотя и возлагаю много вины за это на ту связь, которая перечеркнула мои прекрасные планы. Как раз в эти дни я заме-

---

<sup>1</sup> Ложным шагом (*фр.*).



чаю, какое благотворное успокоение и ободрение заключается в непрерывном настойчивом труде. Такую удовлетворенность я редко испытывал в Бонне. На свои завершённые работы боннского времени я поневоле гляжу с насмешкой, а это одна статья для союза Густава Адольфа<sup>206</sup>, одна – для корпоративного вечера и одна – для семинара. Это ужасно! Я стыжусь, вспоминая об этой чепухе. Любая из моих школьных работ была лучше.

Из лекций я, за исключением отдельных вещей, ничему не научился. Я благодарен Шпрингеру<sup>207</sup> за *наслаждения*, я мог бы быть благодарен Ричлю, если бы усерднее им пользовался. В целом я не слишком переживаю по этому поводу. Я придаю большое значение саморазвитию – а как легко можно выйти из-под влияния таких людей, как Ричль, сбившись, может быть, как раз на те пути, которые проходят далеко в стороне от собственной натуры.

К величайшим удачам этого года я причисляю то, что многому научился в понимании своего подлинного «я». И к не меньшим – что обрел друга, полного сердечного участия.

А эти две вещи для меня неразрывно связаны. Что я со своей многообразной противоречивой разорванностью, со своими пренебрежительными, нередко фривольными суждениями все-таки смог привлечь к себе такого прекрасного человека, отчасти меня удивляет, но, надеюсь, и это было по той же самой причине; и только в те моменты, когда мой дух все отрицает, я спрашиваю себя, не слишком ли мало знает меня мой дорогой друг Мусхаке –

Тут я снова хочу перевести дух и поговорить о чем-то несколько другом. Как я уже сказал, сейчас я прилежно тружусь. Феогнида я ужасно мальтретирую. Критическими ножницами, подвесив его на длинной нити методологии, я ежедневно отхватываю от него кое-какие кусочки наложенных на него заплаток. А порой, когда все пути кажутся закрытыми, я бываю на грани разочарования во всем проделанном исследовании. Если результаты все-таки будут – а этого я вряд ли не замечу, – то я сделаю из них работу для лейпцигского семинара. Для него у нас сейчас, если Ричль станет директором, есть на руках привилегированные акции. Проф. Штайнхарт очень неблагоприятно отзывался о лейпцигских филологах. Никто из них не живет

для науки, люди хотят поскорее получить должности и хлеб. Поэтому Ричль уже не может обнадеживать себя боннскими условиями. Традиция Г. Германна, видимо, исчезла в Лейпциге без следа. Нет никакой философии, никакой истории.

Я так до сих пор точно и не знаю, переедут ли вслед за мной в Лейпциг мать и сестра. Но несомненно одно – что я смогу навещать тебя начиная с 1 октября и буду делать это с величайшей радостью. Я еще раз напишу тебе, чтобы уточнить, с каким поездом приеду и т. д.

Здоровье мое сейчас лучше, чем было в Бонне. Кое-кто считал, что я выгляжу несколько плачевно, поэтому сейчас я начну *quasi* отъедаться. От общества я держусь подальше. Нервная возбудимость еще не спала.

Я, разумеется, много играю на фортепиано, совсем рано, около пяти утра, наслаждаюсь ясными синими днями позднего лета и часто говорю себе в глубине души, что мог бы быть по-настоящему счастлив. Для этого я читаю прекрасные книги, например, «Путевые рассказы» Лаубе<sup>208</sup> и прекрасные письма, например, одно, пришедшее из Бонна от моего друга Мусхаке и содержащее в высшей степени юмористическое изображение тамошних порядков.

Ну вот, уже темнеет. Шлю тебе сердечный привет в прекрасную Рейнскую землю и желаю тебе веселых и довольных дней и ночей.

*Твой Фриц Ницше*

### *15. Конвенту корпорации «Франкония»*

*[Лейпциг,] 20 октября 1865*

Уведомляю конвент «Франконии», что настоящей присылкой своей ленты я объявляю о своем выходе. Тем самым я не перестаю высоко ценить идею корпорации. Я хочу только публично признаться в том, что мне мало нравится ваша нынешняя

---

\*Так сказать (лат.).

форма проявления. Отчасти это, видимо, зависит от меня. Мне было трудно целый год выдерживать в «Франконии». Но я счел своим долгом познакомиться с вами. Сейчас меня не связывают с вами никакие более тесные отношения. Поэтому я с вами прощаюсь. Пусть «Франкония» поскорее переживет ту стадию развития, в которой она сейчас находится. Пусть в ней всегда состоят только члены, наделенные дельностью и добрым нравом.

*Фридрих Ницше*

*16. Карлу Герсдорфу*

*7 апреля 1866, Наумбург*

Дорогой друг, при случае наступают часы той спокойной созерцательности, когда стоишь над своей жизнью со смешанным чувством радости и печали, что бывает похоже на те прекрасные летние дни, которые привольно и покойно ложатся на холмы, как это превосходно описывает Эмерсон: тогда, по его словам, природа достигает совершенства, а мы – мы тогда освобождаемся от цепей всегда бдящей воли, тогда становимся чистым, созерцающим, бескорыстным глазом. В этом-то настроении, которое я предпочитаю всем прочим, я берусь за перо, чтобы ответить тебе на твое дружеское и полное мыслей письмо. Наши общие опасения растаяли почти полностью: мы снова увидели, как судьбы огромного количества людей вершатся парой росчерков пера, а в конце концов, может быть, даже случайными капризами настроения нескольких человек – и с удовольствием предоставляем верующим благодарить своего Бога за эти случайные капризы. Может случиться, что эта рефлексия заставит нас посмеяться, когда мы свидимся в Лейпциге.

Исходя из моей наиболее индивидуальной точки зрения, я уже хорошо освоился с военной идеей. Я нередко испытывал желание оторваться от своих однообразных трудов, я жаждал контрастов волнения, бурного стимула к жизни, воодушевления. Но как бы я ни силился, мне день ото дня становилось все яснее, что такие труды – отнюдь не пустяк. Во время каникул

я усвоил сравнительно очень многое, и мой Феогид после каникул застает меня продвинувшимся как минимум на один семестр. При этом я обнаружил кое-какие убедительные вещи, которые должны обогатить мои *quaestiones Theogni*. Я замурован в книгах – благодаря необычайной любезности Корссена. Так же я должен высказаться и о Фолькмане, который основательно меня поддержал, особенно всей литературой о Свиде, а он ее главный знаток. Я так хорошо вжился в эту область, что отчасти возделал ее и самостоятельно, найдя недавно доказательство того, почему *Violarium* Евдокии<sup>209</sup> восходит не к Свиде, а к основному источнику Свида, к *epitome* Гезихия Милетского<sup>210</sup> (разумеется, утраченной): для моего Феогида это дает неожиданный результат, который я изложу для тебя как-нибудь в другой раз. Кстати, я каждый день жду письма от д-ра Дильтея<sup>211</sup> из Берлина, ученика Ричля, осведомленного в вопросах о Феогиде, как никто другой. Я полностью ему доверился, не умолчав ни о моих результатах, ни о том, что я студент. Надеюсь, что, прибыв в Лейпциг, я смогу бодро приступить к окончательному написанию работы; материала у меня собрано предостаточно. Кстати, не могу отрицать, что порой я и сам едва понимаю эту возложенную мной на себя заботу, отвлекающую меня от себя самого (и притом от Шопенгауэра – что часто совпадает), ее проявления делают меня беззащитным перед судом людей, а бывает, она и вовсе принуждает меня надевать маску учености, которой у меня нет. Во всяком случае, человек что-то утрачивает оттого, что печатается. Нет недостатка и в задержках, в неприятностях. Берлинская библиотека не захотела выдать издания Феогида 16-го и 17-го столетий. Некоторое количество очень нужных книг я выпросил в Лейпцигской библиотеке благодаря содействию Рошера. Но Рошер написал мне, что его добросовестность не позволит ему выпускать из рук книги, выписанные на его имя. Мне не приходится на ум порицать такую добросовестность, только она оказалась для меня довольно неудобной.

Три вещи дают мне отдохновение, но редкое отдохновение, – мой Шопенгауэр, музыка Шумана и, наконец, одинокие

---

\* Феогидовские вопросы (*лат.*), т. е. исследования.

прогулки. Вчера в небе стояло порядочное грозное облако, я поспешил на расположенную рядом гору с названием «Лёйш» (может быть, ты сможешь объяснить мне это слово), обнаружил там наверху какую-то хижину, мужчину, забивавшего двух козлят, и его сыновей. Гроза мощно разразилась бурей с градом, я испытал несравненный подъем, и до меня дошло, что мы полностью понимаем природу, лишь когда вынуждены бежать к ней от своих забот и неприятностей. Что значил для меня человек с его беспокойным хотением! Что значило для меня это неизбежное «Ты должен», «Ты не должен»! Совершенно другое – молния, буря, град, вольные силы, без всякой этики! Как счастливы, как могучи они – чистая воля, не замутненная интеллектом!

Зато я узнал довольно примеров того, насколько замутненным бывает нередко интеллект человека. Недавно я поговорил с одним, который вскорости хотел отправиться миссионером – в Индию. Я его немного порасспрашивал; он не читал ни одной индийской книги, не знал упанишады даже по названию и положил себе за правило не связываться с брахманами – потому что у них философское образование. О, священный Ганг!

Сегодня я слышал остроумную проповедь Венкеля о христианстве «Вера, преодолевшая мир», невыносимо высокомерную по отношению ко всем нехристианским народам, но зато очень хитрую. Он постоянно подменял слово «христианство» чем-то другим, что всегда давало правильный смысл, даже для нашего подхода. Если подменить положение «вера преодолела мир» положением «чувство греховности, то есть метафизическая потребность, преодолела мир», то для нас в этом не будет ничего предосудительного, только нужно быть последовательным и сказать: «Настоящие индусы суть христиане», и наоборот: «Настоящие христиане суть индусы». По сути же дела подмена таких слов и понятий, которые однажды были твердо установлены, – дело совершенно нечестное; а слабые духом будут полностью сбиты с толку. Если христианство означает «веру в одно историческое событие или в одну историческую личность», то с таким христианством я не хочу иметь ничего общего. Но если оно означает, коротко говоря, потребность в спасении, то я могу оценить его высоко и даже не обижусь на

него за то, что оно пытается дисциплинировать философов: а таких слишком мало в сравнении с чудовищной массой нуждающихся в спасении, да к тому же сделанных из одного теста. Эх, если б только все занимающиеся философией были последователями Шопенгауэра! Но как часто за маской философа скрывается ее величество «воля», старающаяся прославить самое себя. Если бы возобладали философы, то *το πλῆθος*\* проиграло бы, а если господствует, как теперь, эта масса, то философам, *gato in gurgite vasto*\*\*, остается только *δίχα ἄλλων*, как у Эсхила, *φρονέειν*\*\*\*.

При этом нам, конечно, в высшей степени тягостно удерживать свои еще молодые и сильные шопенгауэровские мысли в таком вот наполовину высказанном виде и в общем постоянно ощущать на душе груз этой злосчастной разницы между теорией и практикой. Чем тут можно утешаться, я не знаю, а, напротив, нуждаюсь в утешении. Сдается мне, что нам следовало бы не так строго судить о ядре проблемы. В этой коллизии оно тоже есть.

Засим прощай, дорогой друг, передавай привет своим родным, мои передают тебе самый горячий привет; и будет так: когда увидимся мы снова, то улыбнемся – и по праву.

*Твой друг  
Фридрих Ницше*

### *17. Хедвиге Раабе (набросок)*

*[Лейпциг, июнь 1866]*

Мое первое желание – чтобы Вы не истолковали в дурном смысле это мое незначительное посвящение незначительных песен. От меня бесконечно далека мысль, что благодаря этому посвящению Вы сообразовали обратить свое внимание на мою личность. Если другие люди выражают в театре свое восхищение

---

\* Большинство, масса (*греч.*).

\* Редким (пловцам) в пучине пустынной (*лат.*), «Энеида».

\* Мыслить, как у Эсхила, несходно с другими (*греч.*).

руками и устами, я делаю то же самое несколькими песнями; а другие, наверное, сделали бы это еще лучше стихами. Но всеми владеет лишь одно чувство: дать Вам понять, какими счастливыми они были на протяжении короткого промежутка времени своего существования, с какой теплотой они лелеют воспоминание о таких солнечных взорах, брошенных совершенной жизнью.

Вам не стоит считать, будто такие свидетельства преклонения перед Вами относятся непременно к Вашей в высшей степени благородной и любезной натуре. В сущности, я, как, конечно, и все остальные, почитаю Ваши сценические образы: с очарованностью и с болью, с которыми передо мной встает мое детство как потерянное, но все равно бывшее, думаю я и о Ваших искренних и всегда правдивых, добрых образах. И пусть эти образы встречаются мне на моем жизненном пути очень редко – а еще совсем недавно я вообще не верил в их существование, – зато теперь моя вера в них снова прочно укоренилась во мне. Этим я и впрямь обязан исключительно Вам; после такого признания Вы не истолкуете в дурную сторону и вольность этого письма. Какое Вам, должно быть, дело до сиюминутных успехов, до бурных аплодисментов возбужденной толпы? Но знать, что многие из этой толпы уносят с собой приносящее исцеление воспоминание, что многие смотревшие на жизнь и людей довольно мрачно идут теперь дальше с просветлевшим лицом и доброжелательной надеждой, – это, наверное, чувство, дарящее бесподобное счастье.

И вот мое заключительное желание – мне хотелось бы, чтобы Вы по возможности расслышали и в звуках прилагаемых песен эти теплые и благодарные ощущения.

### *18. Франциске Ницше и Элизабет Ницше*

*[Лейпциг, конец июня 1866]*

Милые мама и Лиза, надеюсь, вы выписываете какую-нибудь газету и внимательно следили за тем, какие значительные события принесли с собой последние недели. Опасность, грозящая Пруссии, невероятно велика: и совершенно невозмож-

но, чтобы она была не в состоянии провести свою программу, добившись полной победы. Основать единое немецкое государство таким вот революционным образом – изрядная наглость со стороны Бисмарка: у него есть присутствие духа и грубая настойчивость, но он недооценивает моральные силы народа. Все же последние его шахматные ходы выглядят предпочтительней: прежде всего, он догадался свалить на Австрию значительную, если не большую часть вины.

Наше положение очень просто. Когда в доме пожар, не спрашивают, кто виновник, а тушат огонь. Пруссия охвачена огнем. Сейчас нужно ее спасать. Таково общее мнение.

С того момента, когда началась война, все второстепенные соображения отошли на второй план. Я такой же истовый пруссак, какой, скажем, мой кузен – саксонец. А для всех саксонцев сейчас особенно трудное время. Их страна полностью в руках неприятеля. Их армия вяла и неспособна к действию. Их король далек от народа. Другого короля и одного курфюрста попросту прикончили. Вот новейшее объяснение княжества «милостью Божьей». Отсюда понятно, почему старый Герлах<sup>212</sup> бранится с некоторыми вестфальскими туземцами из-за союза с коронованной (Виктор Эммануил) и некоронованной демократией.

В конечном счете эта прусская манера избавляться от князей – самая удобная на свете. Прямо-таки удача, что Ганновер и Гессен не примкнули к Пруссии: иначе мы никогда не отделились бы от этих господ.

Итак, мы живем в прусском городе Лейпциге. Сегодня во всей Саксонии введено военное положение. Мало-помалу здешнее существование перестает отличаться от жизни на острове, поскольку работа телеграфа, почты и железных дорог то и дело нарушается. Но с Наумбургом, как и с Пруссией вообще, все идет как обычно. А вот, скажем, отослать письмо Дойсену в Тюбинген нет возможности.

При этом лекции продолжают без всяких помех. Вернувшись недавно из Наумбурга, я нашел здесь письмо от Ричля, в котором он извещает меня о получении римской корректуры<sup>213</sup>. Парижская придет в конце этой недели.

Несмотря на это, я постоянно осознаю, что очень близок тот день, когда меня призовут. К тому же в конце концов не-



честно сидеть дома, когда отечество начинает борьбу не на жизнь, а на смерть.

Осведомитесь поточнее в земельной управе, когда будет призыв одногодичников-вольноопределяющихся и поскорее сообщите мне.

Самое отрадное, что еще предлагает Лейпциг, – Хедвига Раабе, которая продолжает выступать с аншлагом, тогда как Дрезденский театр, например, одна жды за день получил 6 талеров дохода.

Будьте сегодня здоровы и сделайте так, чтобы скоро мне снова достались белье и известия. Сердечный вам привет.

Ф В Н

### *Продолжение*

Поскольку письмо все еще не отправлено, то вряд ли вы придете в ярость, если получите еще добавку. Три дня я болел, но сегодня снова болен. Жар, должно быть, мне навредил. Но это не важно. А важно, что наши солдаты одержали свою первую большую победу. Это стало известно позавчера вечером благодаря нашему городскому военному коменданту, который тотчас велел вывесить на своем здании преогромное черно-белое знамя<sup>214</sup>. Настроения среди населения очень разные. Люди верят жалким венским лжецам, которые говорят, что во всех этих последних боях пруссаки понесли такие же потери <, что и австрийцы >, рассказывают друг другу о пленении 15 000 пруссаков. Черта с два! Ведь в Вене для ободрения масс искажают и выворачивают наизнанку все депеши.

Я, между прочим, сильно потешаюсь над блистательным провалом (*parfrah'*) консерваторов из Наумбурга и Цайца<sup>215</sup> на последних выборах. Нам не нужны в парламенте эгоисты, которые, чтобы выдвинуться, говорят красивые слова, втираются в доверие, рабски пресмыкаются и из чистой преданности готовы лопнуть, как дождевики. И был смрад великий.

Ваше письмо вместе с Герсдорфовым я получил и могу вас успокоить. Уж будто бы вы живете намного надежнее, чем я в Лейпциге! Я остаюсь здесь, и мне действительно совсем нео-

---

<sup>214</sup>Трах-тарарах (*греч.*).

хота торчать в какой-то несколько сонной, безгазетной и испускающей чад Крестовой газеты<sup>216</sup> дыре.

Я по-настоящему беспокоюсь за старшего брата Герсдорфа. Цитеновские гусары<sup>217</sup> бросились в бой первыми и, должно быть, понесли серьезные потери. Наш Герсдорф надеется самое меньшее через 3 месяца сделаться офицером, если, конечно, ему не перейдут дорогу тупые кадеты.

Ну все, с вас достаточно. Если Лама будет праздновать день рождения, я смогу приехать в Наумбург. Но прошу прежде прислать письмо по поводу истории с мобилизацией.

*Ф В Н*

### *19. Карлу Герсдорфу*

*[Наумбург, конец августа 1866]*

Дорогой друг, «письма нет в почте для меня»<sup>218</sup> – должно быть, часто спрашивал ты себя с удивлением. Но в ней есть одно от меня, в этой гадкой почте, и она его тебе не выдала. «Не прыгай, сердце, стой!»

Чем больше время, в течение которого ты ничего обо мне не знал, тем большей должна казаться тебе моя неблагодарность, не возместившая тебе ни единой ответной строчкой твое предпоследнее, насколько сердечное, настолько же и глубоко-мысленное письмо, – а все потому, что нюрнбергская полевая почта проглотила мое письмо и не выплевывает его. Тем сильнее я ощущаю потребность возместить то, что задолжала почта, и тем самым избавить себя от как будто весьма оправданного упрека в неблагодарности. Очень больно знать, что ты в действующей армии, расстроенный несбывшимися планами, не слишком приятной обстановкой, умерщвляющими духовную работу тревожностями, а в конце концов и вовсе невниманием со стороны друга. Ведь дело должно представляться тебе именно так. Довольно, я краснею, как люди часто краснеют, не чувствуя за собой вины и думая, что могут из-за чего-нибудь упасть в мнении других, главным образом дорогих им людей.

Твои письма, по моему субъективному ощущению, принадлежат к самому приятному, что произвела почта. Даже совсем незначительное событие, изложенное рукою друга, выглядит совершенно иначе, чем какие-нибудь великие деяния, над которыми витает отвратительный чад газетной бумаги!

Увы, о своих переживаниях я могу сообщить очень немного и к тому же незначительное. Моя работа<sup>219</sup>, уже готовая, находится у Ричля: я написал ее в трех частях и сидел в Лейпциге, пока не поставил последнюю точку (свою подпись). Я еще никогда не писал с таким отвращением; в конце концов я монотонно отбарабанил свой материал: тем не менее Ричль был полностью доволен той частью, которую читал. Выйдет она, наверное, в октябре. Ричль хочет внимательно прочесть ее насквозь; Вильгельм Диндорф тоже попросил для себя разрешения. С последним я, вероятно, войду в деловые отношения. Он передал мне через Ричля запрос, не соглашусь ли я составить лексикон по Эсхилу с точки зрения новейшей критики текстов Эсхила. Разумеется, за хороший гонорар. Я рассудил, что в таком случае смогу многому научиться, что по-настоящему хорошо вникну в Эсхила, что в моих руках окажется Диндорфова свертка *cod. Medicus*<sup>\*</sup> (единственная полная, сделанная немецкими учеными), что я получу удобную возможность, даже принуждение подготовить какую-нибудь вещь, скажем, «Хозфоры»<sup>220</sup>, для своих будущих лекций, – и после всех этих рассуждений я на такое дело согласился. Только сначала я должен доказать, что способен его выполнить, – во время каникул мне предстоит отработать пробный печатный лист. Кстати, такая работа, связанная с Эсхилом, как раз не лишена интереса, ведь тут придется постоянно проводить критику бесчисленных конъектур. Диндорф рассчитал, что в книге будет как минимум 60 листов. После каникул, если, конечно, дело сладится, я вступлю в денежные переговоры с Тойбнером<sup>221</sup>. Ричль неизменно доброжелателен со мной.

Значит, и на следующий семестр я остаюсь в Лейпциге, где меня все отлично и полностью устраивает. Неужели у тебя нет возможности продолжать службу в Лейпциге? Если бы так, я был бы поистине счастлив, потому что тебя мне особенно не хватает.

---

<sup>\*</sup> Кодекса Медичи (*лат.*).

У меня, правда, сейчас много знакомых, но нет никого, с кем я делил бы столь многое в прошлом и настоящем, как с тобой. Может быть, мне удастся расшевелить и старого доброго Дойсена перебраться в Лейпциг; недавно он написал мне, что теперь хорошо понимает, какую совершил глупость. «Ты приходишь поздно, но приходишь», а именно, прозрение относительно учебы на теолога. Он хочет бросить Тюбинген, выбор университета ему безразличен, потому что для своей теологии, ярмо которой он намерен нести до конца (не конца всех вещей, а до первого же экзамена), он нигде не надеется найти многое. Возможно, ему сейчас снова предстоит «обращение». Филология всегда будет рада, если ее уже давно блудный сын, отъездивший на барде теологов, вернется, — а уж сравнительное языковедение в особенности сможет заклать тельца уже только в честь Дойсена.

Наш филологический союз процветает: недавно мы все сфотографировались и подарили карточку Ричлю, к его великой радости. Роде теперь тоже постоянный член, у него очень толковая, но упрямая и своевольная голова. Принимая новых членов, я стараюсь действовать с величайшей строгостью и отбором. Господин фон Фойгт не удостоился чести быть принятым.

Последние недели в Лейпциге были очень интересными. Риделевский союз дал в церкви св. Николая концерт в пользу раненых. Люди толпились у всех входов в церковь, как у театра, когда играла Хедвига Раабе. Наша выручка составила более 1000 талеров. За полчаса до начала концерта в Лейпциг пришла телеграмма с тронной речью: еще никогда я не испытывал такого счастья по поводу какого-нибудь деяния нашего короля, как по поводу этой недвусмысленно-примирительной речи. Старые партийные лагеря нынче совершенно опустошены, то есть крайние точки зрения. Люди вроде Трейчке и Роггенбаха внезапно сделались выразителями всеобщего мнения. Большая часть так называемых консерваторов, например, советник Пиндер из Наумбурга, весело плывут в новом фарватере. Да и для меня, откровенно говоря, это странное и совершенно новое удовольствие — хоть раз почувствовать свое полное единодушие с нынешним временным правительством. Конечно, следует оставить в покое различных мертвецов, а кроме того, уяснить себе, что игра Бисмарка была чрезвычайно смелой, что полити-

ка, которая отваживается призывать к игре ва-банк, в зависимости от исхода дела может заслужить как проклятье, так и преклонение. На этот раз исход дела налицо: то, что получилось, велико. На несколько минут я пытаюсь избавиться от ощущения хода времени, от субъективно естественных симпатий к Пруссии, и тогда передо мной оказывается зрелище великой фундаментальной и государственной акции, сделанной из того же вещества, из которого – так уж устроено – сделана история, зрелище совершенно не моральное, но для наблюдателя довольно красивое и поучительное.

Ты, наверное, читал сочинение Трейчке о будущем второстепенных держав<sup>222</sup>. Я раздобыл ее в Лейпциге с большим трудом, где она, как и вообще в Саксонии – *proh pudor* – была под запретом. Зато наши единомышленники, все эти пятницы, порядочные обыватели и т. д., добились вотума саксонской либерально-национальной партии в пользу безусловной аннексии. Это было бы очень полезно и для моих личных интересов. Надо надеяться, король Иоанн<sup>223</sup> достаточно твердолюб, чтобы вынудить Пруссию к аннексии.

Наконец, нужно упомянуть еще о Шопенгауэре, которому я все еще привержен с совершеннейшей симпатией. Что он для нас значит, лишь недавно хорошо показало мне некое другое сочинение, на свой лад превосходное и весьма назидательное: «История материализма и критика его значения для современности» Фр. А. Ланге, 1866. Здесь перед нами в высшей степени просвещенный кантианец и естествоиспытатель. Его результаты можно резюмировать в трех фразах:

1. Чувственный мир есть продукт нашей организации;
2. наши видимые (телесные) органы, так же как и все другие составные части мира явлений, суть лишь образы некоего неизвестного предмета;
3. поэтому наша истинная организация остается для нас такой же неизвестной, как и истинные вещи внешнего мира. Перед нами всегда лишь продукт того и другого.

Таким образом, истинная сущность вещей, вещь сама по себе, не только неизвестна нам, но и ее понятие есть не более

---

\*О позор! (лат.).

и не менее, чем последнее порождение обусловленного нашей организацией антагонизма, о котором мы не знаем, имеет ли он какой-нибудь смысл вне нашего опыта. Следовательно, полагает Ланге, надо дать философам делать, что они хотят, на том условии, что отныне они будут нас наставлять. Искусство свободно, в том числе и в сфере понятий. Кому нужно опровергать какой-нибудь пассаж Бетховена и кто станет уличать в заблуждении «Мадонну» Рафаэля? –

Видишь, наш Шопенгауэр остается нашим даже при такой строжайше критической точке зрения, мало того, он чуть ли не еще больше становится нашим. Если философия – это искусство, то и Гейм<sup>224</sup> пускай прячется от Шопенгауэра; если философия должна наставлять, то я не знаю по крайней мере ни одного философа, который был бы более наставительным, чем наш Шопенгауэр.

На этом я сегодня с тобой прощаюсь, дорогой друг. Подумай, не сможешь ли ты перебраться в Лейпциг. Но во всяком случае сообщи мне, когда и где мы сможем увидеться. Ведь я очень хочу с тобой повидаться, чего в Лейпциге мне не было суждено, потому что вы, появившись, уж очень быстро снова исчезли из его окрестностей. Но я все же слышал музыку твоего полка, несколько неклассическую, и особенно много в ней было от африканки.

В Пфорте я еще не был. Фолькман удачно женился. Твои поздравления я в точности передам. Мои родные велят тебе усердно кланяться и передавать тебе заверения в своей благоклонности. *Adieu*, дорогой друг,

*Твой Ф. В. Ницше*

*20. Паулю Дойсену (фрагмент)*

*[Наумбург, сентябрь 1866]*

Дорогой друг, если бы я знал хоть что-нибудь о твоих делах! Честное слово, это не моя вина. Мне приходится предполагать, что мое последнее письмо, отправленное в конце августа, до

тебя не дошло: ведь, говоря откровенно, я не простил и не понял бы, если бы ты оставил без ответа как раз это письмо. Поэтому я принимаю более мягкий вариант, который, правда, пришелся мне очень некстати: пусть лучше бы пропало множество других моих писем вместо этого одного, в котором я выразил наинастоятельнейшую просьбу к тебе. <А именно, > скинуть с себя теологическую медвежью шкуру и повести себя, как молодой филологический лев.

Ad vocem\* медвежьей шкуры. Прошу, не истолкуй это в худую сторону. Конечно, ты будешь прилежно трудиться, но я больше не в состоянии ценить этот труд, если не верю при этом в одно условие: что такого рода работа и есть твое призвание. Я в это не верю, потому что ты, по собственному признанию, и сам в это не веришь. И даже если сейчас ты думаешь об этом иначе, как думал в своем последнем письме, то я со своей стороны в самом деле не могу быть убежден, что ты трудишься в рамках своего призвания, покуда готовишься к экзамену по теологии.

Дорогой Пауль, ведь это не мелочь – в двадцать с лишком лет все еще не определиться с призванием. Нам, людям, отпущено мало лет настоящей продуктивности: они неизбежно отлетают вместе с названным возрастом. Оригинальные взгляды, на основе которых складывается вся наша дальнейшая жизнь, которые должны подтвердить и укрепить ее примерами и опытом, рождаются в эти годы: но поскольку наша профессия сопровождает нас всю жизнь, необходимо, чтобы эти воззрения и постижения были найдены в *ней*. А своеобразие наших филологических занятий состоит в том, что, дабы познать в них нечто новое, дабы отыскать новаторский метод, требуется еще и некоторая степень учености и рутины, то есть опыта и навыков. Значит, нужно многому научиться, многое переварить, но еще больше искать, комбинировать, вскрывать.

Для этого нужно время, много времени. Я всегда вспоминаю жалобы Ричля, который страстно хотел вернуться в свои студенческие времена, потому что то было единственное время жизни, когда человек мог работать много и организованно.

---

\*Что касается (*лат.*).

Ну, дорогой друг, ты понимаешь, во что все это метит. Мне неизвестно, сколь многое из этого в твоей власти. Как бы там ни было, я боюсь, что ты падал не так, как всякое другое тело, в силу собственной тяжести (а твою теологическую учебу я могу расценивать лишь как твое падение), а в силу притяжения, исходившего от других. Кто они, конечно, небезразлично, но в смысле решающей для жизни важности такого шага этих «других» принимать во внимание не нужно.

Видишь, я еще не отказался от надежды на твой филологический «полет». Значит, эта надежда, должно быть, велика. Я злюсь, думая о твоей «теологии», а потому прости, если я отворачиваюсь от нее и в этом письме.

Чем больше и чем лучше я, стоя в преддвериях филологии, заглядываю в ее святилища, тем сильнее стараюсь заполнить для нее адептов. Это занятие, в котором несколько капель пота приносят результат, но которое и в действительности оправдывает *любые* усилия. Довольно скоро у настоящего филолога вырабатывается сильное и дающее силы ощущение жизненной задачи. Ведь нам, дорогой Пауль, не должно быть дела до страхования жизни и своевременного получения доходных местечек. Но оба мы, конечно, страстно желаем изгнать то меланхолическое состояние, в котором юный ум еще не нашел пути, по которому мог бы идти, не теряя здоровья, оба мы, конечно, страстно желаем<sup>225</sup>

*21. Карлу Герсдорфу*

*Наумбург, 6 апреля [1867]*

Мой дорогой друг, причина моего долгого молчания заключается Бог весть в чем. Ведь я никогда не испытываю более благодарных и радостных чувств, чем когда твои письма приходят и приносят с собою верные известия о твоих переживаниях и настроениях. Очень часто мне случается говорить о тебе; я никогда не упускаю такой возможности. Еще чаще я обращаюсь к тебе мыслями, прямо когда роюсь в книгах и поневоле думаю о всякого рода ученых вещах, которые у тебя по праву вызвали бы некоторое отвращение. И несмотря на это,



я не пишу. Порой я и сам удивляюсь, почему. Как раз сейчас я начал понимать, что может быть причиной этому. Рука, что день-деньской пишет, глаза, которые с утра до вечера видят, как белая бумага чернеет, требуют перемены или отдыха. Но сегодня Свиде и Лаэртию пришлось ждать всю вторую половину дня, потому что у меня был гость: а, значит, они подождут и сегодня вечером. Почему они выпустили власть из своих рук? Так пусть они окажутся в проигрыше, а я от этого же самого – в выигрыше, потому что могу письменно побеседовать со своим любимым другом, и мне не надо оглядываться на этих двух древних парней, глупости которых меня обычно занимают.

Хочу я в эти каникулы нанести на бумагу свою работу об источниках Диогена Лаэртского, а сейчас только еще ее начинаю. Чтобы тебя повеселить, признаюсь, каков предмет большей части моих усилий и забот: это мой немецкий стиль (не говоря о латинском – если я разобрался с родным языком, то на очереди и чужие). У меня словно пелена с глаз упала: слишком долго я жил в стилистической невинности. Категорический императив – «Ты обязан писать, это твой долг» – меня разбудил. Ведь я попытался сделать то, чего никогда не делал, кроме как в гимназии: писать хорошо, и внезапно перо отнялось в моей руке. Я не мог им и пошевелить и начал злиться. К тому же в ушах у меня гремели стилистические предписания Лессинга, Лихтенберга и Шопенгауэра. Меня всегда утешало одно: эти три авторитета единодушно утверждали, что писать хорошо – дело трудное, что природа не награждает хорошим стилем никого, а потому надобно работать и преодолевать множество трудностей, чтобы его добиться. Мне действительно не нравилось уже писать так деревянно и сухо, согласно корсету логики, как я делал, к примеру, в своей статье о Феогниде: у ее колыбели не сидели грации (скорее уж раздавался глухой гул издали, как бы из Кёнигсбрэнца). Было бы сущим несчастьем так и не научиться писать лучше, но <продолжать> горячо этого желать. Прежде всего нужно снова освободить от оков в моем стиле кое-каких бодрых духов, мне надо научиться играть на нем, словно на клавиатуре, и не только выученные заранее пьесы, но и свободные фантазии, играть настолько свободно, насколько это возможно, причем всегда логично и красиво.

Во-вторых, меня беспокоит второе желание. Один из моих старейших друзей, Вильгельм Пиндер из Наумбурга, сейчас вплотную подошел к своему первому экзамену по праву; нам тоже знакомы хорошо известные страхи в такие моменты. Но что мне нравится, что подстрекает к подражанию, заключается не в самом экзамене, а в подготовке к нему. Как, должно быть, полезно, даже как это возвышает, – дать пройти мимо себя всем областям своей науки за один семестр и тем самым действительно получить о них общее представление. Это не то же самое, как если бы офицер, привыкший только муштровать свою роту, в бою вдруг приходит к пониманию того, какие большие результаты могут принести его малые усилия. Ведь не станем отрицать, что у большинства филологов нет этого возвышающего общего представления об античности, потому что они становятся слишком близко к картине и исследуют какой-нибудь один мазок кисти, вместо того чтобы изумляться смелым образам всего полотна, более того – наслаждаться ими. Когда же, я спрашиваю, мы будем в чистоте души наслаждаться своими античными исследованиями, о чем мы, увы, говорим довольно часто?

В-третьих, вообще вся наша манера работать ужасна. Сто книг на столе передо мной – это столько же клещей, выжигающих нерв самостоятельного мышления. Думаю, дорогой друг, что ты отважно выбрал наилучший жребий. А именно, действенный контраст, обратный подход, противоположную позицию в отношении жизни, человека, работы, долга. Этим я на самом деле воздаю хвалу не твоей нынешней профессии<sup>226</sup> как таковой, а ей только в том смысле, что она была отрицанием твоей прежней жизни, стремлений, мышления. При таких контрастах душа и тело остаются здоровыми, не вызывая те неизбежные формы болезней, которые порождает как избыток научной деятельности, так и чрезмерное преобладание деятельности физической, и которые ученые делят с грубыми мужиками. Разве что у этих вторых такие болезни проявляются иначе, чем у первых. Греки не были учеными, но не были они и умственно отсталыми атлетами. А если нам будет так уж нужно сделать выбор между той и другой стороной, то, возможно, что и тут трещина в человеческой природе пошла от «христианства» – трещина, которой не ведал народ гармонии? Не должен ли образ,

скажем, Софокла устыдить любого «ученого», который научился так изящно танцевать и бить по мячу, да при этом еще и проявлять кое-какие умственные навыки?

Но дела с этими вещами идут у нас так же, как идут они у нас со всей жизнью: мы приходим к познанию беспорядка, но и пальцем не пошевелим, чтобы его устранить. Вот тут-то я и мог бы начать какое-нибудь четвертое сетование, но удержусь от этого в присутствии моего армейского друга. Ведь воину подобные жалобы должны казаться куда более противными, чем такому домоседу, каков я нынче.

Тут мне вспоминается одна недавняя история – правда, она служит иллюстрацией ученых форм болезни и потому не стоила бы разговора, но тебя позабавит, поскольку кажется всего лишь переводом Шопенгауэровой статьи «о профессорах философии»<sup>227</sup> на язык реальности.

Есть один город, где один молодой человек<sup>228</sup>, оснащенный особыми мыслительными способностями и особенно предрасположенный к философскому умозрению, вынашивает план получить докторское звание. С этой целью он сводит воедино свою систему, которую напряженно продумывал несколько лет, – «Фундаментальные схемы представления» – и наконец, сделав свое дело, счастлив и горд собой. С этими чувствами он преподносит систему философскому факультету того городка, где случайно имеется университет. Два профессора философии должны дать свои отзывы, и они его дают: один высказывается в том смысле, что работа сделана с умом, но представляет воззрения, которые здесь преподавать никак невозможно, другой же заявляет, что взгляды автора не соответствуют здравому человеческому рассудку, являя собой парадоксы. Итак, работа отклонена, и докторская шапочка соискателю не досталась. К счастью, этот человек не достаточно безропотен, чтобы слышать в этом суждении голос мудрости, а, напротив, настолько заносчив, чтобы утверждать: такой-то философский факультет обнаруживает отсутствие философской *facultas*<sup>\*</sup>.

Одним словом, дорогой друг, невозможно идти своими путями достаточно самостоятельно. Истина редко обитает там, где

---

\*Способности, дара (*лат.*).

для нее построили храм и назначили жрецов. Если мы делаем что-то хорошо или глупо, то расхлебывать нам самим, а не тем людям, что дали нам хороший или глупый совет. По крайней мере пусть нам будет предоставлено удовольствие совершать глупости добровольно. Не существует единого рецепта, как помочь каждому отдельному человеку. Нужно быть врачом себе самому, а одновременно собирать врачебный опыт на себе самом. Мы и впрямь слишком мало думаем о своем благе, наш эгоизм недостаточно сообразителен, наш разум недостаточно эгоистичен.

Этого, дорогой друг, на сегодня довольно. Увы, у меня нет для тебя никаких «солидных», «практичных» сообщений, или как там еще звучат модные словечки молодых купцов, но ведь ты этого и не ждешь. Что я радуюсь вместе с тобой, когда ты находишь нашего единомышленника, да к тому же столь дельного и любезного, как Крюгер, – это само собой разумеется. Наше масонское братство множится и растет, хотя и без знаков отличия, таинств и символов веры.

Уже поздняя ночь, снаружи завывает ветер. Ты знаешь, что я останусь в Лейпциге и на следующий семестр. Мои желания ведут меня, филолога, в Париж, в императорскую библиотеку, куда я, вероятно, и отправлюсь в следующем году<sup>229</sup>, если до той поры вулкан не извергнется. Мыслями своими я, человек, довольно часто, как и сегодня ночью, уношусь к тебе, которому на этом я от всего сердца говорю «доброй ночи».

*Фридрих Ницше,  
твой верный друг*

Наумбург, 6 апреля:

отсюда я уеду 30 апреля. Мое новое жилище – в Лейпциге, Вестштрассе, 59, 3 этаж.

*22. Эрвину Роде*

*Наумбург, 3 ноября 1867*

Мой дорогой друг, вчера я получил письмо от нашего Вильгельма Рошера<sup>230</sup> из Лейпцига с известиями, которые с твоего

позволения пусть послужат прологом к этому письму. Сначала радостная весть о том, что дела со здоровьем и состоянием духа батюшки Ричля обстоят наилучшим образом; мне слышать это удивительно, поскольку поведение берлинцев наверняка нанесло ему несколько ран. Во-вторых, кажется, наш союз, который обзавелся еще и церемониальной печатью, продвигается к лучшему будущему. Читательский кружок насчитывает покуда 28 членов: кафе Цаспеля, согласно планам Рошера, должно стать своего рода филологической биржей. Куплен и шкаф для хранения журналов. Пятничных собраний еще, видимо, не было; по крайней мере, Вильгельм ничего об этом не пишет. К тому же еще не прибыли разные члены союза, например, Кох, которому, увы, помешала тяжелая болезнь. То же – превосходный Коль, который, как ни странно, хочет задержаться на несколько недель у друга за городом, тем самым несколько оттянув опасные сцены экзамена. Наконец, не хочу умолчать, что письмо Рошера принесло мне приятное известие: моя работа о Лаэрции 31-го октября в актовом зале одержала победу в борьбе с господином *Outis*\*; я рассказываю об этом главным образом потому, что вспоминаю при этом твои дружеские старания, не без участия которых названное *opusculum*\*\* сошло со стапеля. Может пройти много времени, прежде чем будет напечатано что-то из этих вещей: я отказался от всех прежних планов и держусь лишь за один – рассмотреть эту область в более обширной связи, объединившись с другом Фолькманом. Но поскольку мы с ним работаем совершенно по-разному, то пусть себе прелестные сказки об учености Лаэрция и Свиды еще немного понаслаждаются жизнью. Единственный человек, который, видимо, узнает о вероятном положении дел немного скорее – это Курт Ваксмут: он хочет услышать о нем и услышит лично и устно, после того как я в Галле познакомился с ним на съезде филологов<sup>231</sup>. У него и впрямь есть некоторый артистизм, и прежде всего гротескное безобразие, которое он несет на себе с энтузиазмом и гордостью.

Те дни в Галле для меня пока что – веселый финал или, скажем, кода моей филологической увертюры. Эти толпы учи-

---

\* Никто (*греч.*); так у Гомера Одиссей представился Полифему.

\*\* Сочиненьице (*лат.*).

телей выглядят все же лучше, чем я мог ожидать. Может быть, старые пауки остались в своих сетях: короче говоря, одежды были приличными, по последней моде, а усы весьма популярными. Старец Бернхарди, правда, председательствовал хуже некуда, и Бергк скучал на протяжении всего невразумительного трехчасового доклада. Но по большей части все удалось на славу, главным образом торжественный обед (на котором у старого Штайнхарта украли золотые часы: отсюда ты можешь вывести, каково преобладающее умонастроение) и вечернее собрание в «Окопе». Здесь же я познакомился с умно глядящим магистром Зауппе<sup>232</sup> из Гёттингена, который интересен мне как образец для наумбургских филологов. Его доклад о некоторых новых аттических надписях был самым пикантным, что мы услышали; правда, я исключаю речь Тишендорфа о палеографии – он бодро выступил в полном вооружении, то есть с девственным Гомером, с подделками Симонидеса, с фрагментами Менандра и Еврипида и т. д.; еще он подробнейшим образом сообщил и в конце концов объявил о своем труде по палеографии, назвав наивную цену за него, а именно, примерно 5000 талеров. Гостей было великое множество, и очень много знакомых. За обедом мы образовали лейпцигский угол стола, состоящий из Виндиша, Ангермана, Клемма, Фляйшера и т. д. Я был очень рад обнаружить, что Клемм – человек совершенно очаровательный: а ведь в Лейпциге я был едва с ним знаком, мало того, даже питал к нему что-то вроде отвращения из-за проклятой боннской привычки, обыкновенно посылая ему вслед те косые взгляды, которыми корпоранты так любят мерить «господ с клироса». Естественно, он объявил себя от всего сердца готовым участвовать в лейпцигских *symbolis*<sup>233</sup>. Вот только срок, как он думает, намечен слишком ранний – и я близок к тому, чтобы с ним согласиться. Каждый день, даже каждый час мы в Галле ждали прибытия батюшки Ричля, который обещал приехать, но, увы, был вынужден покориться плохой погоде. Нам очень не хватало его присутствия, в особенности мне, который обязан ему решительно всем. Его вмешательству я должен приписать то, что сейчас владею полным комплектом «Рейнского музея», причем я не сделал для этого ничего, даже твердо рассчитывал на то, что еще долго могу

ничего не делать для того указателя<sup>234</sup>. Следующие несколько недель после нашей поездки я не тратил на эту барщину, а самым веселым образом сводил воедино свои *Democritea*<sup>\*</sup>; эта работа будет *in honorem Ritscheli*<sup>\*\*</sup>. Ну, по крайней мере, жребий брошен: хотя для тщательного обоснования моих безумных идей и кряжистой комбинаторики остается сделать еще слишком многое, уж очень многое для человека, который «работает совершенно по-другому».

Ну, спросишь ты, если он не курит и не играет, если не составляет *indicem*<sup>\*\*\*</sup>, не комбинирует *Democritea*, пренебрегает *Laertium et Suidam*<sup>\*\*\*\*</sup>, то чем он тогда занимается?

Он занимается строевой подготовкой.

Да, мой дорогой друг, если когда-нибудь в ранний утренний час, скажем, между пятью и шестью, какой-нибудь демон приведет тебя в Наумбург и случайно вознамерится направить твои шаги в мою сторону, то не оцепеней при виде зрелища, которое предстанет твоим чувствам. Ты вдруг почувешь запах конюшни. В приглушенном свете фонаря возникнут какие-то фигуры. Вокруг тебя будут скоблить, ржать, скрести щеткой, топтать. А посреди всего этого в одежде конюха кто-то усердно выгребает руками нечто несказуемое, тошнотворное или обрабатывающий лошадь скребком – мне становится страшно, когда я вижу его лицо<sup>235</sup>, – ведь это, клянусь собакой, я собственной персоной.

Парой часов позже ты увидишь в манеже двух несущихся по кругу коней, не без всадников, из которых один очень похож на твоего друга. Он скачет на своем огненном, норовистом Балдуине, думая когда-нибудь научиться ездить верхом хорошо, хотя или, скорее, потому, что сейчас он все еще ездит на попоне, с шпорами и шенкелями, но без хлыста. А еще ему надо поскорее отучиться от всего, что он слышал в лейпцигском манеже, и прежде всего с большим трудом усвоить правильную и уставную посадку.

---

\* Демокритовские штудии (лат.).

\*\* В честь Ричля (лат.).

\*\*\* Указатель (лат.).

\*\*\*\* Лаэрцием и Свидой (лат.).

В другое время суток он стоит, прилежный и внимательный, возле нарезного орудия и достает из передка гранаты, или читает ствол банником, или наводит пушку по дюймам и градусам *etc.* Но прежде всего ему надо очень многому научиться.

Клянусь тебе уже упомянутой собакой, у моей философии появилась сейчас возможность послужить мне на деле. Пока что я ни на мгновение не почувствовал себя униженным, но очень часто улыбался как бы чему-то баснословно-невероятному. А иногда, укрывшись под крупом лошади, я шепчу: «Шопенгауэр, помоги!»; и, возвратившись домой измотанный и покрытый потом, я успокаиваюсь при виде портрета, стоящего на моем письменном столе, или раскрываю «*Parerga*», которые мне теперь, вкупе с Байроном, симпатичнее, чем когда-либо.

Теперь, наконец, я добрался до места, где могу высказать то, с чего, как ты ожидал, я должен был начать письмо. Мой дорогой друг, вот ты и знаешь причину, почему мое письмо так неподобающе долго запаздывало. У меня в строжайшем смысле слова не было времени. А часто и настроения. Ведь письма друзьям, которых любят, как я тебя люблю, пишутся не в каком угодно настроении. Не пишут писем и на скорую руку, в день по строчке: нет, страстно ждешь, когда придет свободный от забот, просторный час и настроение. Сегодня в окошко дружелюбно заглядывает осенний день. Сегодня после обеда я свободен, по крайней мере до половины седьмого; в этот час я призван в конюшню на вечернее кормление и поение. Сегодня я на свой лад праздную воскресенье, вспоминая своего далекого друга, наше общее прошлое в Лейпциге, Богемском лесу и в Нирване<sup>236</sup>. Судьба внезапным движением вырвала лейпцигский лист из моей жизни, а следующий, на который я сейчас и смотрю в этой Сивиллиной книге, сверху донизу покрыт чернильными кляксами. Тогда жизнь текла в полнейшем самоопределении, в эпикурейском наслаждении наукой и искусствами, в кругу единомышленников, в близости любимого учителя и – вот самое лучшее, что я могу сказать о тех лейпцигских днях – в постоянном общении с другом, который был мне не только товарищем по учебе или, скажем, человеком, связанным со мной общими переживаниями, а тем, чье серьезное отношение к жизни поистине стоит на той же



отметке, что и в моих собственных чувствах, чей способ оценивать вещи и людей следует примерно тем же законам, что и мой, вся сущность которого, наконец, оказывает на меня укрепляющее и закаливающее действие. Поэтому и теперь больше всего мне не хватает именно этого общения; и я даже отважусь предположить, что если бы нас осудили вместе тянуть этот гнет, мы несли бы свое бремя с большей ясностью духа и достоинством, в то время как сейчас мне остается лишь утешаться воспоминанием. Первое время я чуть ли не удивлялся, что не вижу тебя как товарища по судьбе: иногда, скача на лошади и поворачивая голову к другому вольноопределяющемуся, я представляю себе, что там, на другой лошади, сидишь ты.

В Наумбурге я довольно одинок; в кругу моих знакомых нет ни филолога, ни того, кто дружит с Шопенгауэром; да и знакомые-то видятся со мной редко, потому что служба отнимает у меня почти все время. Оттого-то я часто испытываю потребность все снова пережевывать прошлое, делая настоящее съедобным путем добавки к нему таких пряностей. Когда я сегодня утром шел в дождевике сквозь черную, холодную, сырую ночь, а ветер беспокойно обдувал темные массы домов, я напевал «Кто честен, весел должен быть» и думал о нашем шутовском прощальном торжестве, о подпрыгивавшем Кляйнпауле – существование которого в Наумбурге и Лейпциге сейчас неизвестно, но именно поэтому не подвергается сомнению, – о дионисовском лице Коха, о нашем памятном знаке на берегу той речки в Лейпциге, который мы окрестили Нирваной и который с моей стороны несет на себе торжественные слова, оказавшиеся победоносными, – *γένοι οἶος ἐσσι*<sup>237</sup>.

Если в завершение я применю эти слова к тебе, дорогой друг, то пусть в них прозвучит лучшее, что есть для тебя в моем сердце. Кто знает, когда переменчивая судьба снова соединит наши пути: хорошо бы поскорее; но когда бы это ни произошло, я с радостью и гордостью буду оглядываться на то время, когда приобрел друга *οἶος ἐσσι*.

*Фридрих Ницше,*

---

<sup>237</sup>Такого, как ты (*греч.*).

канонир 21-й батареи кавал. отделения полка полевой артиллерии № 4. NB. Это письмо снова задержалось на несколько дней, потому что мне очень хотелось отправить с ним вместе корзиночку винограду: но в конце концов злополучная почта объявила, что последней не примет, поскольку виноград все равно пришел бы в виде сула.

Ignoscas\*

*23. Карлу Герсдорфу*

*Наумбург, 16 февраля 1868*

Дорогой друг, сквозь два твоих в высшей степени для меня радостных письма я отчетливо разглядел, над чем ты нынче трудишься и о чем думаешь: благодаря им я ощущаю спокойное наслаждение, с которым ты, закончив строгую, полную ограничений службу, снова прогуливаешься по прекрасному саду наук. Ах, кабы судьбе было угодно, чтобы это наслаждение вскоре снова подало знак и мне! Но мое время, даже лучшая часть моих духовных сил и активности тратятся на вечное круговращение воинских упражнений. Сейчас я на этот счет полностью покорился судьбе, а в первые месяцы делал неистовые попытки продолжать занятия даже в нынешних условиях. Меня сильно волновала преимущественно одна работа, для которой я собрал кучу прекрасных материалов (и собирал каждый день), работа, с которой меня связывали мои филологические и философские интересы: о писаниях Демокрита. Неимоверное количество сведений о них внушило мне недоверие; я пошел по пути представления о грандиозной литературной мистификации и на запутанных комбинационных тропинках нашел огромное множество интересных пунктов. Но в конце концов, когда мне удалось скептически рассмотреть все последствия, общая картина в моих руках постепенно перевернулась; я пришел к новому общему взгляду на значительную личность Демокрита и с этой высочайшей наблюдательной вышки восстановил тра-

---

\*Ты меня простишь (*лат.*).

дицию в правах. И вот я положил себе изобразить весь этот процесс, спасение <чести принципа> отрицания через отрицание, попытавшись вызвать у читателя те же вереницы мыслей, которые непрошено и сильно навязывались мне. Но для этого нужны праздность и хорошее мыслительское и сочинительское здоровье.

Покуда не было у меня особой удачи с моей работой *de fontibus Laertii Diogenis*, которую давно должны были напечатать, но из-за маленькой нерадивости одного знакомого она отправилась на печать в Лейпциг лишь на прошлой неделе. Она, как и моя работа о Феогниде, выйдет в «Рейнском музее»<sup>238</sup>. Она уже только из-за своей темы вызовет у нескольких филологов больше оцепенения или раздражения, чем мое первое *opusculum*. Никак нельзя было обойтись без того, чтобы там и сям не дать подзатыльника какому-нибудь филологу. Ну, посмотрим, что она мне принесет. К счастью, большую часть материала, и как раз для важных пунктов, я вообще так и не дал, и если разгорится полемика, я всегда смогу подбрасывать его полными горстями.

Потом, когда я освобожусь от работы о Демокрите и счастливо спущу со стапеля диссертацию *de Homero Hesiodoque aequalibus*, то со свежей головой примусь за главный труд – изображение литературных занятий древних, в ходе которого выяснится эволюция того, что сейчас называют историей литературы. Как-нибудь потом я расскажу тебе, как на заднем плане выставлю несколько весьма пессимистических положений, благодаря чему все в целом будет явно овечно шопенгауэровской атмосферой.

Прости, что я развлекаю тебя одними перспективами да замыслами, уж конечно, вещами нереальными. Но подумай, насколько сильна в людях потребность высказать свои желания и насколько мало окружающие меня склонны воспринимать подобные вещи. По сути дела, это как раз то, что больше всего угнетает меня в Наумбурге, – *ἔρημία τῶν φίλων*<sup>\*</sup>, хотя, с другой стороны, я должен почитать за счастье, что благодаря присутствию своих родных избавлен от забот повседневного существования и даже могу наслаждаться комфортной жизнью.

---

\* Отсутствие друга (греч.).

Моя служба, как я тебе сказал, отнимает много времени, но в целом выносима. А в особенности – все еще верховая езда, мое усердие в которой поддерживается кое-какими похвальными отзывами. От офицеров я слышу, что у меня хорошая посадка и этим я выгодно отличаюсь от прочих. Дорогой друг, я и впрямь никогда не думал, что у меня будет повод для тщеславия еще и в этих сферах. Короче говоря, меня довольно сильно влечет как можно дальше продвинуться в этом прекрасном, но трудном искусстве. Если ты когда-нибудь, скажем, по поводу пфортенского школьного праздника, приедешь в Наумбург, то без труда сможешь оценить мои достижения; думаю, ты от души рассмеешься, услышав, как я отдаю команды. Впрочем, мне надо еще много учиться, чтобы пристойно выдержать офицерский экзамен.

Что ты с огромным удовольствием набросился на изучение политической экономии, мне очень даже понятно; я и сам ни о чем не сожалею так сильно, как о том, что доныне у меня не было <здесь> дельного путеуказчика. Ведь о месте и ценности Рошера<sup>239</sup> мы, что было для меня неожиданным, пришли к совершенно одинаковому мнению. Как в разговоре с другом Кляйнпаулем, который отлично распознал слабости философской натуры Рошера, так и в беседе с умной супругой Ричля, тоже ясно почувствовавшей пикантную поверхностность этого остроумного человека, я высказался примерно в том же смысле. Кстати, серьезное подтверждение верности этого мнения – склад ума его сына, с которым у меня был случай познакомиться: этот склад несет в себе все черты прообраза.

Книжица, из которой я усвоил кое-что о состоянии социально-политических партий, хотя чтение это сомнительное и сильно отдает кислым духом реакции и католицизма, тебе, наверное, тоже известна: «История социально-политических партий в Германии», автор – *Йоз. Эдм. Йорг* (Фрейбург-в-Брейсгау, 1867). И из нее явствует иррациональная величина Лассалья. Увы, я не усматриваю возможности получить в свои руки его сочинения, а потому мне придется отложить это до лучших времен.

Здесь я должен снова превознести заслуги человека, о котором уже однажды тебе писал. Если у тебя есть охота углубленно заниматься материалистическим движением наших дней,

естественными науками с их дарвиновскими представлениями, их космическими системами, их живой *camera obscura etc.*, а одновременно и этическим материализмом, манчестерскими теориями etc., то лучшее, что я могу тебе порекомендовать, это «История материализма» Фридр. Альб. Ланге (Изерлон, 1866). Эта книга даст нечто бесконечно большее, чем обещает название, и ее хочется все снова рассматривать и читать, как истинное сокровище. При твоём направлении исследований я не могу назвать тебе ничего более достойного. Я решительно положил себе свести знакомство с этим человеком и хочу послать ему свою работу о Демокрите в знак благодарности.

Кстати, Шпильгаген тоже относится к тем, с которыми я хотел бы вступить в личные отношения. Может быть, в Берлине как-нибудь будет случай сблизиться. Я удивлен, что ты даже не нанес визита этому превосходному человеку. Надо нам как-то собирать вместе наших друзей по философии. В их списке есть еще Банзен, автор «Характерологических исследований». Есть там и Евгений Дюринг, неизменно читавший прекрасные лекции, к примеру, о Шопенгауэре и Байроне, о пессимизме etc. Наконец, надо раздобыть для нас, конечно, и Фрауэнштедта<sup>240</sup>, центральную фигуру культа. Если б у нас только был какой-нибудь орган для деятельности в шопенгауэровском духе, какой-нибудь философский журнал, редактируемый молодыми талантливыми людьми, и т. д.

Но, скажешь ты, сейчас не время философствовать. И будешь прав. Теперь политика – орган общего мышления. Я дивлюсь событиям и могу объяснить их себе только тем, что из целостного потока выделяю в уме и рассматриваю в отдельности деятельность определенных людей. Несравненное удовольствие доставляет мне Бисмарк. Я читаю его речи, как будто пью старое вино: прижимаю язык, чтобы он не пил слишком быстро и чтобы растянуть наслаждение. Я полностью верю тебе в том, что ты пишешь о махинациях его противников; ведь все мелочное, бездушное, пристрастное, тупоумное неизбежно восстает против таких натур, готовясь к непримиримой войне.

Сегодня, дорогой друг, я с тобой от всего сердца прощаюсь. Прости, что я не смею уделять больше времени этому любимейшему из моих занятий – духовному общению с моими друзь-

ями. Передавая тебе вдобавок приветы от моих родных, остаюсь крепко преданным тебе твоим другом

*Фридрих Ницше*

#### *24. Паулю Дойсену*

*[Наумбург, конец апреля – начало мая 1868]*

Мой дорогой друг,

твое последнее письмо я получил, страдая от сильнейших болей; через несколько часов после этого я потерял сознание. То и другое не было следствием скрытого яда, который перешел из твоего письма ко мне и оглушил меня; на мое счастье, у меня ведь нет столь опасных друзей (или ты думаешь, что Шопенгауэр относится к этому роду друзей-отравителей? –)

Из твоих писем я так и не смог понять, говорил ли я тебе уже, что с октября я – солдат, и притом артиллерист. Если я случаем забыл об этом упомянуть, то извини меня на особенный философский лад нашей переписки.

Так вот, на этой службе Марсу я порвал себе несколько грудных мышц и тем навлек на себя длительную и тяжелую болезнь, которая и теперь еще не прошла. У меня нет никакой охоты обременять тебя деталями чудовищного нагноения, вызывающего судороги растяжения грудного и спинного бандажа и т.д. Одним словом, хлебнул я лиха на ложе болезни и боли; но силы мало-помалу возвращаются.

Как раз в начале этой все перебившей болезни я получил твое письмо; и читал его с радостью, но скрежеща зубами. Если ты припомнишь, когда написал свое последнее письмо, то поймешь и то, как долго я уже болен.

Что мне больше всего понравилось в твоём послании, так это веселый, радостный тон, очень выгодно отличающийся от мрачного колорита твоих боннских и тюрингенских излияний. «Старческое» исчезает – так ты сам выразил это очень характерным образом. Другие люди сказали бы: «Юношеское исчезает». Ну, не будем об этом спорить.

Касательно этого веселого тона я позволю себе сделать одно предложение. Не стоит ли нам наконец прекратить философские интриги, ареной которых были до сих пор наши письма? Мы до сих пор так и не пришли к гармонии, так почему вечно должны играть на не настроенных в лад струнах? Твое последнее письмо, к примеру, отвергает мою позицию смирения как не юношескую, а, значит, старческую: против этого у меня нет никакого оружия. Но когда ты добавляешь, что смирение будет оправданным, лишь если оно – как у Канта – зиждется на твердой убежденности относительно объема нашей познавательной способности etc., то это очень хорошее высказывание. Однако кто обратит внимание на ход соответствующих исследований со времен Канта преимущественно в области физиологии, у того не может остаться никаких сомнений: эти границы выяснены столь надежно и непреложно, что кроме теологов, некоторых профессоров философии да *vulgus*<sup>241</sup>, никто уже не питает здесь иллюзий. Царство метафизики, а следовательно, провинция «абсолютной» истины оказались неизбежно поставлены в один ряд с поэзией и религией. Кто хочет что-то знать, довольствуется сегодня сознательной относительностью знания – как делают, к примеру, все именитые естествоиспытатели. Стало быть, метафизика у некоторых людей относится к области душевных потребностей, и в главных своих чертах есть благоговение: с другой стороны, она есть искусство, а именно искусство сочинения понятий; но несомненным остается, что метафизика ни как религия, ни как искусство не имеет ничего общего с так называемыми «истиной самой по себе или сущим самим по себе».

Кстати, когда ты в конце этого года получишь мою докторскую диссертацию, то найдешь там много такого, что разъяснит этот пункт, касающийся границ познания. Моя тема – «Понятие органического со времен Канта» – наполовину философская, наполовину естественнонаучная. Подготовительные работы у меня почти закончены<sup>241</sup>.

Итак, дорогой друг, впредь оставим этот философский пафос в наших письмах. Ты сам выбрал верный тон, написав мне

---

<sup>241</sup>Черни (лат.).

чисто филологическое письмо: я тебе за это благодарен. Но в то же время я не могу не подивиться странному методу, с помощью которого ты определяешь себе тему для обсуждения. Другие люди находят проблему, либо уже открытую другими, либо выслеженную благодаря собственной проницательности, и вот теперь изо всех сил стараются отыскать ее решение. А ты пишешь мне, что объект твоих исследований –

«Евтидем»<sup>242</sup>.

Хорошо, но это – поле приложения сил, а не проблема. Ты, правда, даешь понять, что будешь заниматься преимущественно вопросом о его подлинности. И тут второй пункт, в котором я должен высказать удивление. Клянусь Зевсом, я друг смелости, если она – не просто унтер-офицерская добродетель, если это сознательная смелость. Платоновский вопрос в наши дни – грандиозный комплекс, сросшаяся изнутри ткань, организм. Такие вопросы требуют широких решений; что толку обгрызать один из внешних пунктов, буквально кожуцу вопроса! Что толку уличать Шаршмидта<sup>243</sup> в нескольких опрометчивых шагах и передержках! Сейчас исследования уже достигли своего апогея: речь идет о психологических результатах, надо реконструировать душевную и умственную эволюцию Платона, и не на туманный манер Шлейермахера или старого Штайнхарта.

Что касается авторитета традиции, то я прошу тебя быть настолько свободомыслящим, насколько это возможно. Может быть, сейчас у меня есть особое право сказать: нет никакого авторитета в вопросе о каталоге Александрийской библиотеки; ибо случайно мои главные интересы пересеклись с вопросом об этой традиции. Каждый из платоновских диалогов нужно исследовать на предмет авторства, и если он сам по себе не говорит в пользу Платона, то тут не помогут никакие свидетельства, даже аристотелевские: ведь с ними, может быть, дело обстоит очень скверно – они могли быть дописаны гораздо позднее, например, в редакции Андроника<sup>244</sup>. Мало того, есть точно установленные примеры таких интерполированных свидетельств у Аристотеля.

Теперь я вкратце расскажу тебе о своих работах и планах. Статью о писаниях Демокрита я еще не написал: я хочу заново подойти ко всему вопросу, когда доделаю кое-какие второстепен-



ные пункты, к примеру, о *διαδοχαί* философов, о манере древних давать заглавия, об именах отцов философов, о том, как умерли философы, – а это все будет в следующем году. Пока что я подготовил все, чтобы управиться к концу этого года с чудесной большой статьей – о Гомере и Гесиоде как современниках. Там впервые будут явлены мои гомеровские *παράδοξα*<sup>\*\*\*</sup>; это *βαίμα βροτοῖσιν*<sup>\*\*\*</sup>, скажу я тебе. В целом я счастлив обилием прекрасных комбинаций и хочу только суметь довести их до изложения.

Меж тем, то есть во время моей болезни, я получил еще очень любезное письмо от проф. Царнке с предложением сотрудничать в «Литераришес центральблатт»<sup>245</sup>. И я его принял; ты сможешь найти в его свежем номере, например, мою короткую заметку о «Теогонии» Шёмана<sup>246</sup>. –

В заключение – моя благодарность за приятное известие о женитьбе Эрнста Шнабеля. Ты доставишь мне особенную радость, если передашь ему от меня пожелания счастья. И то же, если пошлешь от меня привет своим почтенным родственникам; наконец, если скоро ответишь

*своему другу*  
*Фридриху Ницше*

NB. Да выбрось ты этот военный адрес.

## 25. Эрвину Роде

*[Лейпциг, 9 ноября 1868]*

Мой дорогой друг, сегодня я намерен рассказать тебе о ряде светлых вещей, весело заглянуть в будущее и держаться так идиллически приятно, чтобы твой злобный гость, эта самая похожая на кошку лихорадка, выгнула спину горбом и с досадой поскорее убралась прочь. И чтобы избежать любого диссонанса, я хочу обсудить на особом листе известные *res severa*<sup>\*\*\*</sup>,

---

\* Преемниках (*греч.*).

\*\* Странности (*греч.*).

\*\*\* *Здесь*: поразительные вещи (*греч.*), оборот из Гомера.

\*\*\* Неприятности (*лат.*).

послужившие поводом для твоего второго письма, а ты потом сможешь прочесть его в особом настроении и в особом месте.

Акты в моей комедии будут такие: 1. Заседание нашего Союза, или Унтерпрофессор, 2. Выброшенный портной, 3. Рандеву с +. В спектакле принимает участие несколько пожилых женщин.

В четверг вечером Ромундт соблазнил меня пойти в театр, к которому я сильно охладел: мы собрались посмотреть пьесу нашего будущего директора Генриха Лаубе<sup>247</sup> и сидели, как олимпийские боги на престолах, для суда над стряпней под названием «Граф Эссекс». Разумеется, я бранился на своего соблазнителя, который ссылался на детские чувства своего десятилетнего возраста и был счастлив, что может уйти из зала, где не обнаружил даже *GLAYKIDION*<sup>248</sup>: это выяснилось по микроскопическом обследовании всех уголков театра.

Дома я нашел два письма, твое и приглашение от Курциуса, познакомиться с которым ближе мне сейчас доставляет удовольствие. Когда двое друзей вроде нас обмениваются письмами, ангелочки, как известно, ликуют; вот и теперь, когда я читал твое письмо, они радовались и даже хихикали.

На другое утро я торжественно вышел из дому, чтобы поблагодарить за приглашение Курцию<sup>249</sup>, поскольку приглашения я, увы, принять не мог. Не знаю, знаком ли ты с этой дамой; мне она очень понравилась, и между супругами и мною сложились нерушимо веселые отношения. В этом настроении я отправился к моему редактору *en chef* Царнке, был принят сердечно, определил с ним наши отношения – провинция моих рецензий теперь, среди прочего, – почти вся греческая философия за исключением Аристотеля, которым владеет Торстрик, и еще одной области, в которой работает мой бывший учитель Хайнце (надворный советник и воспитатель принца в Ольденбурге). Между прочим, читал ли ты мое извещение о выходе *Symposiaca Anacreontea* Розе<sup>250</sup>? Следующий на очереди – мой однофамилец<sup>251</sup>, который сделался рыцарем по поводу Евдокии, – скучная дама, скучный рыцарь!

Добравшись до дома, я нашел там твое второе письмо, возмущенный и решился на покушение.

---

\* Главному (редактору) (*фр.*).

На вечер был назначен первый доклад нашего Филологического союза в этом семестре, и меня очень учтиво попросили взять его на себя. Я, который пользуется всяким случаем, чтобы поупражняться с академическим оружием, тотчас заявил, что готов, и имел удовольствие, войдя, обнаружить собранную в сноп черную массу в 40 слушателей. Ромундту я поручил внимательно присматриваться, чтобы он потом смог сказать мне, какова театральная сторона доклада, то есть манера изложения, голос, стиль, диспозиция, и какое действие все это возымело. Я говорил совершенно свободно, пользуясь только записочками с сокращенным изложением, а говорил я о Варроновых сатирах и о кинике Мениппе: и вот, все было *καλά λίαν*<sup>\*</sup>. Пойдет дело на этой академической стезе!

Здесь надо заметить, что до Пасхи я думаю избавиться от всей этой возни с получением доцентуры и одновременно по этому случаю защитить докторскую диссертацию. Это дозволено: мне требуется только специальное разрешение, потому что я еще не закончил обычное *quinquennium*<sup>\*\*</sup>. Но одно дело – получать доцентуру, а другое – читать: однако совершенно правильным мне кажется, когда у меня освободятся руки, пуститься в странствия – в последний раз как вольный человек! Ах, дорогой друг, это будут чувства жениха, смесь радости и досады, юмор, *γένος σπουδαγέλοιον*<sup>\*\*\*</sup>, Менипп! В сознании хорошо выполненной работы я лег спать, размышляя о сцене, которую следует сознательно разыграть перед Ричлем: на следующий день около полудня такая сцена и была разыграна.

Вернувшись домой, я нашел записку, адресованную мне, с коротким сообщением: «Если хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи без четверти четыре в *Café théâtre*. Виндиш».

Эта новость привела меня в некоторое замешательство, прости! – так что я сразу полностью забыл заготовленную сцену и меня порядочно закружило.

Я, разумеется, бросился туда, нашел нашего бравого друга, который дал мне новые разъяснения. Вагнер был у родствен-

---

\* Очень хорошо (*греч.*).

\*\* Пятилетний срок (здесь – академический) (*лат.*).

\*\*\* Племя шутящее и серьезное (*греч.*).

ников в Лейпциге в строжайшем инкогнито: пресса ничего не учуяла, а все посыльные от Брокгаузов стали немые, как гробовщики во время похорон. И вот сестра Вагнера, профессорша Брокгауз, известная своей смышленостью, представила брату свою хорошую подругу, жену Ричля, причем у нее хватило гордыни хвастаться подругой перед братом и братом перед подругой – благословенное создание! Вагнер в присутствии фрау Ричль сыграл «Песнь мейстерзингера», которая известна и тебе: а эта добрая женщина сказала ему, что уже отлично знает эту песнь, *mea opera*<sup>\*</sup>. Радость и изумление Вагнера: и он возвещает свою высочайшую волю познакомиться со мной инкогнито. Сначала меня хотели пригласить в пятницу вечером – но Виндиш разъяснил им, что мне помешают служба, долг, данные обещания, поэтому мне предложили вторую половину субботы. И вот я бросился вместе с Виндишем, мы нашли профессорскую семью, но не Рихарда, который вышел, надев свою неимоверную шляпу на большое чело. Тут я, значит, и познакомился с названной превосходной семьей и получил любезное приглашение на вечер субботы.

Мое настроение в эти дни было поистине несколько романтическим; согласись, что в прелюдии к этому знакомству, при великой неприступности нашего нелюдима, есть что-то от атмосферы сказки.

Предполагая, что там соберется светское общество, я решил и одеться по-светски и радовался, что портной обещал мне закончить мой вечерний костюм как раз в субботу. Тот день был ужасно дождливым и снежным, дрожь пробивала при одной мысли выйти на улицу, и потому я был доволен, когда после обеда пришел Рошечка<sup>252</sup>, рассказал мне кое-что об элеатах и о боге в философии – ибо он в качестве *candidandus*<sup>\*\*</sup> обрабатывает данную ему Аренсом тему «Эволюция понятия бога до Аристотеля», меж тем как Ромундт старается разрешить призовую задачу университета «О воле». – Смеркалось, портной не пришел, а Рошер ушел. Я проводил его, пошел разыскивать портного сам и обнаружил, что его рабы усердно занимаются

---

\* Моими стараниями (лат.).

\*\* Соискателя (лат.).

моим костюмом: мне пообещали прислать его через три четверти часа. Я ушел удовлетворенный, заглянул к Кинчи, полистал «Кладдерадач»<sup>253</sup> и с удовольствием обнаружил газетную заметку, где говорилось, что Вагнер в Швейцарии, но что в Мюнхене для него строят красивый дом, в то время как я знал, что увижу его сегодня вечером и что вчера к нему пришло письмо от маленького короля<sup>254</sup>, адресованное так: «Великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру».

Дома я, правда, не застал портного, с прохладцей почитал диссертацию о Евдокии<sup>255</sup> и лишь время от времени с беспокойством слышал резкий, но отдаленный звонок. Наконец до меня дошло, что у старинных кованых ворот кто-то ждет: а ворота заперты, как и дверь в дом. Я крикнул человеку через сад, чтобы он шел в Наундёрфхен<sup>256</sup>: но при таком шуме дождя он меня не понял. Весь дом пришел в волнение, наконец ворота и двери отперли, и ко мне вошел старичок с пакетом. Было половина седьмого; пора было одеваться и приводить себя в порядок, потому что живу я на отшибе. Ну да, у этого человека были мои вещи, я их примерил, они подходят. Тут дело принимает сомнительный оборот. Он предъявляет счет. Я учтиво его акцептую: но он хочет, чтобы я заплатил прямо сейчас, на месте. Я выражаю удивление и растолковываю ему, что буду иметь дело не с ним как работником, замещающим моего портного, а только с самим портным, которому давал заказ. Человек прижимает меня все больше, время прижимает все больше; я хватаю вещи и начинаю их надевать, человек хватается за вещи и не дает мне их надеть: насилие с моей стороны, насилие с его стороны. Какая сцена! Я сражаюсь в одной рубашке, потому что хочу надеть новые панталоны.

Наконец, следуют буря оскорбленного достоинства, торжественные угрозы, проклятье моему портному и его пособнику, клятвы мести: и человек удаляется с моими вещами. Конец 2-го акта: я в рубашке сижу на софе и разглядываю черный сюртук – достаточно ли он хорош для Рихарда.

– Снаружи льет дождь. –

Четверть восьмого: а в половину восьмого я договорился с Виндишем встретиться в Театральном кафе. Я сломя голову выбегаю в темную дождливую ночь, черный человек тоже,

без фрака, но в повышенно романическом настроении: фортуна улыбается, и даже в сцене с портным есть что-то гротескно-необычное.

Мы приходим в очень уютный салон Брокгаузов: там нет никого, кроме членов семьи, Рихарда и нас двоих. Меня представили Рихарду, и я в нескольких словах выразил ему свое почтение: он обстоятельно расспросил меня, как я познакомился с его музыкой, ужасно выбрал все постановки своих опер за исключением знаменитых мюнхенских и стал потешаться над капельмейстерами, которые обращаются к своим оркестрам в таком задушевном тоне: «Господа мои, а сейчас играем страстно», «Дражайшие мои, еще немного более страстно!» В. очень любит имитировать лейпцигский диалект. –

Теперь я хочу коротко рассказать тебе о том, что принес нам этот вечер, – поистине, это были наслаждения столь своеобразно-пикантные, что я до сих пор не могу прийти в себя и не нахожу ничего лучшего, как поговорить с тобою, мой дорогой друг, и объявить «чудесную весть». Перед столом и после Вагнер играл, и притом все важнейшие места из «Мейстерзингеров», имитируя все голоса, и был при этом очень раскован. Человек он баснословно живой и пламенный, он очень быстро говорит, очень остроумен и способен совершенно развеселить общество вот такого самого приватного рода. Между тем у меня с ним состоялся длительный разговор о Шопенгауэре: ах, ты поймешь, каким наслаждением было для меня слышать, что он говорит о нем с неопишуемой теплотой, что он ему благодарен, что он – единственный из философов, познавший сущность музыки; потом он осведомился, как нынче к нему относятся профессора, рассмеялся, услышав о философском конгрессе в Праге и заговорил о «философах-носильщиках». После этого он вслух прочел кусок из своей автобиографии, которую сейчас пишет, – совершенно восхитительную сцену из времен своей лейпцигской учебы, сцену, о которой я и теперь не могу вспоминать без смеха; кстати, он пишет чрезвычайно умело и остроумно. – Под конец, когда мы оба собрались уходить, он очень тепло пожал мне руку и очень дружески пригласил меня навещать его, чтобы заниматься музыкой и философией, а еще поручил мне знакомить со своей музыкой свою

сестру и родных, что я торжественно ему и обещал. — Ты услышишь больше, когда я займу по отношению к этому вечеру более объективную и отстраненную позицию. А сегодня я с тобой сердечно прощаюсь и желаю тебе крепкого здоровья.

Ф. Н.

*Res severa! Res severa! Res severa!*

Мой дорогой друг, прошу тебя писать в Бонн прямо д-ру Клетте и (без дальнейших формальностей и оснований) требовать назад рукопись. Я по крайней мере поступил бы именно так.

*Бестактность* Ричля чересчур сильна: и она отчетливо проявилась в состоявшемся разговоре, почему я и говорил с ним немного холодно, что его сильно шокировало.

Что «Рейнск. муз.» сейчас перегружен, совершенная правда: это тебе докажет его последний номер за нынешний год, который на четыре листа больше обычного.

Понятно, что лично я еще и особенно сердит из-за этой истории. Ведь это я с лучшими намерениями и с самым дружеским мнением о тебе сделал тебе предложение отдать рукопись в «Рейнск. Музей»: а ему я думал сделать этим нечто *очень приятное*. Особенно меня берет досада, когда я вспоминаю, для какой прекрасной цели была изначально предназначена эта прекрасная статья.

Если ты захочешь отомстить, пошли свое сочинение в «Гермес»<sup>257</sup>; сам я, правда, не любитель такого рода мести. О «Филологе» при таких обстоятельствах не может быть и речи, а с ежегодником Флекайзена<sup>258</sup> дела обстоят так же, как и с «Рейнск. Музеем».

Значит, дорогой друг, надо искать издателя (и если я имею право тебе советовать, то издай одновременно с *ŷivos*<sup>259</sup>, на известных тебе условиях, касающихся рукописей). Естественно, ты предпочтешь искать издателя в своем родном Гамбурге: а нет, так положишься на меня, и я буду с рвением искать благородного книготорговца, если ты меня на это уполномочишь.

Во всяком случае, дело должно пойти быстро, даже в месячный срок напечатают, наверное, сочиненьице объемом в 3–4 листа. —

А если тебе это не к спеху, то мы вдвоем можем разработать совместный план: напишем вместе книгу под названием «Доклады по истории греческой литературы» и разместим в ней кое-какие крупные статьи (с моей стороны, например, о писаниях Демокрита, о гомеров-гесиодовском ἀγών<sup>\*</sup>, о кинике Мениппе) и добавим туда какое-то количество мелких заметок.

Что ты на это скажешь?

С верной дружбой и участием,

*in rebus secundis et adversis*<sup>\*\*</sup>

*Лейпцигский Идиллик*

---

\*Споре (греч.).

\*\*В счастье и в несчастье (лат.).



# Из ранних работ

## Мысли

*Пасхальные каникулы 1862*

*ФВНише*

Если бы мы могли поглядеть на христианское учение и церковную историю свободным, непредвзятым взглядом, то нам пришлось бы высказать некоторые воззрения, не укладывающиеся в рамки всеобщих идей. Но теперь, когда мы с первых же дней жизни стеснены ярмом привычки и предрассудков, заторможены в естественном развитии нашего духа впечатлениями детства, а развитие нашего темперамента заранее предначертано, нам кажется, что мы чуть ли не впадем в преступление, если изберем более свободную точку зрения, чтобы, исходя из нее, выносить объективные и отвечающие духу времени суждения о религии и христианстве.

Такая попытка – дело не нескольких недель, а целой жизни.

Ведь как же можно отвергнуть авторитет двух тысячелетий, ручательства наиболее глубоких мыслителей всех эпох, основываясь на результатах юношеских раздумий, как можно фантазиями и незрелыми идеями перескочить через все эти глубоко запечатленные в мировой истории веяния и благословенные плоды развития целой религии?

Полная самонадеянность – стремиться решать философские проблемы, вызывавшие в течение нескольких тысяч лет борьбу мнений; опровергать воззрения, которые, как верили наиболее глубокие мыслители, только и делают человека настоящим человеком; соединять естествознание с философией, не зная хотя бы их главных результатов; наконец, строить на основе естествознания и истории систему реальности, когда духу еще не открылись единство мировой истории и <ее> самые принципиальные основы.

Рискнуть пуститься в море сомнений без компаса и кормчего – со стороны незрелых умов есть глупость и испорченность; большую их часть бури отнесут далеко-далеко, и лишь немногие откроют новые земли.

И тогда из далей неизмеримого океана идей часто стремишься вернуться назад, на твердую землю: как часто во время бесплодных спекуляций на меня нападала тоска по истории и естествознанию!

История и естествознание, чудесные завещания всего нашего прошлого, провозвестники нашего будущего – только они представляют собою надежные основания, на которых мы сможем построить башню своего умозрения.

Как часто вся наша прежняя философия представала мне в виде стройки Вавилонской башни; проникнуть повыше в небеса – вот цель всех великих устремлений; царство небесное на земле означает почти то же самое.

Невообразимая путаница мыслей у народа – вот неутешительный результат; предстоит совершиться великим переворотам, прежде чем толпа впервые поймет, что все христианство зиждется на гипотезах; существование Бога, бессмертие, авторитет Библии, откровение свыше и прочее навсегда останутся проблемами. Я пытался все это отвергнуть; о, ломать легко, но строить! И даже ломать кажется делом более легким, чем оно есть; мы настолько предопределены в своей глубочайшей основе благодаря впечатлениям детства, влиянию родителей, воспитанию, что связанные с этим глубоко укоренившиеся предрассудки не так-то легко вырвать с помощью доводов разума или одним волевым усилием. Власть привычки, потребность в чем-то более высоком, разрыв со всем установленным, упразднение всех форм общества, сомнение в том, не блуждает ли человечество наугад вот уже две тысячи лет из-за некоей иллюзии, ощущение собственной дерзости и безрассудной отваги: все это ведет друг с другом безрезультатную борьбу, пока, наконец, болезненные переживания, печальные события не возвращают наше сердце к старой детской вере. Но наблюдение над впечатлением, производимым подобными сомнениями на душу, для каждого должно оказаться вкладом в его собственную культурную историю. Никак не может быть иначе,

чем чтобы в памяти от этого осталось хоть что-то как итог всего упомянутого умозрения, – этим итогом не всегда бывает знание, но может быть также вера, мало того, даже то, что подчас вызывает или подавляет моральное чувство.

Как обычай представляет собой итог эпохи, народа, течения умов, так мораль – результат всего развития человечества. Она есть сумма истин для нашего мира; возможно, в мире бесконечном она значит не более чем итог такого-то течения умов в нашем мире: а возможно, из результатов истины отдельных миров, в свою очередь, складывается одна универсальная истина!

Ведь нам неизвестно, не является ли само человечество всего лишь ступенью, периодом во всеобщем становлении, не представляет ли оно собой преднамеренное явление Бога. А может быть, человек – лишь продолжение камня через посредствующее звено – растение, животное? Может быть, он уже достиг здесь своего окончательного вида и не так же ли обстоит дело с историей? Или у этого вечного становления никогда не будет конца? Каковы движущие пружины этого великого часового механизма? Они скрыты, но они те же в великих часах, которые мы называем историей. Циферблат – это ее события. От часа к часу стрелка передвигается дальше, чтобы после двенадцати начать свой ход заново; тогда наступает новый мировой период.

А нельзя ли эти движущие пружины понимать как имманентную гуманность? (Это подкрепляло бы оба воззрения.) Или все в целом направляется более высокими соображениями и планами? Является ли человек лишь средством или он – цель?

Для нас – цель, для нас существует изменение, для нас имеются эпохи и периоды. Куда уж нам разглядеть более высокие планы. Мы видим только, как из того же источника, из гуманности, под внешним воздействием образуются идеи, как эти идеи обретают жизнь и облик; возникают – общее благосостояние, совесть, чувство долга; как вечное продуктивное влечение все снова перерабатывает их в качестве материала, как они формируют жизнь, правят историей; как они, борясь, принимают что-то друг от друга и как от этого смешения порождаются новые образования. Борьба и бурление самых различных потоков с приливами и отливами, и все они текут в вечный океан.

Все движется друг вокруг друга по невероятным, все более широким кругам, и человек – один из самых внутренних кругов. Если он хочет измерить размах внешних кругов, ему надо абстрагироваться от себя и от ближайших, более широких кругов, к еще более широким. Эти, ближайшие к нему более широкие круги – история народов, общества и человечества. Искать общий центр всех размахов, бесконечно малый круг, – это задача естествознания; сейчас, когда человек ищет этот центр одновременно в себе и для себя, мы познаём, насколько уникальной значимостью должны обладать для нас история и естествознание.

Но поскольку человек все дальше вовлекается в круги мировой истории, возникает борьба воли отдельной и воли совокупной; здесь лежит зародыш бесконечно важной проблемы, вопрос о правомочности индивида по отношению к народу, народа – к человечеству, человечества – к миру; и здесь же – фундаментальная связь *фатума* и *истории*.

Высшее понимание универсальной истории для человека невозможно; но великий историк, как и великий философ, – пророк; ведь оба абстрагируют от внутренних кругов к внешним. Но фатуму его позиция еще не обеспечена; бросим еще один взгляд на человеческую жизнь, чтобы понять ее правомочность в отдельности, а тем самым и в совокупности.

Что обеспечивает нам счастье в жизни? Следует ли нам благодарить за него события, водоворот которых нас уносит? Или, напротив, наш темперамент составляет как бы цветовой тон всех событий? Не имеем ли мы дело со всем в зеркале своей собственной личности? Не задают ли события нашей судьбе как бы лишь тональность, в то время как сила и слабость, с какими судьба нас затрагивает, зависят исключительно от нашего темперамента? Спроси у глубоко мыслящих врачей, говорит Эмерсон, насколько важен темперамент и важен ли он вообще.

А наш темперамент – не что иное, как чувство, на котором запечатлелись наши обстоятельства и случившиеся с нами события. В чем тут бывает дело, когда души столь многих людей с силой припадают к привычному, чрезвычайно затрудняя высокий полет идей? Виновны бывают фатальное строение черепа и позвоночника, сословие и характер родителей, буднич-

ная стихия жизни, пошлая среда, даже унылый пейзаж родных мест. Мы воспринимаем влияния, не имея силы противодействовать им, даже не понимая, что воспринимаем влияния. Обидно чувствовать<sup>261</sup>, что теряешь свою самостоятельность в бессознательном приятии внешних впечатлений, в подавлении душевных способностей силой привычки и против своей воли сея в своей душе зародыши ее искажений.

Все то же самое, но в большем масштабе, мы видим в истории наций. Многие народы, затронутые одними и теми же событиями, испытали на себе, тем не менее, воздействия различного рода.

Поэтому стремление как бы отштамповать все человечество какой-нибудь особенной формой государства или общества выдает ограниченность; этим заблуждением страдают все социальные и коммунистические идеи. Ведь человек <в ходе истории> никогда не воспроизводится в одном и том же виде; а если бы было возможно каким-то огромным волевым усилием перевернуть всю прошедшую мировую историю, мы тотчас вошли бы в ряд независимых богов, и всемирная история началась бы тогда для нас не более чем какое-то мечтательное самозабвение; занавес падает, и человек вновь приходит в себя, словно дитя, играющее мирами, словно дитя, что, пробуждаясь на рассвете и со смехом проводя ладонью по лбу, забывает страшные сны.

Свободная воля предстает как нечто раскованное, произвольное; она есть что-то бесконечно свободное, блуждающее, она есть дух. Фатум же – это неизбежность, если только мы не поверим, что всемирная история – блуждания во сне, невыразимые метания на ветру человеческих фантазий, а мы сами – игрушки собственного воображения. Фатум – бесконечная сила сопротивления свободной воле; свободную волю так же невозможно представить себе без фатума, как дух – без вещественности, добро – без зла. Ведь качество возникает только благодаря <своей> противоположности.

Фатум все снова и снова проповедует принцип: «События предначертаны событиями». Если бы этот принцип был единственно верным, человек оказался бы игральным действующим вслепую сил, не несущим ответственности за свои пре-

грешения, вообще свободным от морального различия, он был бы необходимым звеном в цепи. Его счастье, если он не понимает своего положения, если не бьется, скованный, в конвульсиях, если не жаждет, испытывая безумное наслаждение, спутать мир и его механизм!

Возможно, подобно тому как дух может быть всего лишь продолжением бесконечно малой субстанции, добро – всего лишь изоэренной эволюцией зла, и свободная воля есть не что иное, как высшая потенция фатума. Тогда всемирная история – это история материи, если понимать значение этого слова бесконечно широко. Ведь должны существовать еще более высокие принципы, с точки зрения которых все различия сливаются в великое единство, с точки зрения которых все есть развитие, последовательность этапов, все устремляется в один невероятный океан, где, наконец, приходят к себе все рычаги мирового процесса, соединенные, слитые, все-единые. –

*Сентябрь – октябрь 1862*

Музыка – вероятно, настолько же чисто математическое строение, насколько и компромисс чувства и музыки. Постепенное углубление.

Композитор: чувство возбуждено, фантазия возбуждена, демоническая сила.

Слушатель: слух – музыкальный вкус, возбужден.

Ум обзирает его <, > бессознательно связывает различные чувства. К ним принадлежит и фантазия.

Исходное переживание – демонической природы. Ни чувство, ни интеллект. Бессознательная увлеченность.

Внешние чувства, все больше утончаясь, сходятся воедино.

Отсюда – подобные переживания других чувств.

Наша эмоциональная жизнь ясна для нас в минимальной степени; отсюда – <мысль>, что мы сами не распознаем раздающихся в нас благодаря музыке струн по их звуку, а только чувствуем их по их колебаниям.

Звук попадает в уши, слуховые нервы передают его дальше, мозговым нервам, все больше одухотворяя его сущность.

Смутное предугадывание – сущность понимания музыки.

Слушая фугу Фукса или Альбрехтсбергера, слышишь, как звуки строятся в ряды и ломают эти ряды по команде, с тугими косичками и в гамашах, то набрасываясь друг на друга и спотыкаясь, то подскакивая и пританцовывая, а потом важно вышагивают и вежливо расшаркиваются, а под конец звук замирает на месте, точно конный полководец, который велит всем проходить перед ним парадом: тогда так и кажется, будто перед тобою театр марионеток, и ты видишь пляшущих кукол на палочках <кукловода>



## [II]

[*нрзб.*] если ты усмехнулся над теми, что сумели жить в таких формальных произведениях и считают их вершиной музыки, единственно подлинной музыкой, то найдутся люди, которые покачают головой, имея в виду тебя и твое понимание, когда ты, словно ошеломленный властью музыки, застываешь перед страстными волнами «Тристана и Изольды». То и другое, и ракоходные фуги Альбрехтсбергера, и любовные сцены Вагнера, – это музыка; тому и другому должно быть присуще что-то общее – сущность музыки. Чувство – отнюдь не мерило для музыки;

Благодаря языкознанию нам известно, что чем древнее язык, тем более он полнозвучен, мало того, что часто бывает невозможно отличить язык от пения. Самые древние из языков были и самыми бедными лексически, в них не было абстрактных понятий. Были страсти, потребности и эмоции, которые выражались в звуке. Видимо, можно утверждать, что это были не столько языки словесные, сколько эмоциональные, во всяком случае, эмоции формировали звуки и слова, у каждого народа – согласно его индивидуальности; кипящее чувство давало ритм. Постепенно язык отделился от языка звуков,

## [III]

Акустические возбуждения основаны на объединении идущих извне звуковых эффектов и нашего слуха как чувства звука.

Лежащее в основе оптических возбуждений движение происходит из надземных сфер, оно бесконечно более быстрое и тонкое, едва воспринимаемое, но предстает как покоящееся, бездвижное тело; оптическое от нас отдаленнее, оно – более внешнее, объективное; акустическое – более внутреннее, более интимное. Рано <научиться?> чувствовать соответствие звуков и цветов.

Регулярная последовательность звуков как основное условие образования тональности, как сущность мелодии, как очертания и контуры.

Соответствие звуков, особая модификация звуковых волн, алый цвет – для трубы, валторна [нрзб.]

Многозначность музыки.

*Глаз и ухо.*

Каждая музыкальная пьеса по-разному воздействует на каждую отдельную *душу*, еще более по-разному – на каждый отдельный ум, даже по-разному – на каждую отдельную душу в разных настроениях. Это относительное воздействие музыки. Даже *композитор* не может *судить о воздействии*, которое производит, он и сам *получает импульсы* совершенно по-разному, сочиняя, он не изображает собственное настроение, по крайней мере, он в этом не нуждается, – напротив, его настроение подстегивает в нем музыкальную фантазию, его настроение может оказаться результатом идей. Чем живее его фантазия, тем сильнее он отходит от всего формального, и тогда сам содрогается от силы, которая его вдохновляет. Слушатель, в свой черед, привносит свое собственное настроение, он может рассматривать это эстетически, просто как произведение искусства, затем – как музыкальное выражение такой-то мысли, затем – просто в пределах своего переживания и <наконец> – просто давая волнам звуков биться о себя. Он может глубоко воспринять то, что композитор пережил поверхностно, он может искать мыслей там, где их нет, и находить бесцветным много такого, в чем заключено глубокое чувство. Стало быть, в отношении впечатления <, производимого музыкой,> можно сделать вывод о его несоразмерности; красота, которая предстает отдельному человеку, народу, одной из сторон, вовсе не непременно подлинна. Значит, воздействие <музыки> абсолютно безотносительно к красоте. Но лишь по воздействию искусств можно заключить об их сущности. Ведь сам художник может констатировать лишь те воздействия, которые оказывает на него нечто неопределенное – демоническое, творческий порыв. Что это демоническое должно быть пережито вслед за ним слушателями – высочайшее, стало быть, требование к пониманию искусства. Но это – не чувство и не знание, а смутное предчувствие божественного. Это ощущение возникает благодаря движению, когда из формы внезапно высекается небесная искра; в символическом смысле это движение космоса, ритм в мно-

гообразных движениях; мелодия – это контур всеобщего в отдельном, так что целое, в свою очередь, в исполнении выглядит как отдельное, доведенное до совершенства, а отсюда между мелодиями часто возникают противоречия, образующие глубокие градации света и тени.

# Свобода воли и фатум

*Апрель 1862*

*Свобода воли*, сама по себе не что другое, как свобода мысли, – и ограничена подобным же образом, как свобода мысли. Мысль не может выйти за пределы круга идей, круг же идей зиждется на приобретенных воззрениях и с их расширением может расти и повышаться, не выходя за границы, заданные строением головного мозга. Равным образом и вплоть до этой же самой конечной точки свобода воли способна к усилению, но внутри этих пределов она ничем не ограничена. Другое дело – приводить в действие волю; эта способность отпущена нам фаталистически<sup>263</sup>. –

Поскольку фатум является человеку в зеркале его собственной личности, то индивидуальная свобода воли и индивидуальный фатум – два не уступающих друг другу противника. Мы видим, что верящие в фатум народы отличаются телесной крепостью и силой воли и что, напротив, женщины и мужчины, согласно превратно понятым христианским принципам предоставляющие всему идти, как оно идет, поскольку «Бог сотворил все хорошо», униженно отдаются в руки обстоятельств. Вообще «покорность воле Божьей» и «смирение» часто бывают не чем иным, как ширмой для робкого страха решительно противостоять судьбе.

Но если фатум как полагающий пределы все-таки предстает как более сильный, чем свободная воля, то мы не должны забывать о двойственном положении дел: в первую очередь, что фатум – лишь абстрактное понятие, сила без вещества, что для индивида существует только индивидуальный фатум, что фатум есть не что другое, как цепь событий, что человек, коль

скоро он действует и тем самым создает свои собственные события, определяет свой собственный фатум, что события, какими они постигают человека, вообще сознательно или бессознательно вызываются им же самим и должны ему соответствовать. Но деятельность человека начинается не только с момента его рождения, а уже в эмбриональном состоянии, а может быть, кто знает, уже в его родителях и предках. Вы все, верующие в бессмертие души, должны верить и в предсуществование души, если не хотите, чтобы из чего-то смертного получилось что-то бессмертное, вы должны верить и в этот вид существования души, если не хотите, чтобы душа витала в воздухе, пока, наконец, не окажется внедренной в тело. Индусы говорят: фатум есть не что иное, как поступки, которые мы совершили в более ранних состояниях своего бытия.

Какой аргумент можно было бы привести против утверждения, что человек не действовал сознательно уже целую вечность? Совершенно неразвитое сознание ребенка? Не можем ли мы, напротив, утверждать, что наши поступки всегда соотносятся с сознанием? Вот и Эмерсон говорит:

Мысль всегда соединена  
с вещью, которая предстает ее выражением.

Да и вообще, может ли нас затронуть звук, если в нас нет соответствующей струны? Или, иначе говоря: можем ли мы воспринять мозгом впечатление, если мозг уже не обладает способностью к такому восприятию?

Свобода воли – тоже лишь абстрактное понятие, означающее способность поступать сознательно, в то время как под фатумом мы понимаем принцип, руководящий нами при бессознательных действиях. Поступок сам по себе всегда выражает одновременно и душевную деятельность, направленность воли, которую нам самим еще нет нужды отмечать для себя как объект. Совершая сознательный поступок, мы можем руководствоваться впечатлениями точно так же сильно или точно так же слабо, как и при поступке бессознательном. Сделав что-то удачно, люди часто говорят: «Это у меня вышло совершенно случайно». Однако это отнюдь не всегда правда. Душевная дея-

тельность продолжается и в том же не ослабленном виде, хотя бы мы ее и не наблюдали своими духовными очами<sup>264</sup>.

Подобным же образом мы часто думаем, будто когда при ярком солнце закрываем глаза, солнце для нас не светит. Но его воздействие на нас, животворность его света, его мягкое тепло не прекращаются, хотя бы мы уже больше не воспринимали их чувствами.

Если мы, следовательно, будем понимать бессознательное действие не просто как пассивное следование предшествующим впечатлениям, то для нас исчезнет строгое различие между фатумом и свободной волей, и оба понятия сольются в идее индивидуальности.

Чем дальше вещи от неорганического, чем больше расширяется образование, тем более выпуклой становится индивидуальность, тем более многообразными – ее качества. Самодеятельная, внутренняя сила и внешние впечатления, рычаги ее развития – разве это нечто иное, чем свобода воли и фатум?

В свободе воли для человека заключается принцип обособления, отделения от целого, принцип абсолютной неограниченности; фатум же снова вводит человека в органическую связь с всеобщим развитием и, пытаясь овладеть им, вынуждает его к свободному развитию противоположной способности; лишенная фатума, абсолютная свобода воли сделала бы человека богом, фаталистический принцип – автоматом<sup>265</sup>.

# О Шопенгауэре<sup>266</sup>

[март–апрель 1868]

Попытка объяснить мир исходя из одного гипотетического фактора.

Вещь сама по себе получает одну из своих возможных форм.

Попытка не удалась.

Шопенгауэр не считает ее попыткой.

Он разоблачил свою вещь саму по себе.

Что он сам не разглядел неудачи, объясняется тем, что он не стремился ощутить темное, противоречивое в той сфере, где кончается индивидуальное своеобразие.

Он не доверился своему суждению.

Места.

Темное влечение, подведенное под аппарат представления, проявляется как мир. Это влечение не подошло под *principium individuationis*\*.

## I

Титульный лист «Мира как воли и представления» уже откровенно показывает нам, какую услугу претендует Шопенгауэр оказать человечеству этим произведением.

На страстный вопрос всех метафизиков, выраженный гётевским «Не раскроет ли»<sup>267</sup>, – он отважно отвечает *да*: а тем са-

---

\*Принцип индивидуации (*лат.*).

мым, по его замыслу, везде и всюду откроется, подобно надписи на храме, новое познание: и вот он в качестве титула надписал на лбу своей книги спасительную формулу для древних и важнейших мировых загадок – «Мир как воля и представление».

А это мнимое решение, стало быть, гласит:

Чтобы было удобнее понять, в чем состоит спасительность и просветительность этой формулы, рекомендуется перевести ее в наполовину образную форму:

Беспричинная, не познающая воля открывается, будучи подведена под аппарат представления, как мир.

Если мы вычтем из этого положения то, что перешло к Шопенгауэру по завещанию от великого Канта и на что он по своему величественному обыкновению всегда смотрел с достойным уважением, то останется лишь слово «воля» вкуче с ее предикатами. Стало быть – слово с особым ударением и широким значением, если, конечно, обозначать им выходящую за рамки Канта идею, столь значительную, что ее открыватель считал ее тем самым, «что очень долго искали под именем философии и на обнаружение чего именно поэтому люди с историческим образованием смотрят как на нечто столь же невозможное, как обнаружение Камня мудрости»<sup>268</sup>.

При этом нам вовремя приходит в голову, что и Канту не менее проблематичное открытие, сделанное с помощью старомодно-витиеватой таблицы категорий [и*рзб*], казалось великим, величайшим, дающим богатейшие результаты деянием его жизни, хотя и с тем характерным отличием, что по окончании «наиболее трудного дела, когда-либо предпринимавшегося для надобностей метафизики»<sup>269</sup>, Кант восхищался собой как властно проявившейся природной силой и счел себя освященным, чтобы «выступить реформатором философии»<sup>270</sup>, а Шопенгауэр всегда был благодарен за его мнимую находку < совершенную > гениальной рассудительностью и созерцательной способностью его интеллекта.

Заблуждения великих людей достойны уважения, поскольку они плодотворнее истин людей маленьких.

Итак, если мы теперь займемся выдвинутым раньше тезисом, чтобы, испытывая, расчленив самый нерв шопенгауэровской системы, то меньше всего будем думать о том, как бы такой



критикой прижать к стенке самого Шопенгауэра, дабы с триумфом сунуть ему под нос отдельные фрагменты его доказательств, а в конце концов с высоко поднятыми бровями поставить перед ним вопрос, как, ради всего святого, человек со столь изрешеченной системой выдвигает подобные претензии.

## II

И впрямь, нельзя отрицать, что на тот тезис, который мы выставили вперед как самый нерв шопенгауэровской системы, можно провести успешные атаки с четырех сторон.

1. Первая и самая общая направлена против Шопенгауэра лишь потому, что здесь он не вышел, как нужно было, за пределы Канта, а обратил внимание на понятие вещи самой по себе, видя в ней, если воспользоваться выражением Ибервега<sup>271</sup>, «лишь скрытую категорию».

2. Но даже если признать за Шопенгауэром право следовать за Кантом по этой опасной тропе, то самое, что он ставит на место кантовского X, – воля – достигается лишь с помощью поэтической интуиции, а испробованные им логические доказательства не способны удовлетворить ни Шопенгауэра, ни нас. См. «Мир как воля и представление». I. С. 125, 131.

В-третьих, мы вынуждены возразить против предикатов, которые Шопенгауэр придает своей воле: для чего-то абсолютно немислимого они звучат слишком уж определенно и получены все сплошь из противоположности миру представления, в то время как <в отношениях> между вещью самой по себе и явлением даже понятие противоположности не играет никакой роли.

4. Тем не менее в пользу Шопенгауэра против всех этих трех пунктов можно было бы выставить тройко потенцированную возможность:

вещь сама по себе может существовать, правда, ни в каком ином смысле, кроме как в сфере трансцендентного, где как раз *возможно все*, что когда-либо вынашивалось в мозгу философа. Эта возможная вещь сама по себе может быть волей: возможность, которая, поскольку она возникла из сопряжения двух

возможностей, является просто негативной потенцией первой возможности, иначе говоря, уже решительным шагом к другому полюсу, означающему невозможность. Еще раз усилим это понятие постоянно исчезающей возможностью, признав даже, что предикаты воли, принятые Шопенгауэром, могут ей подойти: а именно, потому, что хотя противоположность между вещью самой по себе и явлением недоказуема, но ее можно мыслить. Против подобного клубка возможностей, правда, выступило бы любое нравственное мышление: но даже на такой этический протест можно было бы возразить, что как раз у мыслителя, стоящего перед мировой загадкой, нет другого способа, кроме как угадывать, то есть питать надежду, что какой-нибудь момент гениальности вложит ему в уста слово, предлагающее ключ к той лежащей у всех на глазах, но все-таки не читаемой надписи, которую мы называем миром. Является ли этим словом «воля»? – Тут самое место предпринять нашу четвертую атаку. Основная соединительная ткань Шопенгауэра путается у него в руках: по меньшей мере вследствие некоторой тактической неловкости своего творца, но по большей части потому, что мир не так-то легко удается сжать в систему, как Шопенгауэр надеялся в восторге открывателя. В старости он сетовал на то, что труднейшая проблема философии не разрешена даже его философией. Здесь он имел в виду вопрос о границах индивидуации.

### III

Впредь нас будет усиленно занимать определенный вид тех противоречий, которыми изрешечена система Шопенгауэра. Это вид крайне разительных и неизбежных противоречий, которые, так сказать, еще покоясь в утробе матери, уже снаряжаются на войну с нею, а едва явившись на свет, совершают свое первое злодеяние, убивая мать. Все они без исключения относятся к границам индивидуации, и их *πρωτον ψευδος*\* заключается в пунктах, о которых шла речь под номером 3.

---

\*Изначальная ложность (*греч.*) – тезиса, лежащего в основе доказательства (в логике).

«Воля как вещь сама по себе, – говорит Шопенгауэр («Мир как воля и представление» I. р. 134), – полностью отлична от своего явления и совершенно свободна от всех его форм, в которые впервые входит, когда является, и которые поэтому затрагивают только ее объектную сторону, но чужды ей самой. Ее не затрагивает уже наиболее общая форма всякого представления, форма объекта для субъекта; еще того менее – формы, вторичные по отношению к ней, которые все вместе имеют свое наиболее общее выражение в законе причины, и сюда, как известно, относятся пространство и время, а, следовательно, и множественность, только благодаря им и возникающая и ставшая возможной. В этом последнем отношении я буду называть пространство и время выражением, заимствованным из старой, настоящей схоластики, – *principium individuationis*». В этом изложении, которое во множестве вариаций встречается в сочинениях Шопенгауэра, поражает диктаторский тон, в котором он высказывает некоторое количество негативных качеств этой вещи самой по себе, лежащей исключительно вне сферы познания, а, следовательно, оказывается в диссонансе с утверждением, что она не затрагивается наиболее общей формой познания – быть объектом для субъекта. Сам Шопенгауэр выражает это так («Мир как воля...», I, р. 131): «Эта вещь сама по себе [...], которая как таковая никогда не бывает объектом, и именно потому, что всякий объект – это уже только ее явление, но не она сама, должна, *если уж все-таки мыслить ее объективно, взять на время имя и понятие* <курсив Ницше> от какого-нибудь объекта, от чего-то как-нибудь объективно данного, а, значит, от одного из своих явлений». Шопенгауэр, стало быть, требует, чтобы нечто никак не могущее быть объектом тем не менее мыслилось объективно: но на этом пути мы можем прийти лишь к мнимой объективности, поскольку здесь какое-то совершенно неясное, непостижимое X увешивается предикатами, словно пестрыми платьями, заимствованными из некоего чуждого ему самому мира, мира явлений. После этого – требование, чтобы мы смотрели на навешенные платья, а именно на предикаты вещи самой по себе: ведь это и означает предложение «должна, если уж все-таки мыслить ее объективно, взять на время имя и понятие от какого-нибудь объекта». Понятие «вещь

сама по себе», таким образом, «поскольку она должна быть таковой», тайком устраняется, а вместо него нам всучивают какое-то другое.

Это заимствованное имя и понятие – как раз воля, «поскольку она есть наиболее очевидное, наиболее развернутое, непосредственно освещенное познанием явление вещи самой по себе». Но здесь для нас это совершенно не важно: куда важнее, что и все предикаты воли заимствованы из мира явлений. Правда, Шопенгауэр там и сям делает попытки представить смысл этих предикатов как совершенно непостижимый и трансцендентный, напр., «Мир как в.», II, р. 368: «Единство той воли, в которой мы познали сущность мира явлений как таковую, – метафизическое, а, следовательно, его познание трансцендентно, то есть не основано на функциях нашего интеллекта, а потому и не постижимо с их помощью». См. еще «Мир как в. и пр.» I. р. 134. 132. Но из всей системы Шопенгауэра, а в особенности, конечно, из первого ее изложения в 1-й книге «Воли как в. и пр.», мы выносим убеждение, что там, где это кажется ему хоть сколько-нибудь подходящим, он позволяет себе человеческое, а не трансцендентное употребление <термина> «единства в воле», и, в сущности, апеллирует к этой трансцендентности, лишь когда бреши в системе представляются ему слишком заметными. Стало быть, дело с этим «единством» обстоит так же, как с «волей»: это взятые из мира явлений предикаты вещи самой по себе, при которых подлинное ядро, а именно как раз трансцендентное, улетучивается. К трем предикатам – единству, вечности (то есть вневременности) и свободе (то есть беспричинности) относится то, что относится к вещи самой по себе: все они вместе и по отдельности неразрывно связаны с нашей организацией, а потому следует подвергнуть полному сомнению, имеют ли они вообще какой-нибудь смысл вне сферы человеческого познания. Но что они должны подходить вещи самой по себе, потому что их противоположности доминируют в мире явлений, этого не докажут нам ни Кант, ни Шопенгауэр – и даже не смогут сделать это для нас вероятным, последнее – прежде всего потому, что его вещь сама по себе, воля, не может ладить и управляться с этим тремя предикатами, а постоянно вынуждена делать заим-

ствования у мира явлений, то есть переносить на себя понятие множества, временности и каузальности.

Зато он совершенно прав, когда говорит («Мир как в. и пр.» I р. 118), «что извне к сущности вещей никогда не приблизиться: как ее ни исследуй, а получишь не больше, чем образы и имена».

#### IV

Воля является; как она смогла явиться? Или, формулируя вопрос иначе: откуда взялся аппарат представления, в котором является воля? Шопенгауэр отвечает характерным для него оборотом, называя интеллект *μηχανή* воли («Мир как в. и пр.» II р. 315): «Повышение же уровня развития мозга вызывается постоянно растущей и усложняющейся потребностью соответствующих явлений в воле». «Следовательно, познающее и сознающее себя Я, в сущности, третично, поскольку предполагает организм, а тот – волю» («Мир как в. и пр.» II р. 314). Значит, Шопенгауэр представляет себе некую градацию явлений воли с постоянно растущими жизненными потребностями: и чтобы их удовлетворять, природа использует соответствующую градацию вспомогательных средств, в которых есть место и интеллекту – от едва брезжащего ощущения до степени его крайней ясности. При подобном воззрении какой-то мир явлений полагается еще до мира явлений: если, конечно, мы сохраняем шопенгауэровские термины, описывающие вещь саму по себе. Да и до явления интеллекта мы видим в полной силе *principium individ.*, закон причинности. Воля со всей стремительностью пронизывает жизнь и всеми способами старается вступить в явление; она скромно начинает с низших ступеней и, так сказать, проходит всю службу с нижних чинов до высших. В этой области шопенгауэровской системы все уже претворено в образ и слово: от изначальных определений вещи самой по себе не осталось ничего, чуть ли даже и памяти. А где она иногда и всплывает, там служит лишь для того, чтобы полно-

---

\*Орудием (*греч.*).

стью высветить полнейшее противоречие. «Parmega» II 150: «Предшествующие всякой жизни на земле геологические процессы не существовали вообще ни в каком сознании: и в собственном, поскольку не было никакого. Стало быть [...], они вообще не существовали; иначе что означает их существование в прошлом? – Оно, в сущности, чисто гипотетическое; ведь если бы в те первобытные времена существовало какое-то сознание, то эти процессы были бы в нем представлены, туда ведет нас regressus\* явлений, значит, сущностным свойством вещи самой по себе было представлять себя в таких процессах». Они, как Шопенгауэр говорит на этой же странице, суть лишь «переводы на язык нашего созерцающего интеллекта».

Но, спросим мы после этих благоразумных рассуждений, как же тогда когда-либо возможно возникновение интеллекта? Существование последней ступени явления интеллекта ведь, конечно, столь же гипотетично, как и существование каждой более ранней, то есть ее не было, поскольку не было сознания. И вот на следующей ступени должен явиться интеллект, то есть из некоего несуществующего мира внезапно и непосредственно должен вырасти цветок познания. В то же время это должно происходить в сфере, где нет времени и пространства, без помощи причинности: а то, что происходит из такого безмирного мира, должно быть, согласно положениям Шопенгауэр, вещью самой по себе, не менее того: либо интеллект как новый предикат вечно покоится, сопряженный с вещью самой по себе, либо не может быть никакого интеллекта, да и никогда не мог возникнуть никакой интеллект.

Но какой-то существует: следовательно, он не мог бы быть орудием мира явлений, как предполагает Шопенгауэр, а мог бы быть вещью самой по себе, то есть волей.

Значит, шопенгауэровская вещь сама по себе была бы одновременно *princip. indiv.* и причиной необходимости, иными словами: существующим миром. Шопенгауэр хотел найти X в некоем уравнении: и из его расчета вытекает, что он<sup>272</sup> = X, то есть что он его не нашел.

## 5. Идеи.

---

\*Здесь: обратная история (лат.).

6. Характер.
7. Телеология и <ее> антитеза.
- 8.

Следует обратить внимание на то, с какой осторожностью Шопенгауэр обходит стороной вопрос о происхождении интеллекта: как только мы попадаем в окрестности этого вопроса, в глубине души надеясь, что сейчас он начнет решаться, интеллект тут же, так сказать, прячется за облаками: хотя совершенно очевидно, что интеллект в шопенгауэровском смысле уже предполагает какой-то мир, охваченный *princip. indiv.* и законами причинности. Насколько я знаю, один раз признание этого вертелось у него на языке: но он проглотил его таким странным образом, что нам надо бы разобраться в этом получше. «Мир как в. и пр.» П р. 310: «Отступим назад в объективном рассмотрении интеллекта так далеко, как только можем; тогда мы обнаружим, что необходимость или потребность в *познании вообще* возникает из множественности и *раздельного* бытия существ, то есть из индивидуации. Ведь если представить себе, что есть только *одно-единственное* существо, то окажется, что оно не нуждается ни в каком познании, потому что не существует ничего, что отличалось бы от него самого и существование чего оно должно было бы поэтому воспринимать лишь опосредствованно, через познание, то есть образ и понятие. Ведь оно *само* уже было бы всем вместе взятым, следовательно, ему ничего не оставалось бы познавать, то есть ничего чуждого, которое можно было бы рассматривать как предмет, объект. А вот в условиях множественности существ каждый индивидуум находится в состоянии изоляции от всех прочих, и отсюда возникает необходимость в познании. Нервная система, при помощи которой животный индивидуум впервые осознает себя, ограничена его кожей: тем не менее, поднявшись в головном мозге до интеллекта, он перешагивает эту границу при помощи своей формы познания причинности, и таким образом в нем возникает воззрение как сознание *других* вещей, как картина существ в пространстве и времени, которые изменяются в соответствии с причинностью».

# Примечания

- <sup>1</sup> ...*Густаву Круцу*. – *Густав Круз* (1844–1902), друг детства Ницше.
- <sup>2</sup> ...*Sonata facile Бетховена*. – Т. е., конечно, *В. А. Моцарта* (KV 545 – «нетрудная соната»); вероятно, вариации тоже были Моцарта. Бессознательная ошибка юного Ницше не случайна и говорит об устоях его музыкального вкуса – он и в зрелые годы явно отдавал предпочтение Бетховену перед Моцартом.
- <sup>3</sup> ...*Мама*. – *Франциска Ницше*, урожденная Элер (1826–1897).
- <sup>4</sup> ...*сестре Элизабет*. – *Элизабет Ницше*, в замужестве *Фёрстер-Ницше* (1846–1935).
- <sup>5</sup> ...*двенадцать четырехручных симфоний Гайдна*. – Скорее всего, это были четырехручные клавирные переложения каких-то сочинений Йозефа (или Михаэля) Гайдна, вероятно, концертин первого из них.
- <sup>6</sup> *Лейш и долина Ветау*. – Лейш, Ветау – местечки к юго-востоку от Наумбурга. Возле Ветау протекает маленькая речка того же имени.
- <sup>7</sup> ...*Вильгельмом Пиндером*. – *Вильгельм Пиндер* (1844–1928), друг детства Ницше.
- <sup>8</sup> ...*замок ... Людвигом Прыгуном*. – *Людвиг Прыгун* (1042–1123) – тюрингский граф, закладку этого замка ему приписывает легенда. Шёнбург впервые упоминается в источниках под 1137 г. Расположен к северо-востоку от Наумбурга.
- <sup>9</sup> ...*четыре лестницы*. – Т. е. четыре лестничных марша.
- <sup>10</sup> *Мой отец*. – *Карл Людвиг Ницше* (1813–1849).
- <sup>11</sup> *Дважды ... народов*. – В 1632 г. – победа Густава II Адольфа над Валленштейном и в 1813 г. – победа Наполеона над прусскими и русскими войсками.
- <sup>12</sup> ...*Зойме*. – *Иоганн Готфрид Зойме* (Зейме) (1763–1810), немецкий писатель и поэт.
- <sup>13</sup> ...*основную ... кандидата Вебера*. – Основная школа («институт») – частная школа, подготавливавшая детей к гимназии, прогимназия. «Кандидат» – учитель в таких школах. Учитель же гимназии носил титул «профессор», но таких профессоров, конечно, строго отличали по рангу от университетских.



<sup>14</sup> ...*праздника вишен*. – Местный наумбургский праздник, основанный на легенде об осаде города гуситским войском. Отмечается в конце июня.

<sup>15</sup> ...*Порте*. – Т. е. самой Турции (правительство турецкого султана называлось Высокой Портой).

<sup>16</sup> ...*в Поблесе*. – Поблес – деревня примерно на полпути между Наумбургом и Лейпцигом. Там жила родня Ницше с материнской стороны (Элеры).

<sup>17</sup> ...*в серебристом ... золотой луг*. – Это не название местности между Саксонией и Тюрингией, упоминаемое Ницше ниже (Гольдене Ауэ). Если бы даже то была река (слово *die Aue* в крайнем случае можно понять и так), это не уберегло бы юного Ницше от стилистической ошибки, вызванной, видимо, неумеренной чувствительностью, в которую он тут впал.

<sup>18</sup> ...*председателя*. – Т. е. председателя духовного совета общины.

<sup>19</sup> ...*«Реквием» ... «Dies irae, dies illa!»* – «День гнева, этот день» (лат.), т. е. Судный день (слова из реквиема и название одной из его частей). Реквием был, скорее всего, моцартовский, особенно популярный в 1856 г. (год торжественного празднования моцартовского юбилея).

<sup>20</sup> ...*«Бенедиктус»*. – Одна из частей реквиема («Благословен» по-латыни).

<sup>21</sup> ...*определены в квинту*. – Т. е. во второй класс гимназии; всего было шесть классов, и высший, выпускной, назывался по-латыни «примой» (первым); счет классов у немцев обратный по отношению к нашему. Соответственно классы между *квинтой* и *примой* «снизу вверх» назывались *квартой*, *терцией* и *секундой* (у нас это третий, четвертый и пятый), а самый младший, по-нашему первый, – *секстой* («шестой»). В каждом классе были две ступени – младшая и старшая (по полугодиям, «семестрам»).

<sup>22</sup> *Opiß ... dixit!* – Неважный в версификационном отношении перифраз традиционного школьного примера латинских аллитераций (взятый из Квинта Энния) – «At tuba terribili sonitu taratantara dixit» («И труба ужасным голосом произнесла «та-тара-там-тарам!» – о сражении). Перевод перифраза: «*Опиц* гласом ужасным “*Будь добр отвечать!*” произносит» (лат., нем.). Ирония гимназистов заключается еще и в том, что их учитель, прозванный ими «Поэтом», – однофамилец знаменитого немецкого поэта Мартина Опица (1597–1639).

<sup>23</sup> ...*черная болезнь*. – Туберкулез легких.

<sup>24</sup> ...*каникулы ... лета*. – Примерно в конце июля – начале августа (*Hundstage*, букв. «собачьи деньки» – экспрессивно-интуитивное определение), «летний жар».

- <sup>25</sup> ...*Шпехзарта*. – Нынче обычная городская улица Шпехзарт (*Spehsart*), во времена Ницше – зеленая городская окраина.
- <sup>26</sup> ...*король*. – Прусский король *Фридрих Вильгельм IV* (15.10.1795 – 2.01.1861). Наумбург с 1815 г. принадлежал Пруссии, хотя исторически и географически входил в состав Саксонии, с 1802 г. – так называемой Прусской Саксонии.
- <sup>27</sup> ...*наш прекрасный собор*. – Знаменитый Наумбургский собор Петра и Павла, построенный в основном в первой половине 13-го в. Сочетает в себе черты позднероманской и готической архитектуры, славится своей готической портретной скульптурой.
- <sup>28</sup> ...*Севастополь ... Малахов курган...* – Русские укрепления на Малаховом кургане были окончательно разрушены 8 сентября 1855 г., англо-французские войска вошли в Севастополь через три дня, 11 сентября.
- <sup>29</sup> *После ... в церковь*. – Неопытный автор внезапно перескакивает почти к самому началу своего повествования.
- <sup>30</sup> *1-я ... «Я приношу тебе»*. – Сначала Ницше дает заглавие стихотворения, потом, в кавычках, его первую строку (первые слова). Упоминаемые тут мифологические и исторические имена я не комментирую, уповаю на доступность соответствующей информации современному читателю. Автографы этих (и еще более ранних, начиная с 1852 г.) стихотворений Ницше сохранились и опубликованы в издании: *Nietzsche F. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Begründet von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Weitergeführt von Wolfgang Müller-Lauter und Karl Pestalozzi. Bd. I 1. Nachgelassene Aufzeichnungen. Anfang 1852 – Sommer 1858. Walter de Gruyter & Co. Berlin, New-York, 1995.*
- <sup>31</sup> *«Златая пурпура кайма»*. – Вероятно, сочинявшему виделся край лилового облака, позлащенный восходящим солнцем.
- <sup>32</sup> ...*больше ими не владею*. – Вероятно, намек на то, что они существуют, но не у автора (подарил?).
- <sup>33</sup> *Большую роль ... богинь*. – Каламбур или солецизм.
- <sup>34</sup> ...*«Оркадаль»*. – По одноименному маленькому стихотворению немецкого поэта Эммануэля Гейбеля (1815–1884) «Два короля сидели в Оркадале».
- <sup>35</sup> ...*книге*. – Под «книгой» Ницше имеет в виду, конечно, более или менее толстую тетрадь для записей.
- <sup>36</sup> ...*по правде, без поэзии*. – Т. е. без вымысла. Ницше обыгрывает (уже научился!) тему и название автобиографической «Поэзии и правды» И. В. Гёте.
- <sup>37</sup> ...*величина моего труда*. – В последней, тоже автобиографической книге Ницше («Се человек») это же самое слово (*Größe*) придется переводить уже как «величие» (например, в самом начале: «величие

моей задачи», *Größe meiner Aufgabe*). Так же музыкально отзовется в ней и тема «правды».

<sup>38</sup> В оригинале – стихотворение. Здесь переведено прозой, как и все остальные (за несколькими редкими исключениями) стихотворения юного Ницше.

<sup>39</sup> *Место сие, в коем ныне обитаю, названо вратами небесными. Эта местность, приятная, окруженная холмами и характерная многими хорошими вещами, в первые годы мне понравилась. Но времена меняются; то, что я любил, таким и остается, и в этой местности, вид которой я так хорошо узнал, я остаюсь на шесть лет (лат.).* – «Первые годы» надо понимать здесь, конечно, как «по первым впечатлениям, сразу». – *Пфорта* под Наумбургом – привилегированная гимназия (интернат), основанная саксонскими герцогами в 1543 г. на месте секуляризованного цистерцианского монастыря (с 1137 г.), который носил название *Claustum Sanctae Mariae ad Portam*, т.е. «Монастырь Пресвятой Девы Марии у ворот»; отсюда «врата» у Ницше (немецкое слово *Pforte*, «ворота», образовано от латинского *porta*, а «Пфорта» – результат ассимиляции первого ко второму). Такие школы-интернаты (*Fürstenschulen*, «княжеские школы») находились под патронажем августейших особ, поэтому там были бесплатные места; одно из них и досталось Ницше как сироте государственного служащего. В Пфрте было шесть классов, как и в обычной гимназии; Ницше, закончившему в последней четыре класса, в Пфрте пришлось снова идти в первый класс и учиться шесть лет (с 1858 до 1864 г., до двадцатилетнего возраста): образовательный уровень там был куда выше обычного гимназического; Пфорта считалась первой по рангу немецкой школой «с гуманитарным уклоном»; ее специальной задачей было «производство» будущих пасторов. Гимназия расположена в местечке Шульпфорте на берегу Заале совсем недалеко (около 2 км) от Наумбурга, будучи, в сущности, его удаленной юго-западной окраиной.

<sup>40</sup> ...*Буддензигу*. – Роберт Буддензиг (1817–1861), немецкий теолог и педагог, тьютор (профессор-опекун) Ницше в Пфрте.

<sup>41</sup> ...*заклучени мира*. – Речь идет о прелиминарном мирном договоре между Австро-Венгрией, Францией и Сардинией 11 июля 1859 г. (окончательно договор был оформлен лишь в ноябре того же года), по которому Австро-Венгрия отказывалась от претензий на Пьемонт. Пруссия же была готова прийти ей на помощь и частично отоблизовала для этого свою армию.

<sup>42</sup> ...*опасения ... прыжка*. – Т. е. опасения, что Австрия все-таки продолжит войну, и Пруссии придется в нее вступить на ее стороне.

- <sup>43</sup> ...*ездить в Альбрих*. – Местечко на полпути между Наумбургом и Пфортой, где Ницше встречался по воскресеньям с матерью и сестрой.
- <sup>44</sup> ...*если ... сыновьям*. – Ницше хочет сказать: старшеклассники ничего не могут поделать, если ученики помладше прибывают туда вместе с родителями.
- <sup>45</sup> ...*старший товарищ*. – В привилегированных школах-интернатах – «шеф», опекун из числа старшеклассников, официально надзирающий за прикрепленными к нему учениками младших классов и опекающий их.
- <sup>46</sup> ...*Гауди*. – *Франц фон Гауди* (1800–1840) – очень популярный до конца 19-го в. немецкий поэт, прозаик, переводчик, близкий к кругу поздних романтиков; выпускник Пфорты.
- <sup>47</sup> ...*Михайлова дня*. – Михайлов день празднуется 29 сентября.
- <sup>48</sup> ...*больше 24 градусов*. – По шкале Реомюра (30° по Цельсию).
- <sup>49</sup> ...*галерею*. – Т. е. в крытую галерею внутреннего двора, чтобы по ней перейти в столовую.
- <sup>50</sup> ...*начинают писать*. – Выпускные письменные экзамены.
- <sup>51</sup> *Последнее ... «На Ориноко»*. – «Три дня на берегах Ориноко» – перевод (на что Ницше, кажется, не обратил внимания), сделанный немецким прозаиком, музыкальным критиком и поэтом Людвигом Рельштабом (1799–1860). Вероятно, имеется в виду последний из «трех дней», т. е. новелл.
- <sup>52</sup> *«Римский поход»*. – «Мой римский поход» (1836) в 3-х томах, автобиографическая проза в жанре описания путешествий.
- <sup>53</sup> *«Песни императора»*. – Эпос в стихах (1825), где прославляется Наполеон Бонапарт (упомянутый выше Рельштаб тоже, кстати, много писал об императоре).
- <sup>54</sup> ...*Платена*. – *Август* граф фон *Платен-Халлермюнде* (1796–1835), немецкий поэт-классицист.
- <sup>55</sup> ...*огненная царица*. – «Солнце» по-немецки – слово женского рода.
- <sup>56</sup> *Птицы ... он!* – Это стихотворение юного Ницше (сейчас ему около 15-ти лет) стоит особняком, поэтому переведено стихами, несмотря на относительную несвежесть использованных в нем стихотворных средств и образов. Его важность заключается в том, что в нем можно усмотреть то состояние души и направление мыслей, которое много позднее привело Ницше к идее вечного возвращения и которое, кстати, несовместимо с христианством. Плохо отделанное стихотворение в конце записи от 19 августа – явное продолжение этой темы.
- <sup>57</sup> ...*бродить ... цели*. – Еще того чудесней (если забежать на строчку вперед по тексту Ницше), что это место без всяких опасений откло-

ниться от истины оказалось возможным перевести строкою Ф.И. Тютчева (намек на одну из ярких черт редчайшего типа личности – творчески-становящейся личности: *благородную «праздность» внутренней работы*, которую наш автор уже вполне осознанно отмечает и превозносит в зрелом возрасте). Ср. более раннюю запись: «...бродить вот так без всякой цели, не зная улиц, куда глаза глядят» (по Лейпцигу, еще плохо знакомому тогда автору).

<sup>58</sup> ...*Кёзен*. – Курортный городок Бад-Кёзен, который находится примерно в 2 км от Пфорты в противоположную от нее по отношению к Наумбургу сторону.

<sup>59</sup> ...*на Кошкю*. – Вероятно, узко локальное название какого-то близлежащего местечка (скорее всего, холма).

<sup>60</sup> ...*холмы*. – От комплекса школьных зданий до этих в основном покрытых лесом холмов к югу – всего около полукилометра; высшая точка холмов (которые Ницше торжественно именует горами, что, впрочем, по-немецки допустимо) лежит на высоте около 235 м над уровнем моря; это всего на сотню метров выше Пфорты.

<sup>61</sup> «*Солнце ... герою*». – Немного искаженное начало стихотворения Ф. Шиллера «Вечер».

<sup>62</sup> ...*Дэвисонсхалле ... скамейками*. – Эти концертные площадки под открытым небом находились, судя по всему, на окраине Бад-Кёзена.

<sup>63</sup> ...*Иа*. – По-нашему – четверку или четверку с плюсом.

<sup>64</sup> ...*Клетке*. – *Герман Клетке* (1813–1886), немецкий писатель, публицист. Ницше читал его «Учебник по истории современной немецкой литературы» (1845).

<sup>65</sup> *Стало ... происходит*. – В статье «Вотан» (1936) и в семинарах, посвященных ницшевскому «Заратустре» (1934–1939), *К.Г. Юнг* ссылается на этот фрагмент как одно из доказательств своего тезиса о том, что Ницше был одержим сугубо немецким, по его мнению, «архетипом Вотана». К Вотану он приравнивает упомянутого в тексте охотника с «дикими чертами лица», считая, что речь идет о мифическом Диком охотнике как воплощении Вотана (Одина). «Характерно, – утверждает Юнг в названной выше статье, – что сновидец, который хотел идти, собственно, в Айслебен, город Лютера, обсуждает с охотником вопрос о том, не пойти ли лучше в Дойченталь», т. е., надо полагать, путь к христианству готов у него смениться на путь к язычеству (Дойченталь, или Тойченталь, очень старое, возможно, еще языческое название деревни, в буквальном переводе значит «Долина немцев»; Ницше там уже, кстати, бывал). – Я не могу согласиться здесь с Юнгом: тексты Ницше, даже юного, слишком рефлексированны и насыщены литературой и ученостью, чтобы толковать их преимуще-

ственно с точки зрения архетипа (хотя вообще-то ни литературность, ни ученость сами по себе не гарантируют от неархетипичности). Несмотря на слово «проснулся», этот фрагмент можно с равным успехом считать фантазией (в которой, правда, тоже могут проявляться архетипы) или даже, скорее, совершенно сознательной ученой игрой «в романтизм» и упражнением в стиле (куда входит и романтический троп сна и пробуждения; кроме двух реальных географических названий, все здесь представляет собой общие места тогдашней литературы). Следует вспомнить еще (чего Юнг не сделал), что Ницше вводит эти фрагменты словами: «я немного фантастически приукрашу кое-какие эпизоды из моей жизни» – он мог и попросту их выдумать по готовым культурным шаблонам, что очень свойственно одаренным юношам, занимающимся литературой, а потом ввести выдумку в жизнь. Кроме того, в тексте «охотник» *скептически* относится к отклонению пути в Дойченталь, да и вообще он *против* того, чтобы «парни» гуляли по ночам, а сначала вызывается проводить их именно в «город Лютера», но не в «долину немцев». Назван он и «стариком» (готовым помочь в трудной ситуации), а потому мог бы иметь отношение, скорее, к юнговскому архетипу Старого Мудреца или Духа; правда, в конце концов охотник провожает юношей все-таки, видимо, в сторону Айслебена, и дело кончается для них плохо, что только запутывает конкретное применение архетипического подхода в юнговском варианте. Если все же им воспользоваться (но в самом широком смысле), а это возможно, то выйдет, что архетип, проявившийся в этом (предположим) сновидении или фантазии, *полностью амбивалентен* – иными словами, выбор будущего жизненного пути не определен, и именно эта неопределенность внушает автору комментируемого текста страх. Кстати, в жизни поездка в город Лютера (см. ниже) кончается плохим самочувствием юноши – «сон» оказался «в руку».

<sup>66</sup> ...*Йену*... *обербургмейстера*. – Это дядя Ницше – *Эмиль Шенк*.

<sup>67</sup> ...*Рудельбург*... *Самиель*. – *Рудельбург* – старинная крепость на берегу Заале недалеко от Кёзена, давно лежавшая в развалинах и привлекавшая туристов, падких до «романтики руин». *Самиель* – прозвище некоего Готлиба Вагнера, служившего там еще и в то время привратником и экскурсоводом.

<sup>68</sup> ...*Хаусберг*... *Башней*. – *Хаусберг* – холм на окраине Йены, *Цигенхайм* – деревушка под ним, *Лисья Башня* – сторожевая башня на вершине холма.

<sup>69</sup> ...*Куницбург*. – Развалины старинного замка на высоком холме в окрестностях Йены.

<sup>70</sup> ...«*Тевтонию*». – Студенческий союз.

<sup>71</sup> ...экстерна. – Экстерн – приходящий ученик.

<sup>72</sup> [...]. – В тексте стоит «bei Rektors», это, возможно, испорченное слово (не обозначенное сокращение?), восстановить которое можно, наверное, только поучившись в Пфорте в те времена. Вообще рассказ Ницше тут сбивчив: он возвращается к Пфорте, внезапно перескакивает на Наумбург, а потом снова к Пфорте.

<sup>73</sup> ...пятнадцать зильбергрошей. – Половина прусского талера.

<sup>74</sup> ...Горенцене. – Местечко близ Мансфельда. Там жил брат матери Ницше, Эдмунд Элер, служивший священником местной общины. В Горенцене Ницше провел летние каникулы 1860 г.

<sup>75</sup> ...любимые занятия. – Собственно, «коньки» – явно результат недавнего чтения Лоренса Стерна.

<sup>76</sup> ...древневерхненемецкому. – Древневерхненемецкий язык – первая стадия формирования немецкого общенационального языка (7–12 вв.).

<sup>77</sup> И в одиночество ... бежать. – Абсолютно одинокий пентаметр, по недосмотру юного автора затравленно озирающийся среди толпы чуждых ему, на стопу более рослых гексаметров. Как хотелось бы, однако, верить, что это не результат оплошности, а сознательно найденный, хотя и технически несовершенный символ одиночества (см. вступительную статью)!

<sup>78</sup> ...Фихтеля. – Горы на границе Германии и Чехии.

<sup>79</sup> ...Иммермана. – Карл Иммерман (1796–1840), немецкий писатель, драматург. Ницше имеет в виду одного из героев его произведений.

<sup>80</sup> ...золотиконе. – Золотикон – разновидность фисгармонии.

<sup>81</sup> ...Раммельсбург. – Точнее, Раммельбург – замок 13-го в. в 5 км юго-западнее Мансфельда, в предгорьях Нижнего Гарца.

<sup>82</sup> ...Бодe. – Приток Заале.

<sup>83</sup> ...лесное уединение. – Один из самых распространенных штампов позднего романтизма.

<sup>84</sup> ...шиллевских егерей. – Добровольцы под командованием прусского майора Фердинанда фон Шилля (1776–1809), на свой страх и риск воевавшие против оккупировавших Германию французов. Сам Шиль погиб в бою.

<sup>85</sup> ...Грильенбург. – Руины старинной крепости в лесах Южного Гарца.

<sup>86</sup> ...крышки. – Вероятно, закрытого колодца.

<sup>87</sup> ...ежемесячных взносов. – Творческих; см. ниже.

<sup>88</sup> ...Лютеров лебедь. – Мотив лютеранского изобразительного искусства, возникший после смерти реформатора. Изображение лебедя стало символом Лютера; его можно увидеть во многих лютеранских церквях Германии и даже на них в виде флюгеров.

<sup>89</sup> ...получил ... Вильгельм. – В честь правившего тогда прусского короля.

<sup>90</sup> ... *Гёльдерлина с Шиллером и Гегелем*. – Возможно, Ницше хотел сказать «с Шеллингом и Гегелем» – все трое учились в одно время в Тюбингене и были связаны дружескими отношениями.

<sup>91</sup> ... «*Германии*». – Выше Ницше уже рассказывал, как вместе с Вильгельмом Пиндером задумал организовать творческое объединение друзей. Вернувшись в Наумбург, они привлекли в союз третьего члена – Густава Круга. 25 июля 1860 г. все трое отправились в Шёнбург и там на башне торжественно образовали формальное объединение, которое назвали «Германия». О целях этого объединения Ницше позднее (1872) писал: «Тогда мы решили учредить маленький союз нескольких товарищей с намерением найти твердые и обязывающие организационные формы для наших продуктивных склонностей в искусстве и литературе. Проще говоря, это значило: каждый из нас обязывался ежемесячно присылать свое произведение, будь то стихотворение, статья, архитектурный проект или музыкальная пьеса, и каждый из нас имел право с безграничной откровенностью судить о продуктах других в рамках дружеской критики. Так мы думали и подхлестывать, и обуздывать наши образовательные влечения взаимным контролем» (*О будущем наших образовательных учреждений*, гл. 1, пер. мой).

<sup>92</sup> ... «*Побуждениях к искусству и т. д.*». – Альманах «Побуждения к искусству, жизни и науке при содействии писателей и художников» (Лейпциг, 1856, в 2-х т.), изданный немецким музыкальным критиком Францем Бренделем. Автор, которого читал Ницше, – не известный писатель и революционер Георг Бюхнер, а Луи Бюхнер; ему в альманахе принадлежат различные материалы – рецензия и статьи.

<sup>93</sup> ... «*Эстетическое воспитание и т. д.*». – «Об эстетическом воспитании человека» (1795).

<sup>94</sup> ... *начал и закончил*. – Т. е. продолжил и закончил работу над имевшимся недоделанным фрагментом.

<sup>95</sup> ... *Дантевской симфонии*. – Симфония «Данте» Ференца Листа (написана в 1855–1856), своего рода музыкальная иллюстрация к «Божественной комедии», – отсюда, возможно, интерес Ницше к «сатанинской» теме в музыке. Транскрипцию для двух фортепиано и хора сделал сам Лист.

<sup>96</sup> ... *объективную*. – Т. е. эпическую (терминология, видимо, заимствована Ницше у Ф. Гёльдерлина).

<sup>97</sup> ... *в свободном такте*. – Или «без такта»; см. текст ниже.

<sup>98</sup> ... *как человек становится поэтом*. – Эта тема позднее (во многих сочинениях Ницше, от ранних до финального, «Се человек») естественным образом модулирует в другую: «как становятся самим собой».

<sup>99</sup> ... *в игре*. – Фраза не закончена.



- <sup>100</sup> ... *Лахмановскому изданию*. – Карл Лахман (1793–1851) – известный немецкий филолог-классик, германист, медиевист, переводчик. Имеется в виду издание: *Zwanzig alte Lieder von den Nibelungen*. Berlin, 1840.
- <sup>101</sup> ... *Герлаха*. – Отто фон Герлах (1801–1849), издавший обработанный им Лютеров перевод Ветхого и Нового Завета.
- <sup>102</sup> ... *тишендорфовском издании*. – *Notitia editionis codicis Bibliorum Sinitici*. Leipzig, 1860. О Тишендорфе см. ниже (текст и примеч.).
- <sup>103</sup> ... *Штёккерта*. – Георг Штёккерт, соученик Ницше в Пфортте.
- <sup>104</sup> ... «*Фантазию Шуберта*». – Скорее всего, фантазию «Скиталец».
- <sup>105</sup> ... «*Жизненные бури*». – Фортепианная фантазия Ф. Шуберта (*a-moll*, D. 947) для 4-х рук. Играл ее Ницше в переложении для двух рук либо вместе с кем-то.
- <sup>106</sup> *О демоническом ... I, II*. – Биограф Ницше К. П. Янц пишет, что это сочинение не сохранилось, но что фрагменты, озаглавленные издателями «О сущности музыки» (см. ниже), явно имеют к нему какое-то отношение (я думаю, это могут быть черновые наброски к той работе). О его содержании можно судить также по письму Ницше к Р. Буддензигу (см. письмо № 9).
- <sup>107</sup> ... «*Песне о Хильдебранде*». – Старейший немецкий героический эпос (9-й в.), написан на древневерхненемецком языке.
- <sup>108</sup> ... «*Техника драмы*». – Книга Густава Фрейтага (Лейпциг, 1863).
- <sup>109</sup> «*Облака*» ... «*Плутос*». – Комедии Аристофана.
- <sup>110</sup> *О настроениях*. – Написано летом 1864 г. в Наумбурге. В этом маленьком, выдержанном в типично романтической манере эссе, под конец переходящем в стихотворение в прозе, уже лежат важнейшие из семян, которые взойдут в творчестве Ницше позже, – изощренная интроспекция как психологический метод (поиск мотивов познания), представления о приоритете воли, о ряде душевных состояний, каждое из которых «порождает миг в настоящем» (и потому как бы вечно возвращается), о динамике сознания и бессознательного, а также ощущения внутреннего раскола и объединения, образы пылающего сердца (ср. стихотворение «Се человек» из «Веселой науки»), становления через постоянное обновление, через очистительную бурю. Заметна и неопределенность в понимании основной темы юного Ницше – «настроений»: то он трактует их как состояния сознательные, рациональные, то как бессознательные, чисто эмоциональные, что выражается и в музыкальной композиции эссе (эмоциональное вступление – рациональная экспозиция – «дионисовский» финал). Эта неопределенность пронизывает все творчество Ницше, в конце разрешаясь, как уже и здесь, в стихии дионисовской. Прообразовательна и роль воли – в ней как будто снимается противоположность сознания

и бессознательного (ср. «Свобода воли и фатум», 1862), но и эта позиция остается неопределенной.

<sup>111</sup> ...*качается*... *колокол*. – Этот образ можно понять, вспомнив, что в Европе качаются колокола, а не била (в отличие от сравнительно неподвижных русских колоколов).

<sup>112</sup> «*Пьетра*» ... *Зебах*. – Пьеса немецкого драматурга и либреттиста Саломона Мозенталя (1821–1877). Зебах, видимо – исполнительница главной роли. В дальнейшем на этих местах Ницше приводит имена исполнителей. Названия более и менее популярных театральных и музыкальных произведений и имена исполнителей, которые Ницше приводит здесь и ниже, за редкими исключениями не комментирую.

<sup>113</sup> «*Оссиан*» *Гаде*. – Оркестровая увертюра датского композитора *Нильса Вильгельма Гаде* (1817–1890).

<sup>114</sup> ...*Патти*. – *Карлотта Патти* (1835–1889) – итальянская певица (сопрано); та самая, что так подробно упоминается Л. Толстым в «Анне Каренине». В угловых скобках в этом разделе мои конъектуры.

<sup>115</sup> «*Путь в*». – Не дописано.

<sup>116</sup> ...*в карцере*. – В письме от 10 ноября 1862 г. к матери и сестре Ницше рассказывает, что был наказан тремя часами карцера, запретом на прогулки и «предупреждением о несоответствии» за то, что облек отчет дежурного по школе в шутивную форму – это не понравилось «строгим господам учителям».

<sup>117</sup> ...*П. Дойсена*. – *Пауль Дойсен (Deussen)* (1845–1919), немецкий историк философии, известный индолог, учился в Пфорте вместе с Ницше и был его другом юности.

<sup>118</sup> «*Заклинание*». – Об интересе Ницше к *А. С. Пушкину*, к сожалению, больше ничего не известно. Его стихи он знал из «общедоступных брошюр *Издательства современных классиков* (Гофман и Ко, Берлин), благодаря которым познакомился с Пушкиным, Лермонтовым и Петёфи в немецких переводах», – пишет биограф Ницше К.П. Янц. Он же замечает, что песни из этого списка – пожалуй, лучшее в музыкальном наследии Ницше, в чем я с ним полностью согласен. Эти песни исполняются и издаются в записях. Некоторые переводы названий в списке в какой-то степени условны.

<sup>119</sup> ...*Анне Редтель*. – Сестра пфортенского однокашника Ницше, с которой он много музицировал в 1863 г. В эти «Рапсодические сочинения» (на посвящении датированные, однако, не 1864-м, а 1863-м годом) входит 7 произведений – песен и фортепианных пьес.

<sup>120</sup> ...*ст. уч. Мухаке*. – Старший учитель *Эдуард Мухаке (Mushacke)*, отец друга и сокурсника Ницше, Германа Мухаке. Современный исследователь (штирнерианец) Бернд Ласка утверждает, что Мухаке-старший,

в семье которого Ницше по приглашению своего друга жил в течение двух октябрьских недель 1865-го года, в молодости дружил с *Максом Штирнером*, откуда, по его мнению, следует предполагаемый факт знакомства Ницше с сочинениями этого философа (см.: *Bernd A. Laska. Nietzsches initiale Krise. Die Stirner-Nietzsche-Frage in neuem Licht // Germanic Notes and Reviews, vol. 33, n. 2, fall/Herbst 2002*). По его же данным, годы жизни Э. Мусхаке: 1812–1873. Это предположение, подкрепленное только другими произвольными гипотезами и мало-достоверными ссылками, кажется мне неубедительным: на упомянутого исследователя наиболее сильное впечатление произвело, очевидно, то обстоятельство, что за те две недели в Берлине Ницше и старший учитель перешли друг с другом на «ты». Это и впрямь необычное обстоятельство зафиксировано в единственном написанном и довольно бессодержательном письме Ницше к Мусхаке-старшему от 19 октября 1865; там, однако, нет и намека на Штирнера и на философию вообще. – Пусть эта информация не покажется здесь излишней ввиду того, что вопрос «Был ли Ницше знаком с сочинениями Штирнера?» был поставлен, но так и не решен ницшеведами (см., напр., раздел «Документы», № 18, книги К. П. Янца «Фридрих Ницше»). Я присоединяюсь к тем, кто отвечает на него отрицательно.

<sup>121</sup> ...нашего союза. – «Филологического союза», созданного в декабре 1865 г. по инициативе главного учителя и куратора Ницше в Боннском, а затем и в Лейпцигском университете *Фридриха Вильгельма Ричля* (1806–1876). В 1866 г. Ницше стал председателем союза.

<sup>122</sup> ...мой... Мусхаке. – *Герман Мусхаке* (1844–1906), друг юности Ницше, филолог-германист.

<sup>123</sup> ...чье ... аферах. – Имеется в виду конфликт Ричля с Отто Яном, известный как «Боннская война филологов». Конфликт начался еще в 1855 г., а в конце концов принял форму публичного скандала. Носил он «лично-производственный», а не научный характер. В 1865 г. Ричль оставил Боннский университет и перешел в Лейпцигский. Подробнее см. в письме Ницше к Герсдорфу от 25 мая 1865.

<sup>124</sup> ...узы ... связью. – Этот стилистический промах говорит о том, что Ницше тут действительно сильно волновался.

<sup>125</sup> ...Герсдорфом. – Барон *Карл фон Герсдорф* (1844–1904), дружба которого с Ницше восходит к временам Пфорты, где оба учились. Вместе, хотя и недолго, учились они и в Лейпциге. Дружба эта с четырехлетним перерывом продолжалась до конца сознательной жизни Ницше, оставив после себя обильное эпистолярное наследие.

<sup>126</sup> ...Вильгельма Диндорфа. – *Вильгельм Диндорф* (1802–1883) – немецкий филолог-классик, профессор истории литературы философского фа-

культета Лейпцигского университета (в 1829–1833), с 1833 г. – писатель и свободный исследователь (каким был Шопенгауэр и каким со временем станет сам Ницше); отсюда, возможно, его вынужденный «меркантилизм», о котором говорит Ницше (см. ниже) и на причины которого он «идеалистически» не захотел обратить внимание; в ту пору, о которой рассказывает Ницше, – большой авторитет в своей области знаний. Автор неимоверного количества сочинений по основным греческим авторам.

<sup>127</sup> ...раздобыть корректоров. – Имеется в виду – не просто корректоров, а опытных и редких корректоров, способных хорошо справиться с греческим текстом (см. ниже).

<sup>128</sup> ...Галиса. – Район Лейпцига.

<sup>129</sup> ...Готфрид Кинкель. – Сын (отсюда «молодой», т. е. младший) известного теолога, поэта и революционера-демократа, тоже Готфрида Кинкеля (1815–1882).

<sup>130</sup> ...лейпцигских «Сигналов». – Основанный в 1843 г. журнал «Сигналы для музыкального мира». Возможно, Ницше имеет в виду Эдуарда Бернсдорфа (1825–1901), музыкального критика и композитора, главного критика в этом журнале.

<sup>131</sup> ...Шталльбауме, Херлосзоне и Штолле. – Иоганн Готфрид Шталльбаум (1793–1861) был ректором ТомасшULE (гуманитарно-музыкальной гимназии) в Лейпциге. Карл Херлосзон (1804–1849) и Фердинанд Штолле (1806–1872) – немецкие писатели и журналисты, работавшие в основном в Лейпциге.

<sup>132</sup> ...новым... евангелию. – Пролог евангелия от Иоанна (1, 1–18) в оригинале написан в форме строфического гимна, и речь здесь идет о членении текста на строфы (стихи).

<sup>133</sup> ...Симонидесам. – См. ниже, сн. 137.

<sup>134</sup> ...пропозиции. – Предложения (по включению в состав указателя тех или иных элементов).

<sup>135</sup> ...Тишендорфом. – Лобеготт Фридрих Константин фон Тишендорф (1815–1874) – немецкий теолог-библеист, филолог, палеограф, открывший библейские синайские рукописи (Синайский кодекс). Найденные рукописи он привез в Петербург и там издал с посвящением русскому царю (*Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis Augustissimis Imperatoris Alexandri II.* Petropoli, 1862). В 1869 г. получил от Александра II потомственное русское дворянство. Ему принадлежат множество текстологических исследований библейских текстов.

<sup>136</sup> ...Кайля. – Карл Кайль (1812–1865), немецкий филолог-эпиграфист.

<sup>137</sup> ...подделки Симонидеса. – Константинос Симонидес (1820–1867?) – греческий авантюрист, выдававший подделанные им рукописи (а имен-

но, палимпсесты) за античные. В 1855 г. приехал в Лейпциг, где пытался продать поддельную историю египетских фараонов, якобы написанную неким Уранием, но был разоблачен Александром Ликургосом и Тишендорфом (причем Диндорф на уловку попался). Симонидес брал подлинный древний пергамент и бледными чернилами вписывал в него якобы первый, оригинальный слой, делая свои по замыслу сенсационные тексты филологически довольно правдоподобными. После разоблачения бежал в Египет.

<sup>138</sup> ...*Кобет*. – *Карел Габриель Кобет* (1813–1889 или 1890) – нидерландский филолог-классик.

<sup>139</sup> ...*Германн*. – *Йоганн Готфрид Якоб Германн* (1772–1848), влиятельный немецкий филолог-классик, всю жизнь проработавший в Лейпцигском университете. Ниже Ницше именует его по второму имени – Готфрид Германн.

<sup>140</sup> *Мне... послания*. – Косвенную речь Ницше почему-то заменил прямой (может быть, поставил кавычки не на том месте), т. е. на самом деле Кобет писал их Тишендорфу, а не Тишендорф – Ницше.

<sup>141</sup> ...*Арсенала*. – Университетская библиотека (бывшая *Bibliotheca Senatus Lipsiensis*) располагалась в здании Арсенала и Склада (*Гевандхаус*, не путать с известным концертным залом).

<sup>142</sup> ...*Альдхельма*. – *Альдхельм* (ок. 639–709 или 710), аббат Малмсбери, епископ Шерборна, католический святой – первый англосаксонский ученый, написавший множество книг прозой и стихами по-латыни (древнеанглийские его сочинения считаются утраченными). Здесь Ницше имеет в виду его *De metris et enigmatibus ac pedum regulis*, книгу о латинской метрике, содержащую 100 загадок в гексаметрах.

<sup>143</sup> ...*Орозия*. – *Павел Орозий* (ок. 385–420) – позднеантичный историк, христианский теолог. Его главное сочинение – «История против язычников». Под кодексом имеется в виду одна из поздних рукописных копий.

<sup>144</sup> ...*Уолтер Бёрли*. – *Уолтер Бёрли* (или *Бурлей*) (1275–1344) – английский схоласт. Книга, на которую ссылается Ницше, носит название «*Книга о жизни и нравах философов*» (*Liber de vita et moribus philosophorum*).

<sup>145</sup> ...*Свиды*. – «Свида», или «Суда», – объемный византийский энциклопедический словарь (10-й в.). Еще во времена Ницше его название принимали за имя автора (Свида – латинизированный вариант греко-византийского слова).

<sup>146</sup> ...*эвбейская война поэтов*. – Т. е. «Состязание Гомера и Гесиода» (анонимное античное сочинение).

<sup>147</sup> ...*Роде*. – *Эрвин Роде* (1845–1898), известный немецкий филолог-классик, один из близких друзей Ницше. Учился с ним вместе в Бонне,

затем в Лейпциге, где и началась их дружба, прервавшаяся только в 1887 г.

<sup>148</sup> ...*Плейсе*. – Река, протекающая через Лейпциг.

<sup>149</sup> *Кузен Шенкель*. – *Рудольф Шенкель*, брат дяди Ницше, изучавший в Лейпциге право и живший там неподалеку от Ницше. «Кузены» тогда часто общались, но Ницше, пытавшийся обратить Шенкеля в шопенгауэрианскую веру, своего не добился и был разочарован.

<sup>150</sup> *Риделевский союз*. – Певческое общество духовной музыки, которое в 1854 г. основал лейпцигский капельмейстер и композитор Карл Ридель (1827–1888).

<sup>151</sup> *Немецкая война*. – Семинедельная война Пруссии против Немецкого Союза во главе с Австрией за общенемецкую гегемонию, окончившаяся победой Пруссии (1866). Лейпциг входил в состав Саксонского королевства, выступившего на стороне Немецкого Союза. После победы Пруссии город вошел в состав Северонемецкого Союза (1867), а с 1871 г. – в состав Германской империи.

<sup>152</sup> *Переворот ... убеждениях*. – В лейпцигском обществе, а не у Ницше.

<sup>153</sup> ...«*Рейнского музея*». – Первоначально основанный Б. Нибуром в 1827 г. журнал «Рейнский музей филологии», авторитетный в кругах филологов.

<sup>154</sup> ...*сражения при Садова*. – Другое название битвы при Кёниггреце, решающем сражении Немецкой войны, где пруссаки одержали победу.

<sup>155</sup> *Хедвига Раабе*. – *Хедвига Раабе* (1844–1905) – немецкая актриса. См. письмо № 17.

<sup>156</sup> «*Нирвана*». – См. ниже, в тексте письма к Роде от 3 ноября 1867 (№ 22).

<sup>157</sup> *Военная служба*. – С 9 октября 1867 г. Ницше проходил одногодичную военную службу в качестве вольноопределяющегося (в кавалерийском отделении полка полевой артиллерии). Последние месяцы из этого армейского года ушли на болезнь в результате травмы, полученной Ницше во время кавалерийских упражнений (см. ниже).

<sup>158</sup> «*О Шопенгауэре как писателе*». – В марте – апреле 1868 г. Ницше написал набросок этой работы («О Шопенгауэре», см. ниже).

<sup>149</sup> ...*Штайнхарт*. – *Карл Штайнхарт*, профессор в Пфорте, учивший Ницше греческому. У него Ницше впервые читал Платона.

<sup>160</sup> *Корсен*. – *Вильгельм Корсен*, филолог-классик, пфортенский профессор, учивший Ницше латыни.

<sup>161</sup> *Другой ... позволено*. – Эти две фразы не завершены Ницше.

<sup>162</sup> ...*работа ... Феогнида*. – *De Theognide Megarensi* («О Феогниде из Мегар»). Работа была представлена 7 сентября 1864 г.

<sup>163</sup> ...*составляли*. – Незаконченная фраза.

<sup>164</sup> ...неподалеку от Мерзебурга. – Психологическая загадка: почему раньше Ницше всякий раз называл вместо Мерзебурга Лютцен, а теперь передумал? Мерзебург дальше от Рёккена, но крупнее Лютцена, и сильнее ассоциируется со средневековым (Лютцен, скорее, с Новым временем в связи с Битвой народов, см. выше).

<sup>165</sup> ...задачу... факультетом. – Это все та же работа об источниках Диогена Лаэртца.

<sup>166</sup> ...вследствие ... болезнь. – В марте 1868 г. во время кавалерийских упражнений Ницше ударился грудью о лук седла; образовалась гематома, а позже и гнойный нарыв, который долго не удавалось вылечить. Последние свои армейские месяцы Ницше лечился амбулаторно и использовал их, в частности, для личных поездок.

<sup>167</sup> «Любовь и жизнь женщины». – Цикл песен Р. Шумана на стихи А. Шамиссо.

<sup>168</sup> ...Каульбах. – Вильгельм Каульбах (1805–1874), знаменитый немецкий художник эпохи бидермейера.

<sup>169</sup> ...«Босоножку» Ауэрбаха. – Очень известный тогда рассказ немецкого писателя Бертольда Ауэрбаха (1812–1882), написанный в жанре деревенской прозы (1856).

<sup>170</sup> ...страшная ... дядюшки. – Пожар.

<sup>171</sup> ...ужасные головные боли. – Такими болями Ницше страдал еще летом 1856-го, и считается, что они уже были проявлением (или продромальным симптомом) той тяжелой болезни, которая мучила его всю жизнь. Сам Ницше здесь пользуется словом «fatal, роковой», но вряд ли в этом, буквальном смысле, поэтому оно переведено здесь как «ужасный». Однако слово оказалось пророческим – вся ситуация, вырисовывающаяся из этого письма, будет с вариациями воспроизводиться в жизни Ницше и дальше.

<sup>172</sup> ...новобрачных. – Морица Шенкеля и Иду Элер.

<sup>173</sup> Фолькман, «Вышеград». – Роберт Фолькман (1815–1883), немецкий композитор. «Вышеград» – 12 его музыкальных поэм.

<sup>174</sup> ...легкие ... легко. – Повтор слов у Ницше.

<sup>175</sup> ...хозяйстве. – Пиндер и Круг учились в это время в Гейдельбергском университете.

<sup>176</sup> ...битве при Дюттеле. – В ходе военного конфликта между Германией и Данией (18 апреля 1864).

<sup>177</sup> ...Коберштейн. – Карл Коберштейн (1836–1899), немецкий актер и театральный постановщик.

<sup>178</sup> ...читал «Генриха Перси». – Т. е. монолог этого действующего лица названной выше пьесы Шекспира.

<sup>179</sup> *Рудольфу Буддензигу*. – Товарищ Ницше в Пфорте (вероятно, много старший – отсюда свободный тон, но обращение на «вы»); не путать его с пфортенским профессором *Робертом Буддензигом* (см. выше).

<sup>180</sup> ...26° R. – Больше 32° Цельсия.

<sup>181</sup> ...«*Маркии*». – «Маркия» – одна из немецких студенческих корпораций; в данном случае речь идет о корпорации выходцев из Галлена-Зале (полное название, «Палайомаркия» – греко-латинский перевод немецкого *Altmark*, «Старая марка», названия соответствующей исторической области).

<sup>182</sup> ...«*германцам*». – Т. е. членам студенческой корпорации «Германия» (в те времена такое название носило множество корпораций, в том числе боннская).

<sup>183</sup> ...*Роландзек*. – Живописное местечко к югу от Бонна на берегу Рейна.

<sup>184</sup> ...*Плиттерсдорф*. – Прирейнская окраина Бонна.

<sup>185</sup> ...*наши ... кантам*. – Цвета студенческой корпорации (у каждой были свои).

<sup>186</sup> ...*кое-кого ... знаковых*. – Ницше называет известных людей – крупного прусского чиновника, историка и писателя, бывших корпорантов из «Франкони».

<sup>187</sup> ...*Зибенгебирге*. – Невысокие горы к юго-востоку от Бонна, на противоположном от него берегу Рейна.

<sup>188</sup> ...*дяде Бернхарду*. – Это *Бернхард Дексель*, опекун Ницше.

<sup>189</sup> ...*работягой*. – На студенческом жаргоне – не членом корпорации.

<sup>190</sup> ...*прав ... Ян*. – Надо отдать должное справедливости Ницше, бывшего учеником соперника Яна – но тут можно еще учитывать, что его симпатии к Отто Яну, возможно, диктовались не только высоким научным и человеческим уровнем ученого (что не ставит под сомнение таковой же уровень Ричля), а еще и тем, что он был видным музыковедом и историком музыки (читатель вспомнит написанную им известную биографию Моцарта).

<sup>191</sup> *Работу о Данае...* – «*Simonidis lamentatio Danaae*» («Жалоба Данаи» Симонида).

<sup>192</sup> ...*жизнь ... Маркса*. – *Адольф Бернхард Маркс* (1795–1866) – немецкий музыковед и композитор. Ницше изучал его книгу: *Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen*. 2 Bände in 1 Band. Berlin, 1859.

<sup>193</sup> ...*музыка ... Шумана*. – Это произведение называется *Сцены из «Фауста» Гёте для солистов, хора и оркестра*.

<sup>194</sup> ...*Проблематичные ... Шпильгаген*. – Речь идет об очень известном тогда немецком писателе *Фридрихе Шпильгагене* (1829–1911), создававшем произведения общественно-обличительной и политической направленности. Первый из названных романов принадлежит к чис-



лу ранних (1861, 4 тома с продолжением «Через ночь к свету», 1862); второй написан в 1864 г.

<sup>195</sup> ... «*Потерянная рукопись*» *Фрейтага*. – Роман немецкого писателя *Густава Фрейтага* (1816–1895), написанный в 1864 г.

<sup>196</sup> ...*душевностью ламы*. – «Лама» – прозвище, которое Ницше дал своей сестре еще в детстве, читая какую-то книгу о животных.

<sup>197</sup> ...*спасение... верой*. – Основное положение лютеранского богословия (*sola fide*).

<sup>198</sup> ...*Гюрцениховского зала*. – Концертный зал в Кёльне.

<sup>199</sup> ...*Хиллер*. – *Фердинанд Хиллер* (1811–1885), немецкий композитор, дирижер и музыкальный педагог, руководитель Гюрцениховского оркестра и Кёльской консерватории.

<sup>200</sup> *В следующую... Бонне*. – Т. е. *снова* рядом с корпорантом из боннской «Франконии». Это значит, что мест в гостинице не было, о чем Ницше и говорит ниже.

<sup>201</sup> ...*50 градусах Реомюра*. – Ницше ошибается – такая температура соответствует больше чем 60 градусам Цельсия (возможно, опечатка).

<sup>202</sup> ...*Дойц*. – Район Кёльна.

<sup>203</sup> ...*Сарвади*. – *Вильгельмина Кляус-Сарвади* (1834–1907), чешско-французская пианистка, высоко ценяемая Берлиозом, Листом и Шуманом.

<sup>204</sup> ...*инъекцию... Кёнигсвинтер*. – Замысловатый оборот (образец аляповатого студенческого языка), означающий, что боннские пфортенцы собираются совершить экскурсию в город Кёнигсвинтер, расположенный на другом (относительно Бонна) берегу Рейна.

<sup>205</sup> ...*Рудольфу*. – Это *Рудольф Шенкель* (см. выше).

<sup>206</sup> ...*союз Густава Адольфа*. – Организация помощи нуждающимся, созданная Евангелической церковью Германии в 1832 г.

<sup>207</sup> ...*Шпрингеру*. – *Антон Шпрингер* (1825–1891), немецкий историк искусств. Какую его работу или какие работы имеет в виду Ницше, неясно.

<sup>208</sup> ...*Лаубе*. – *Генрих Лаубе* (1806–1884), немецкий писатель, драматург, театральный деятель. «Путевые рассказы» (в 6-ти т.) опубликованы в 1834–1837 гг.

<sup>209</sup> ...*Violarium Евдокии*. – Мифологический словарь «Иония» (по-гречески «сад фиалок», по-латыни *Violarium*), написанный *Евдокией Маркемболитиссой* (1012–1096), женой византийского императора Константина X.

<sup>210</sup> ...*эпитоме Гезихия Милетского*. – *Гезихий Милетский* – византийский историк, лексикограф (6 в.). *Эпитома* – краткое изложение.

<sup>211</sup> ...*Дильтея*. – *Карл Дильтей* (1839–1907), немецкий филолог-классик, младший брат философа Вильгельма Дильтея.

- <sup>212</sup> ...старый Герлах. – Эрнст Людвиг фон Герлах (1795–1877) – прусский политик и публицист консервативного толка.
- <sup>213</sup> ...римской корректуры. – Работы Ницше о Феогниде («хорошие корректоры» – см. выше – нашлись, видимо, только в Риме и Париже).
- <sup>214</sup> ...черно-белое знамя. – Государственный флаг Пруссии (две черных полосы сверху и снизу, на белом поле между ними – изображение орла).
- <sup>215</sup> ...Цайца. – Цайц – город неподалеку от Наумбурга.
- <sup>216</sup> ...Крестовой газеты. – «Крестовая газета» (*Kreuzzeitung*) – берлинская газета консервативного направления.
- <sup>217</sup> Цитеновские гусары. – Прусский лейб-гусарский полк, получивший название по имени первого начальника, генерала Ганса Иоахима фон Цитена (1699–1786).
- <sup>218</sup> ...«письма ... меня». – Измененная цитата из стихотворения Вильгельма Мюллера «Почта» (входящего в стихотворный цикл «Зимний путь», положенный на музыку Ф. Шубертом). Второй цитаты (ниже) нет у Мюллера, но ее можно найти у нескольких других немецких поэтов, не пользовавшихся метафорой почты.
- <sup>219</sup> Моя работа. – «К истории собрания Феогнидовых изречений».
- <sup>220</sup> ...«Хозфоры». – Трагедия Эсхила. Лекции о ней Ницше и впрямь пришлось читать в бытность свою профессором Базельского университета.
- <sup>221</sup> ...Тойбнерам. – Имеется в виду не основатель известного лейпцигского издательства Бенедикт Готхельф Тойбнер (1784–1856), а само издательство, носившее его имя, т. е. кто-то из его представителей.
- <sup>222</sup> ...сочинение ... держав. – Это книга немецкого историка и политика Генриха Трейчке (1834–1896) «Die Zukunft der norddeutschen Mittelstaaten» (1866).
- <sup>223</sup> ...король Иоани. – Саксонский король Иоани (1801–1873), правивший с 1854 г.
- <sup>224</sup> ...Гейм. – Рудольф Гейм (1821–1901), немецкий философ и публицист, автор знаменитой «Романтической школы» и биографии Шопенгауэра (1864), которую здесь и имеет в виду Ницше.
- <sup>225</sup> ...желаем. – На этом фрагмент обрывается.
- <sup>226</sup> ...нынешней профессии. – Поучившись праву, затем филологии, послужив в армии, барон Герсдорф принялся изучать политэкономия и сельскохозяйственные науки, чтобы управлять семейным имением.
- <sup>227</sup> ...Шопенгауэровой ... философии. – Шопенгауэр А. Parerga und Paralipomena. Т. I, «Об университетской философии».
- <sup>228</sup> ...один ... человек. – Ницше говорит тут о себе.
- <sup>229</sup> ...в Париж ... в следующем году. – Этот план остался нереализованным.

- <sup>230</sup> ...*Вильгельма Рошера*. – *Вильгельм Рошер* (1845–1923), немецкий филолог-классик, учился в Лейпциге вместе с Ницше. Автор знаменитого «Подробного словаря греческой и римской мифологии».
- <sup>231</sup> ...*съезде филологов*. – Ницше принял участие в 25-м съезде немецких филологов и педагогов, прошедшем в Галле 1–3 октября 1867.
- <sup>232</sup> ...*магистром Заупте*. – *Герман Заупте* (1809–1893), немецкий филолог-классик, эпитафист, педагог. В 1867 г. уже давно профессор Гёттингенского университета, так что титул «магистр» здесь – дань уважения («Мастер», «Учитель»).
- <sup>233</sup> ...*symbolis*. – Символах (здесь – изъявлениях академического почтения) (*лат.*). Речь идет о запланированном Ницше и другими учениками Ричля сборнике статей в его честь.
- <sup>234</sup> ...*того указателя*. – К томам I–XXIV новой серии «Рейнского музея филологии» (вышел в свет в 1871 г.).
- <sup>235</sup> ...*мне ... лицо*. – Цитата из Г. Гейне (стихотворение «Ночь тиха...» из «Книги песен»). Подсказано И. Эбаноидзе.
- <sup>236</sup> ...*в Нирване*. – См. текст этого письма ниже.
- <sup>237</sup> ... *γένοι ... ἔσσι*. – Это позже часто цитируемое Ницше изречение принадлежит Пиндару (II Пифийская песнь, 72): *γένοι, αἶος ἔσσι μαβών*. Ф. Ф. Зелинский переводит это место так: «Сделайся тем, что ты есть, узнав это». М. Л. Гаспаров (вернее других): «Будь, каков есть: а ты знаешь, каков ты есть». К.П. Янц: «Стань таким, каким ты учишься быть»; он же указывает на то, что Н. в своем переводе опускает и не учитывает последнее слово, получая смысл: «Стань тем (таким), кто (каков) ты есть». Этот смысл он не раз воспроизводит в своих сочинениях, между тем как смысл изречения Пиндара в контексте таков: «Будь таким, каким себя представляешь (видишь, знаешь), т. е. оставайся таким, каков есть, *не изменяй себе*» (это льстивое обращение поэта к всемогущему тиранну Гиерону Сиракузскому, а не абстрактное увещание).
- <sup>238</sup> ...*выйдет в «Рейнском музее»*. – Вышла 18 марта 1869 г.
- <sup>239</sup> ...*Рошера*. – Это *Георг Фридрих Вильгельм Рошер* (1817–1894), немецкий историк и политэконом, отец вышеупомянутого Вильгельма Рошера.
- <sup>240</sup> ...*Фрауэнштедта*. – *Кристиан Фрауэнштедт* (1813–1879), немецкий философ, последователь Шопенгауэра и издатель его сочинений. Состоял в личных отношениях с философом.
- <sup>241</sup> ...*мою ... почти закончены*. – План не был реализован.
- <sup>242</sup> ...*«Евтидем»*. – Диалог Платона, подлинность которого оспаривается некоторыми филологами.

- <sup>243</sup> ...*Шаршмидта*. – *Карл Шаршмидт* (1822–1909), немецкий историк философии.
- <sup>244</sup> ...*Андроника*. – *Андроник Родосский* (1-й в. н. э.), греческий ученый, систематизатор и издатель произведений Аристотеля.
- <sup>245</sup> ...«*Литераришес центральблатт*». – *Literarisches Zentralblatt für Deutschland* – еженедельник научных рецензий, рефератов и пр., основанный германистом Фридрихом Царнке (1825–1891) в 1850 г. Выходил в Лейпциге. Ницше сотрудничал в нем в 1868–1869 гг.
- <sup>246</sup> ...«*Теогонии*» *Шёмана*. – То есть «Теогонии» Гесиода – текст и комментарии были изданы в 1868 г. немецким филологом-классиком *Г.Ф. Шёманом*.
- <sup>247</sup> ...*нашего* ... *Лаубе*. – Лаубе (см. выше) стал директором Лейпцигского городского театра в 1869 г.
- <sup>248</sup> ...*GLAYKIDION*. – Яркоголая, блистающая глазами (греч.). Так друзья называли между собой актрису Лейпцигского театра Зусхен Клемм.
- <sup>249</sup> ...*Курцию*. – То есть жену Курциуса, как называли бы ее древние римляне, если бы Курциус, Курций было хотя бы вторым именем, а не фамилией филолога *Георга Курциуса* (1820–1885).
- <sup>250</sup> ...*Symposiaca* ... *Розе*. – «*Carmina Anacreontea*» – издание текстов Анакреонта, подготовленное немецким филологом-классиком *Валентином Розе* (1829–1916). *Извещение* – в журнале.
- <sup>251</sup> ...*однофамилец*. – *Рихард Ницше* (чья фамилия пишется, однако, *Nitzsche*, а не *Nietzsche*), знакомый Ф. Ницше по Лейпцигскому университету, член Филологического союза.
- <sup>252</sup> ...*Рошечка*. – Рошер-младший, которого Ницше называет здесь уменьшительным именем (*Roscherchen*).
- <sup>253</sup> ...«*Кладдерадач*». – Иллюстрированный политический и сатирический еженедельник на немецком языке.
- <sup>254</sup> ...*маленького короля*. – Людвига II Баварского, ценителя и покровителя Р. Вагнера.
- <sup>255</sup> ...*диссертацию о Евдокии*. – Вышеупомянутого Р. Ницше. Ф. Ницше ее рецензировал.
- <sup>256</sup> ...*Наундёрфхен*. – Район и улочка старого Лейпцига.
- <sup>257</sup> ...«*Гермес*». – «Гермес. Журнал классической филологии». Основан в 1866 г. и издается по сей день.
- <sup>258</sup> ...«*Филологе*» ... *Флекайзена*. – Еще два филологических издания той поры.
- <sup>259</sup> ...*ὄνος*. – Ослом (греч.). Рукопись Роде, которую отклонил «Рейнский музей», представляла собой статью «Об одном сочинении Лукиана»: вероятно, у Роде была еще одна статья – посвященная позд-

неантичной повести на греческом языке «Лукий, или осел», которая в те времена приписывалась Лукиану Самосатскому.

<sup>260</sup> *Фатум и история.* – Ср. «Мой жизненный путь» [I] 1861 г. и наблюдай решительный поворот в мировоззрении юного Ницше. Возможно, к этому повороту имеет отношение почти незаметная запись «Материализм» (см. раздел «Моя литературная деятельность, а также музыкальная. 1862»).

<sup>261</sup> *Обидно чувствовать...* – Чтобы не вышло противоречия тезису Ницше о бессознательном характере таких «влияний», надо допустить, что эта обида – тоже бессознательная. Жаль, что Ницше бросил этот ход мысли в пользу народов и государств. Однако в работе «Свобода воли и фатум» он все-таки намечен.

<sup>262</sup> *О сущности музыки I, II, III.* – Эти конспективные фрагменты (см. о них сн. 106) написаны настолько приблизительно, что в некоторых местах перевод отчасти гадателен; некоторые связи, вероятно, могут быть ясны только автору.

<sup>263</sup> *...фаталистически.* – У Ницше это значит, так сказать, «фатумно».

<sup>264</sup> *...духовными очами.* – Здесь это, видимо, значит «сознательно».

<sup>265</sup> *...абсолютная свобода... автоматом.* – Эта мысль навеяна, вероятно, рассказом Генриха Кляйста «О театре марионеток», где говорится о двух полюсах существования: полной бессознательности марионетки и бесконечном сознании Бога (ср. также «О сущности музыки» I); кляйстовская идея много позже отзовется в творчестве Р. М. Рильке. Что касается развитого чуть выше представления Ницше о *сознании и бессознательном и о личности как их единстве*, то, вероятно, это полностью оригинальное достижение юноши семнадцати с половиной лет (позднее заново сделанное и по-своему развитое зрелым К.Г. Юнгом, во многом шедшим по следам Каруса): ни Шопенгауэра (первое знакомство с которым состоялось в 1865 г.), ни «Философию бессознательного» Э. Гартмана (1869), которые по крайней мере чисто формально могли стимулировать его мысль в этом направлении, он читать не мог; о возможном воздействии *Карла Густава Каруса*, у которого он мог почерпнуть эту мысль и многое другое (судя по всему, Ницше так и не прочел его; в 1868 г. он собирался было прочесть, да не ту работу, какую надо было), и Шеллинга можно говорить только гипотетически.

<sup>266</sup> *О Шопенгауэре.* – В связи с критическим смыслом этого текста интересно, что еще 16-го февраля того же года, судя по письму Ницше к Герсдорфу (см. выше), он оставался записным шопенгауэрианцем. Значит, его позиция изменилась на критическую в течение одного-двух месяцев. Однако в ноябрьском письме того же года к Роде Ницше снова радуется тому, что Вагнер тепло отозвался о Шопенгауэре. Тре-

ть «Несвоевременное рассуждение» (1874), как известно, – настоящий панегирик Шопенгауэру, хотя и не как философу, а *как воспитателю*; в поздних фрагментах Ницше возвращается к критике философа. Такая двойственность отношения к важным для него лицам, часто тщательно скрываемая, вообще была характерна для него всю жизнь. – Этот явно незаконченный набросок представляет собой далеко не везде стилистически отработанный черновик с многочисленными сокращениями (которые здесь восстановлены). Переводы из цитируемых Ницше авторов выполнены мной. Конъектуры в угловых скобках мои. Цитаты из Шопенгауэра сверены – Ницше здесь точен (или почти совсем точен).

<sup>267</sup> ...*гётевским* «*Не раскроет ли*». – «Не раскроет ли себя в конце концов природа» – строка из стихотворения Гёте «Господину государственному министру фон Фойгту...» (1816).

<sup>268</sup> ... «*что ... мудрости*». – Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Предисловие к первому изданию.

<sup>269</sup> ... «*наиболее ... метафизики*». – Кант И. Прелегомены ко всякой будущей метафизике... Введение.

<sup>270</sup> ... «*выступить ... философии*». – Это слова не Канта, а Ф. А. Ланге (из полюбившейся Ницше «Истории материализма»), который дважды говорит так о Канте.

<sup>271</sup> ...*Ибервега*. – Фридрих Ибервег (Ueberweg, Überweg) (1826–1871) – немецкий философ, противник кантовского субъективизма.

<sup>272</sup> ...*он*. – Т. е. этот X (получилось: X = X).

**Юный Ницше**

Автобиографические материалы.

Избранные письма.

Из ранних работ.

1856–1868

*Составитель и переводчик В.М. Бакусов*

*Оформление И.Э. Бернштейн*

Подписано в печать 22.09.2014. Формат 84x108/32

Гарнитура CaslonC 540 BT

Усл. печ. л. 9,5. Тираж 1200 экз.

Заказ № ВЗК-04917-14.

При участии ООО Агентство печати «Столица»

[www.apstolica.ru](http://www.apstolica.ru); e-mail: [apstolica@bk.ru](mailto:apstolica@bk.ru)

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии  
с качеством предоставленных материалов  
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Презируя людей, великие мыслители презируют их за леность: ведь из-за нее люди представляют собой фабричные продукты, безразличные и недостойные ни общения, ни назидания. Человеку, не желающему принадлежать к массе, достаточно только перестать быть вялым по отношению к себе; он должен слушать свою совесть, призывающую его: «Будь самим собою! Все, что ты сейчас делаешь, думаешь, к чему стремишься, – это не ты сам».

*Ф. Ницше. Шопенгауэр как воспитатель*

17 Чеп Читай-город РЧ  
12.09.2016 ООО "ГРАМОТА"

Юный Ницше Автобиограф. материалы Избр  
письма Из ранних работ 1856-1868



9785902764434

ВК:

Цена 546 руб.

Номер  
4063762  
Код  
2546184  
ТБК  
11-1702